



Kolonna Publications  
МИТИН журнал



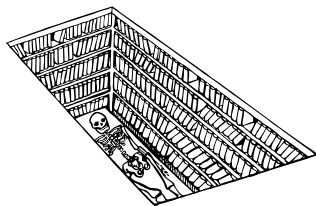
Сергей Хазов-Кассиа

# Евангелие от

Москва, 2017

ББК 84(2прос=рус)6

18+



С. А. Хазов-Кассиа

Евангелие от / Сергей Хазов-Кассиа. — Kolonna publications, 2017. — 384 с.

ISBN 978-5-98144-224-7

Секс, наркотики, работа, снова секс и наркотики — двойная жизнь московского гея между Фейсбуком и Хорнетом. Ива не верит в бога, никого не ищет, никого не любит. Волк-одиночка без семьи и без родины. Кто мать его и кто братья его? Но жизнь во славу удовольствия внезапно обрывается, высшая сила делает его новым мессией, что должен принять жертву за ненависть этого мира.

© Сергей Хазов-Кассиа, 2017

© Andrés Andreani, 2016

À Philippe



*Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?  
Приговор приведен в исполнение.*



Первый раз мужчина кончил мне в рот, когда мне было лет пять. Это был мой отчим. Я, впрочем, называл его папой, ибо с настоящим отцом знаком не был, и даже духа его не осталось в семейных фотоальбомах. Если закрою глаза, хоть сейчас попаду в тот августовский день: развалистый грохот трамваев за окном, запах играющей в солнечном луче пыли, счастливая ленца по телу от того, что не надо идти в сад, и вот мы лежим на диване, накрывшись одеялом — валяемся. Мы это так называли: «валяться». Жарко. Странное ощущение шероховатого, лишённого простыни велюра внизу и гладкого накрахмаленного пододеяльника, вытащенного ради этого из нижнего ящика. Необычно, что днём — под одеялом. Невинное отступление от распорядка. Хорошо прижаться к голому мужскому телу, забраться на него, лечь на мощный живот, так, чтобы его огромный писюн упирался мне в промежность, а моя голова лежала чуть ниже его груди, и слушать в темноте одеяла стук его сердца. Чу-чух. Чу-чух. Чу-чух. Поезд по шпалам. Я любил отчима. Мне нравилось откидывать одеяло и изучать его, выковыривать голубые катушки из пупка, трогать за писюн, который почему-то становился горячим и дрыгался. Я смеялся, просил не дрыгать, а он улыбался рыжими усами и отвечал, что он сам. Но я не верил. Писюн не может сам. Однажды отчим попросил меня взять писюн в рот. Я сперва подумал, что это шутка, им же писают, как можно в рот, но он настаивал, уверял, что вымыл его и может ещё помыть,

если я не верю. Я испугался, что если откажусь, мы не будем больше валяться, и с некоторым отвращением приблизился. Он пах. Сперва было противно, но потом я понял, что писюн пахнет не мочой, а отчимом, просто немного резче, так что можно его и не мыть. Я перевернулся, встал на колени рядом с лежащим отчимом, взял в руку его писюн, закрыл зачем-то глаза, набрал воздуха, как перед нырком, открыл пошире рот и, стараясь не касаться писюна губами, опустил голову. Тут отчим неожиданно одной рукой надавил мне на затылок, член больно упёрся в глотку, стало нечем дышать, но уже через секунду он отпустил меня, я отпружинил и начал сплёвывать что-то терпкое и белёсое прямо на египетские лилии, цветущие на зелёной обивке дивана. Я подумал, что он написал мне в рот, обиженно заплакал, а отчим, вместо того, чтобы жалеть меня, как если бы я упал или поранился, вскочил и побежал на кухню за мокрым полотенцем.

Сегодня мне тридцать шесть лет, я не могу даже примерно сосчитать, сколько других мужчин кончили мне в рот с того момента, как это случилось второй раз с одноклассником (подсобка под лестницей в школе, кромешная тьма, ударился локтём о старую парту, и — о ужас — его член пах одеколоном а лобок был наголо выбрит), но до сих пор, когда кто-то сосёт мне, я иногда вспоминаю отчима и мне становится ещё приятнее. Это меня возбуждает.

Сегодня мне больше лет, чем минут на дисплее беговой дорожки в конце пробежки. Я не завёл семьи, не стал лауреатом, не снялся в кино и не переспал со своим тренером в тренажёрке. Я красивый: 1,80, стройный (пока), светловолосый, голубоглазый,

нордический тип, за границей меня принимают за немца или шведа. Да и в России тоже: однажды в зале с чучелами представителей фауны одного провинциального краеведческого музея смотрительница с опаской подошла ко мне, всмотрелась пристально и, помешкав, спросила: «Иностранец?» «Нет», — ответил я, а она предложила мне приобрести набор открыток с видами. Я их купил, те открытки, но оставил в гостинице, может понадобятся какому иностранцу. Я неглупый. Исторический факультет МГУ, диссертация по ранним христианам, работаю в рекламном агентстве, декламирую стихи, умею занять разговором и профессора, и продавца из Макдоналдса. У меня есть друзья, близкие люди, моя семья где-то далеко и мне неинтересна, я счастлив. Среди недели я работаю, занимаюсь спортом (да-да, у того тренера), по пятницам иду в клуб, напиваюсь, дёргаюсь под музыку, которая мне не очень-то нравится, и несмотря на зарок не трахаться под мухой, почти всегда просыпаюсь с каким-нибудь незнакомцем, причём часто не нахожу рядом с кроватью гондона. Или нахожу, но вспоминаю потом, что снял его во время секса, потому что спяну не мог кончить. Ну я потом сдаю все анализы, пока проносило.

Меня зовут Ива. Не, ну не в смысле тоскливого русского дерева на берегу омута, куда вот-вот бросится Катерина, вообще-то я Ваня, но мама жила по принципу «в начале было имя» и торжественно называла меня не иначе, как Иваном, Ваня же был под тотальным запретом: «Ты должен сделать так, чтобы тебя уважали. Имя — основа всего», — говаривала она. А в школе звали просто — Ивой.

Мне тридцать шесть лет, меня зовут Ива, и я живу двойную жизнь. Работа, клиенты, коллеги, с которыми мы даже можем иногда пойти поужинать и выпить — это одно, а гей тусовка — совсем иное. Хорнет, секс, шальные ночи, когда снимаешь 20-летнего красавца, мчишься в такси на другой конец Москвы, кувыркаешься до утра, потом куришь с ним косячок, и вот, спать осталось два часа и пора на работу. В этом жизнь, это интересно, это мне нравится, я не жалуясь. Я доволен.

У меня был бойфренд, мы прожили вместе четыре года, но я рад, что бросил его. Он был жадным, ревнивым мудаком, который ставил рисочки на бутылках ликёра «Бейлис», когда уезжал в командировки, проверял мои телефонные счета, чтобы узнать, с кем я ебался в его отсутствие, но при этом любил заманивать на мою юную попку мальчишек из клубов (смартфонов тогда ещё не было) и устраивать тройнички. Помню, как это случилось в первый раз. Мы тогда уже год жили вместе и якобы друг другу не изменяли. И вот у нас гости: разношёрстная компания из старых друзей и свежих знакомств, скучно, хотели пойти танцевать, но напились и остались дома. Все разошлись. Не уходил лишь один черноволосый мальчик, худенький, рослый, симпатичный. Он всё ложился на диван по-римски, на бок, нёс чепуху и не поднимался, несмотря на намёки. Три часа ночи, Игорь посмотрел на меня и изобразил пантомиму: мол, чего с ним делать будем? Я пожал плечами. «Ну что, выебем его?», — спросил с неуверенным смешком, когда мальчик вышел в туалет. «Давай», — ответил я. Парень вернулся, сел рядом с нами, заявил,

что, наверное, поздно и ему пора. Я положил руку ему на колено, он не убрал её. Я поцеловал его, он ответил, к нам присоединился Игорь. Мы отвели его в спальню и по очереди трахнули. Не могу сказать, что мне понравилось, *ménage à trois* — это всё равно 2+2+2, втроем сексом заниматься не очень удобно: телёнок может сосать двух маток только одну за другой. Но меня возбуждало смотреть, как парень стонет под Игорем, закатывает глаза, не обращая на меня внимания, пока я не вставил ему в рот и не слил во второй раз. С тех пор мы стали делать это чаще, тем более, что оба были убеждёнными актами и наша семейная сексуальная жизнь ограничивалась минетами. Это жаль, конечно, у Игоря был большой хуй, но пассивную роль я распробовал, когда мы уже расстались.

Один раз по его просьбе я даже побыл блядью. Ему нужна была работа на телеке, и режиссёр или, там, директор программы намекнул, что Игорь получит место, если мы пригласим его на наше супружеское ложе. Игорь ему на хуй был не нужен, конечно, а вот я очень даже. Он был бородатый, пузатый, от него пахло кислой кокаиновой старостью, он мне совсем не нравился, но Игорь сказал: «Ну что тебе, не всё равно, кого трахать? Можешь сделать одолжение?» Ну ладно. Мы пригласили этого мужика в гости, выпили водки, говорили о чём-то на нашей тесной кухне с видом на унылые гаражи, а потом режиссёр-директор поднялся и со словами: «Ну что, пора и полежать» направился в спальню. Мы последовали за ним. Работа Игорю так и не досталась — проект закрыли.

Впрочем, тройнички к хорошему не привели, в дело вмешалась ревность. Или зависть: Игорь расстраивался, что мальчишки со мной хотели ебаться больше, чем с ним, потому что мне было 20 и я весил 68 кг, а ему 30 и у него появился уже волосатый животик, с которым он боролся ровно раз в год, заходя на полчаса в тренажёрный зал — бесплатно, разумеется, там работал его приятель. А сегодня мне уже 36, но у меня пока нет животика, а выросшие вдруг вокруг сосков волосы я регулярно сбрываю. Жить я теперь предпочитаю один, не люблю домашних животных, цветы в горшках и детей. Хотя пусть рожают, конечно, — лет через двадцать мне тоже надо будет с кем-то спать, к тому же я надеюсь заработать достаточно денег, чтобы в старости платить тем, кто будет поить меня водой, делать уколы и обслуживать мои нехитрые старческие сексуальные запросы. Но так, чтобы никакой драмы, знаете. Влюбился? Уволен.

Мне нравятся Дмитрий Шостакович, Сара Монтьель, Томас Манн и тыквенный суп, а также холодное шампанское и марихуана, раньше я ещё курил сигареты, но уже лет восемь как бросил. Я бы хотел быть уругвайцем, потому что там гей браки, солнце и травка, но я москвич и мне в Монтевидео было бы скучно.

Ну вот и познакомились. Очень приятно. Взаимно.

Ива вспомнил об отчине, закрывая дверь в арендованной квартире на Campo dei Fiori — вдруг пахнуло плесенью из внутреннего двора-колодца, так же пахло зимой мокрое пальто отчима и его ботинки на толстой подошве, обтекавшие грязными ручейками на коридорный линолеум. Ива привычным сызмальства движением рванул дверь на себя, чуть приподнял, вторым рывком довёл до конца, дверное полотно под конец вошло неожиданно свободно и сильно стукнулось о косяк, в выходящем во двор окне раздражённо задребезжали стёкла.

Было душно, в квартире не было кондиционера, хотя ничто не мешало его поставить. Он вошёл в комнату и распахнул окно. Мрачно, исподлобья смотрел на него угрюмый Джордано, грустная тень посреди кипящего буднего рынка. Памятник окружили палатки торговцев фруктами, закрытые от взгляда Ивы светлыми квадратными зонтиками. Ива подумал, что Джордано тоже, наверное, не видно, что они продают, и ему должно быть от того легче. Чуть дальше зонтики заканчивались, и прогалина площади громко кишела людьми, как небольшая опушка меж кустиков черники с толпой деловитых муравьёв. Резким криком сигнала разрежала средневековую суету полицейская машина, проехавшая между Ивой и философом.

Иве нравилось во время путешествий снимать квартиры. Это было дешевле, удобнее, и всегда просторнее, чем номер в отеле, но самое главное, Ива

чувствовал себя дома, скрытым от пристальных глаз уборщиц, швейцаров и девушек на ресепшн. В немые девяностые он сам работал несколько месяцев в Невском Паласе, куда его по благу устроили мамины приятели. У него не было определённой должности, как, кажется, и ни у кого в отеле: все занимались всем, кроме старого, седого как лунь Александра Марковича, швейцара, доктора наук, ряженого в красную дореволюционную ливрею, стибренную не то в театре, не то в музее. Александр Маркович всегда был немного пьян и не умел делать ничего, кроме как открывать двери, подносить чемоданы и с нарочито униженной благодарностью, снизу через толстые профессорские очки заглядывать в глаза иностранцам, дававшим ему на чай (русские на чай не давали). Он никогда не благодарил приезжих на их родном языке. Французам он неизменно говорил *danke schön*, американцам или англичанам *merci beaucoup*, *muchas gracias* доставалось немцам, а всем без разбору азиатам — таинственное для Ивы *grätiam agō*. Ограниченные обязанности были и у директора, брюхатого чеченца Аслана, приходившего в Палас раз в неделю — выдать конверты с зарплатами и напиться в президентском люксе с проституткой Маринкой, полной крашеной блондинкой без возраста, про которую говорили, что у неё накачанная грудь. Впрочем, Ива не умел отличать и лишь прятал глаза каждый раз, когда она проходила мимо, нарочно задевая его бёдрами.

Ива же и его коллеги делили между собой всю остальную работу, отель был похож на кибуц, где все на подхвате. Иве как новобранцу доставалось немного больше, но он не жаловался. Он быстро справ-

лялся с уборкой комнат, забирался по-кошачьи на подоконник и долго заворожённо курил, глядя, как на туманном конвейере проспекта неслышно плыли серые тени пешеходов, между которыми прощмыгивали автомобили. Или протяжно возил шваброй в баре, уже под утро, когда вышибалы выносили последних клиентов и аккуратно складывали в такси, предварительно вытащив из карманов лишние деньги, гуманно оставив сколько требовалось на дорогу.

Иве нравилась эта работа, дававшая ему некоторую самостоятельность, хоть все деньги и приходилось отдавать маме. А кроме того, предоставлялась возможность говорить на вышколенном английском с настоящими иностранцами: Thank you, sir; You're welcome, ma'am.

Сейчас, глядя на сердитого Джордано, он вспомнил почему-то одно тёмное январское утро, когда заученно двигаясь в полусознании полусна, он относил заказанный в номер завтрак: омлет с беконом, яйцо всмятку, чайник чая, холодное молоко и эспрессо, которое называли тогда экспрессо. Перед тем как войти в номер, Ива поставил поднос на столик возле лифта и посмотрел на своё блестящее металлическое отражение в его створках. Ива был высокий и худой, а неровности металла делали его и вовсе тонким, так что в официантском — чёрный низ, белый верх — он казался частью декора, орнаментом на двери, к которому какой-то озорник пририсовал непропорционально широкую человеческую голову из комнаты смеха с оттопыренными ушами и непослушной шевелюрой. Ива пригладил волосы, взял поднос и чинно пошёл по тёмному заковролиненному

коридору. Дверь открыл худой юркий мужчина лет тридцати в белом отельном халате. Он только вышел из душа, мокрые волосы ерошились, раскрасневшееся востроносое лицо делало его похожим на воробушка, плескавшегося в весенней луже. Morning, — протянул он по-британски, и Ива вошёл. На двуспальной кровати, про которую Ива только спустя лет пять узнал, что она называется king size, лежал друг воробушка. Он раскинулся, разбросав руки, прикрытый одеялом лишь по пояс. Кираса широкой груди без единого волоска с аккуратно выкованными сосками блестела на мятом белоснежном белье. Он кивнул головой и промычал что-то, похожее на приветствие, следя глазами за Ивой, покуда тот шёл от двери до стола, стараясь не смотреть на античную наготу гостя. В этот момент воробушек порхнул к постели, ласково потрепал приятеля по голове и тонким птичьим голосом прошептал: Your breakfast is here, honey. Ива понял, что эти двое были вовсе не друзьями или коллегами. Он чуть оступись, так что чашки на подносе издали томный фарфоровый звон, покраснел и пристально взгляделся в пузатый голубой чайник, по-индюшачьи надменно отвернувший от него позолоченный носик.

Ива оставил поднос на столе и заторопился к выходу, боясь выдать смущение и понимая, что уже поздно, они заметили. За несколько секунд составила в его голове вся картина этой чужой и такой притягательной жизни, которая, если раньше не было у Ивы мечты, стала теперь этой мечтой. Два любящих друг друга человека отправляются в далёкое путешествие, оказываются в хмуром недружелюбном городе, в мрачном отеле, который среди аристократично-

изысканных, давно некрашенных дворцов казался нечѣсаннным простолюдином на балу изгнанников роялистов; и эти два человека могут прижиматься друг к другу в ломком белье, ерошить волосы, пить чай и есть омлет, в то время как он, Ива, составляет часть общего пейзажа со скучно-жѣлтыми обоями, гравюрой со средневековым рыцарем в готических доспехах над кроватью и тяжѣлыми бархатными зелѣными шторами, в проѣме которых за плотными слоями тюля, невымытых стѣкол, серого снега мреют прокопчѣнные пилястры дома напротив. Иве захотелось стать их носовым платком или пилочкой для ногтей, всё время быть с ними, подглядывать за их любовью, их счастьем, их непосредственностью, которые кому-то могли показаться бесстыдством, но для Ивы были высшим доказательством того, что за шторами, пилястрами и доспехами рыцаря есть настоящая, наглая, самоуверенная в своём эгоизме жизнь. Он вылетел из номера, и быстро-быстро пошѣл, почти побежал по коридору, чтобы немного остыть, так горело всё лицо, и сердце билось так сильно, что казалось, остановишься — не хватит воздуха. Он открыл один из пустых номеров, подошѣл к окну, шторы на котором были убраны подхватами с увесистыми золотыми метѣлками, отодвинул гардины и прижался лбом к холодному стеклу, так что еле видный узор пыльных подтѣков распластался паутиной, а люди, машины, пилястры приблизились, вошли в комнату, окутали Иву утренней мглой.

Люди, зонты над невидимыми прилавками, дома вокруг площади ворвались шумным иноязычным хороводом, и как каждый раз, когда оказывался один

за границей, Ива вдруг почувствовал себя свободным от России, от жизни, от самого себя, он не был больше Иваном Безымянным, менеджером по работе с клиентами, ни среднестатистическим представителем среднего класса, белым воротничком, хорошим другом, неблагодарным сыном, показательным работником, которого любили заказчики, руководство и коллеги, одни за чуткость и внимательность, другие за ответственность и неизменную вежливость, третьи за умение напиваться вдрызг и буяннить, чтобы потом получались смешные истории, которые так забавно вспоминать при встречах. Он мог быть низложенным монархом, проедающим последние фамильные бриллианты, или известным писателем, путешествующим инкогнито, этаким Густавом фон Ашенбахом, только молодым и полным сил. Впереди было три дня безделья для чтения, прогулок, виллы Боргезе и секса или можно было не вставать с постели и разглядывать кусок неба, зажатый между оконной рамой и крышей соседнего дома, думать о том, что если бы он был правильной прямоугольной формы, походил бы на Аксёновский билет, только не звёздный, а голубой. Впрочем, нет, лежать без дела Ива не любил, боялся этого гнетущего чувства, что мог сделать что-то полезное, но вот не сделал, когда потраченные даром минуты совестливо выстраиваются, будто указывая на самих себя перстом.

Как всегда летом, Рим сдался на милость туристов, но — корсары в незнакомом городе — они держались друг друга и не сходили с привычных троп, так что из жаркой вавилонской толпы Campo dei Fiori Ива вынырнул в сеть узких прохладных улочек, где лавки

обувных мастеров, точильщиков ножей и медицинские кабинеты скромно потупили пыльные вывески, у массивных крашеных дверей с круглыми бронзовыми ручками лежали тут и там худые ленивые кошки, а редкий прохожий окидывал Иву удивлённым и даже казалось враждебным взглядом, тут же отгораживаясь от чужака жалюзиями сигаретного дыма. Ива зашёл в небольшой кафетерий на углу: большие невымытые окна в строгих коричневых металлических рамах, пара столов, покрытых белыми клеёнками, чёрные колченогие стулья, дисплей с сигаретными пачками над царящим на белом мраморном прилавке тронem старого кассового аппарата и ряды пыльных бутылок за спиной чернокожего парня в красной футболке с обрезанными рукавами и оспинами на впалых щеках. Парень смотрел телевизор, висящий на кронштейне в другом конце кафетерия и что-то весело сказал по-итальянски Иве, когда тот произнёс своё дежурное *buongiorno*. Ива улыбнулся и попросил *tè con latte*, парень нахмурился и глянул с недоверием: итальянцы чай не уважали. Расплатившись и взяв картонный стаканчик, Ива вышел на улицу и направился к вилле Боргезе.

Он не в первый раз был в Риме, но города не знал и сверялся с Айфоном, чтобы не сбиться с дороги. Он держался полупустых переулков, хоть иногда и приходилось делать крюк, но то и дело вываливались на него шумные проспекты с воем моторов, гудками, чересполосицей языков и интонаций, среди которых особенно выделялись, резали слух павлиний клёкот американцев и необычно иностранный рокот русского говора: каждый раз Иве казалось, что

встречные, как и большинство прохожих, говорят по-итальянски, но среди непонятных слов улавливался смысл, сначала урывками, будто во сне неожиданно начал понимать незнакомый язык, но сон углублялся и язык превращался в русский, а чужие секунду назад люди глядели ему в глаза и проникались своим землячеством.

Впрочем, даже и большие улицы пропитались ленью расплавленного жарой города. Рим вальяжно раскинулся потомком обедневшего рода, состояния которого пока хватает на снисходительную спесь. Дрожащие в выхлопном мареве стёкла мрачных дворцов, отражающие серо-голубое небо; по-хозяйски расположившиеся на каждом углу церкви с афишами концертов; цыганский балаган неумело загримированных под старину торговых центров, крикливо хватавших зазевавшихся туристов витринными SOLDI — здания в Риме жили своей жизнью, независимо от людей и автомобилей, более того, люди и автомобили существовали лишь постольку, поскольку нужны были для антуража имперским строениям, что любезно позволили им какое-то время находиться рядом.

Некоторое время он медленно шёл за дамой в белом вязаном платье, мерно покачивающей тяжёлыми ажурными бёдрами и сверкавшей при каждом шаге блестящей застёжкой на белых бретельках бюстгальтера. Дама возвращалась с рынка и в одной руке несла плетеную корзину с овощами: огурцы, баклажаны, салатные листья, целый куст фиолетового базилика, а в другой — пластиковый пакет, из которого выглядывала большая бутылка растительного масла.

Она источала такой домашний, приторно-уютный запах: кастрюли супа на неделю, вечернего сериала, долгих телефонных разговоров о деньгах, погоде и чужих свадьбах, что Ива вспомнил маму. От мамы пахло точно так же, когда она в детстве стригла его на кухне. Он сидел на табурете, она шаманила вокруг с ножницами, а её полная грудь, стянутая тонким домашним халатом, позаимствовавшим узор от Брака или позднего Пикассо, чуть не упиралась Иве в нос. Иве хотелось укусить её, и как в замедленной съёмке, он представлял, как закроет глаза, откроет рот, чуть наклонится вперёд, зло, по-собачьи сожмет зубами солоноватую ткань халата, мама, наверное, вскрикнет, отскочит и ударит его наотмашь по голове. Дальше представлять было неинтересно, да даже и вообще реакция мамы не слишком его занимала, так что Ива в середине этого сна наяву начинал раскручивать его сначала: вот он закрывает глаза, открывает рот...

Она жила далеко от Москвы, и он не видел её много лет, лишь звонил пару раз в год и больше молчал в трубку, утвердительно-однообразно отвечая на одни и те же вопросы о здоровье, ожидая вечного финального про намерение жениться, после которого можно было попрощаться, вздохнуть свободно и на какое-то время про маму забыть. Он знал, что ей тоже тяжело и неинтересно говорить с ним, что у неё своя жизнь с новым мужем и, пожалуй, если бы он попал под машину или тяжело заболел, она приехала спасать его, выполнять материнский долг, но, покуда было у него «всё хорошо», детали её не интересовали и даже пугали, ведь не могла она совсем ни о чём не догадываться.

Дама свернула в арку, а Ива чуть не налетел на двух девушек с картой, громко споривших по-русски с южным харьковским акцентом, как идти в сторону Тибра. Ива хоть и знал, но решил не останавливаться: как и большинство русских, за границей он соотечественников не любил.

Следуя синей нити Айфоновой Ариадны, Ива из тёмного проулка вышел на извилистую, поднимавшуюся в гору улицу, с одной стороны которой был ряд домов в стиле ар-нуво, а с другой — глухая кирпичная стена парка, впрочем, и парк, и стена были на несколько метров выше уровня троттуара, так что казалось, что идёшь по глубокому рву. Стена оканчивалась аркой, за ней после оживлённого перекрестка начинались сады Боргезе. Ива опаздывал на сеанс, но не торопился, надеясь на итальянскую безалаберность — засмотрелся на одной из аллей на старика-японца, сосредоточенно гипнотизировавшего деревья ритуальным тай-чи.

В музей Ива опоздал, что было не так уж плохо: можно было осматривать залы позади толпы, будто пришёл с частным визитом. Ива подолгу любовался мраморной мускулатурой изваяний Бернини, размышляя о чуде кардинале, его тяге к прекрасному, которая не останавливалась ни перед воровством, ни перед шантажом или банальной взяткой, но принесла в итоге пользу, позволив ему, Иве, наслаждаться продуктом этого телефонного права, передававшего болезненный привет Вакха из эпохи, когда телефонов не существовало.

Когда Ива возвращался из правого крыла пинакотеки, осмотрев лишь половину второго этажа, в за-

лах прозвенел звонок и служители пригласили посетителей на выход: отведённое на посещение время истекло. Ива расстроился: на завтра он возвращался в Москву, приходилось отложить вторую часть до туманного следующего раза. Он попробовал было договориться с высокой сухой старухой в чёрном платье и похожем на мантилью кружевном платке, но она не поняла ни слова по-английски и только досадливо замахала рукой: *Finished, finished*. Ива спустился по скучной каменной лестнице, подходившей, скорее, средней школе, чем кардинальскому дворцу. Между этажами был туалет. Он пристроился в конец очереди и принялся украдкой разглядывать лысого господина, что с тяжёлыми вздохами вытирал платком толстую усталую шею, пока не юркнул в освободившуюся кабинку в женской части, не заметив, наверное, таблички на двери. Через пару минут подошла Ивина очередь. Когда он вышел, увидел следующую группу, поднимающуюся по той же лестнице. Первым порывом было спуститься против течения — и тут он опоздал, — но Ива понял, что ничто не мешает ему снова подняться на верхний этаж. Он боялся только, что служительница узнает его и замашет костлявой рукой, он пожалел уже, что заговорил с ней. Сердце по-детски опустилось, когда переступил порог лестничной площадки, но мантилья сидела в углу и мирно спала, посапывая чёрным орлиным носом.

Ему пришлось по новой пройти по осмотренной ранее половине: вторая была предусмотрительно закрыта, старуха даже сквозь сон следила, чтобы всё шло своим чередом. В последнем зале, уже настроившись на конец визита, в предвкушении того, как

выйдет в жаркий, пропахший кипарисами парк, Ива задержался перед одной из работ. Он, кажется, видел вариации этой картины в каких-то других музеях, но не уделил им должного внимания. Прикрытая легкой вуалью распутная Венера смотрела игриво, но вместе с тем осуждающе, будто была недовольна, что Ива пришёл к ней в украденное у музея время. Рядом с ней зашёл в безмолвном вопле маленький Амур. Ива загляделся на изгибы женского тела, лукавый взгляд, матовую, будто чуть припудренную кожу. Он включил аудиогид. «Пчёлы символизируют, что за любое удовольствие приходится платить болью», — шептал вкрадчивый баритон, и Ива подумал, что да, точно, пчёлы, вот почему плачет ужаленный Амур. Он забыл как-то об этом сюжете, а теперь понял, что именно они тихо жужжали на задворках сознания, не вылетая до времени из забытого улья. «За любое удовольствие ты заплатишь болью, — говорила ему улыбаясь из-под вуали Венера. — Любое».

Интернета в квартире на Campo dei Fiori не было, и Ива переходил из одного кафе в другое, с утра просил чаю, вечером вина и часами сидел с книгой, время от времени проверяя Фейсбук и Хорнет. Эти два мира, далёкие друг от друга, как две стороны Луны, на поверку оказывались одним целым, будто то была душа человеческая, соединившая смешные повседневные слабости и затаённую невысказанную страсть. Собаки, дети, невесты на Воробьёвых горах, песчаные пляжи со взбитой кромкой океана не имели никакого представления о существовании другой — мускулистой, обнажённой, разверстой, как вспоротый живот, жизни. Иве нравилось представ-

лять, каким был бы в Хорнете, к примеру, тот чернявый итальянец с натянутыми рукава футболки бицепсами, блеклой женой, про которую можно было подумать, что она пьёт по утрам уксус, и гадким немолкающим младенцем. Наверное, он вывесил бы своё отражение в гостиничном зеркале, узкие плавки обтягивали бы эрегированный член, втянутый живот занимал большую часть кадра, не оставляя места для лица. Он бы сразу переходил к делу, высылал свои фото с раздвинутыми ягодицами, представлялся выдуманном именем, скажем, Марио, хотя на самом деле он Витторио, и договаривался о встрече, чтобы после быстрого, но громкого секса успеть к жене и ребёнку. В постели он делает, наверное, всё, но за редкими исключениями, скажем, любит чтобы его трахали в зад, но в рот не берёт, чем всегда расстраивает партнёров, быстро утешающихся возможностью облизывать его толстый итальянский член с выстриженным лобком. Или скорее наоборот, он исключительно актив, кладёт тебя на спину на край кровати, закидывает ноги на плечи, входит чуть более резко, чем надо, так что сначала больно, но потом становится приятно, и он быстро двигает тазом, держа тебя одной рукой за лодыжку, а другой за бедро, и в эти минуты главное не смотреть на его живот, что забылся и одряб, но смотреть ему в глаза, наблюдая, как он возбуждается от твоих стонов — довольный собою мачо. И всё это — колючие мужские поцелуи, дрожь от первых прикосновений, ладони на потной спине, липкий от lubricанта зад, вязкая сперма на животе, использованные презервативы, ловко собранные в бумажные носовые платки — ничуть не мешает

возвращению на залитую солнцем мостовую римской площади, где можно размашисто обнимать прозрачную супругу, заливисто смеяться в ответ на редкие улыбки младенца, восседать на семейных застольях с родителями, братьями и племянниками в качестве подающего надежды будущего владельца семейного бизнеса, истово молиться спасительнице нашей Деве Марии в исключительных случаях болезней и очередных родов, ну и, конечно, постить одно за другим селфи в Фейсбук: вот мы с нашей крошкой на пляже, а вот она съела свою первую пиццу. Марио-Витторио вдруг поймал Ивин взгляд. Ива не сразу опомнился, а когда дошло до него, что смотрит итальянцу в глаза слишком долго, подумал, что, наверное, был недалёк от истины. Если бы они были героями какого-нибудь фильма, оба сейчас встали, пошли в уборную и там обменялись бы телефонами. Но времена уличных знакомств остались в романах, люди Хорнета соблюдали святость Фейсбушной жизни.

- Hi
- Hello
- U r cute
- Thanks, u 2
- Where r u from?
- Brazil and you?
- Russia
- Wow
- What?
- This is far
- So is Brazil
- You still have communism there, right?
- Haha. Not really.

- Wanna meet up?
- Yeah, why not.
- Now?
- No, I'm with a friend, she doesn't know I'm gay, let's do it later
- Ok

Большая часть этих later из Хорнета заканчивались ничем. То ли парни стеснялись открыто сказать «нет», не зная о негласном правиле таких знакомств: никто не обязан отвечать на сообщения. То ли пугались в последний момент. А может, им было достаточно флирта и осознания того, что кто-то готов пригласить тебя в гости и заняться любовью. Ива же долгих разговоров не любил, ни друзей, ни отношений не искал, иногда особенно хорошие sex dates превращались в постоянных партнёров, но Ива остывал к ним через месяц-два, переставал писать и они растворялись.

Вечерело. На залитых песочным светом фасадах занавесом поднимались тени, последние отблески солнца мигали на сливающихся с синеющим небом крышах, в убранных барочными наличниками окнах там и тут скромно загорались первые люстры, отступала осторожно жара, оставляя знойный вечерний предгрозовой запах. Иве нравились эти пограничные состояния дня и ночи, закаты и рассветы, но не открыточные виды солнца, встречающегося с горизонтом в пустыне или океане, а городской переход от света к полумраку, который всегда начинается чуть раньше, чем указано в погодной сводке, и знаменуется не астрономическим вращением Земли вокруг своей оси, а постепенным умиранием света (или, наоборот,

тьмы) — еле заметным, неосязаемым для простого горожанина, ведь он обычно проводит эти часы в постели или в офисе, и только чуткий взгляд праздного туриста может увидеть спрятанные на темнеющих фонарных столбах и утомлённых голубях приметы.

К Ивиному удивлению парень из Бразилии написал, что освободится в районе полуночи и готов приехать, куда скажет Ива. Ива подробно объяснил, как найти *Campro dei Fiogi*, но сразу домой к нему бразилец приходить побоялся, договорились встретиться у фонтана и начать с кафе.

Как это обычно бывает, мальчик совсем не походил на свои фотографии. В Хорнете он казался старше и мощнее, но юность не портила его, хотя Ива тут же подумал, что спать с таким щупленьким цыплёнком балансирует на грани запретного. Он был блондин, даже альбинос, с веснушчатым птичьим лицом и бесцветными глазами рассветного неба, смотревшими умильно и немного испуганно, как смотрит щенок, когда ему хочется пошалить, но он боится грозной суки-мамаши. Было ему 19 лет, звали его Кристоф, он оказался из бразильских немцев, в Европу приехал в первый раз, и Иву с первой секунды зажгла неудовлетворённая, ненаученная скрывать подростковая страсть. Ива заказал бокал красного вина, Кристоф — бутылку *Reggie*, после пяти минут общих тем разговор иссяк, Кристоф вдруг посмотрел Иве в глаза и прошептал одними губами: *I like you. I would like to be with you.* Это прозвучало совсем не по-хорнетовски, Ива бы на его месте просто сказал: «Пойдём» или даже: «Ну что, попросим счёт?», а может и вовсе ничего не надо было говорить. Но столько было в его

тоне желания, страха, неуверенности, нежности, что Иве захотелось крепко обнять его и потрепать по соломенным волосам.

Они поднялись в квартиру. Кристоф подошёл к окну и облокотился на раму, будто часть его хотела ещё сбежать, улететь, спастись от Ивы. Ива обнял его сзади и положил голову на плечо. Кристоф был чуть ниже, Ива согнул колени и прижался к нему, так что оба они чуть наклонились вперёд и высунулись из окна. Иве было не очень удобно, острая рама резала предплечье, но ему приятно было чувствовать чужое трепетное тело, от неожиданной нежности напрягшееся, вытянувшееся велосипедной шиной, которую накачали живительным воздухом.

Было поздно. Под желчным Джордано умирала *Campro dei Fiori*. Рестораны и бары, окаймлявшие пекторалью тёмную впадину площади, потихоньку пустели, зато в центре собирались, наполняя темноту, небольшие группки подростков, разрывавших ночной городской гул девичьим визгом или раскатистым хохотом.

У Ивы затекли руки, он выпрямился и поцеловал Кристофа в белую, покрытую нежным детским пушком шею. Кристоф был худенький, но очень ладный и шустрый. Подушечки его пальцев, кончик его языка возникали в самых неожиданных местах, доводя Иву до дрожи в коленях, до того, что нервы начинали зудеть, как когда отсидишь ногу или руку, Ива то и дело проваливался в полудремотное забытьё, городской шум становился глуше, будто кто-то убавлял громкость, потом выныривал обратно, встречаясь с пытливым, неуверенным взглядом Кристофа.

После они долго лежали, скромно свернувшись в уголку огромной кровати. Ива обнял Кристофа, и тот плюшевым мишкой уместился между Ивиных рук. Он довольно посапывал и глядел на старый итальянский комод, стеснительно блестящий залысынами на месте отлетевших бронзовых накладок. You are so kind with me, — прошептал вдруг Кристоф со смутным страхом, будто боялся, что Ива, по обычаю инкубов, внезапно исчезнет или перестанет быть добрым. Ива не нашёлся, что ответить, и только сильнее сжал руки, чтобы уверить птенца в своей ответственности.

Он представил себе немецкий район в Белу-Оризонти, откуда был родом Кристоф, серьёзных родителей-протестантов, трудившихся в поте лица, чтобы прокормить бесчисленных детей, семейные молитвы, Рождество с одинаковыми подарками для всех, свадьбы старших братьев и сестёр, выставивших в таких же серьёзных протестантов, как и родители, опасную улицу с темнокожими парнями из соседнего района, которые могли отобрать мобильник, а то и поколотить маменькиного сынка, и ему стало нестерпимо жалко хрупкого прозрачного мальчика с расцветными глазами, жадного до мужской ласки, которой не нашлось места между домашней истовостью и уличной жестокостью, так что пришлось лететь за тысячи километров, чтобы встретиться с ним, Ивой, соскучившимся по тому же самому, ибо Москва лишь на глобусе была далека от Белу-Оризонти.

— I need to go, — тихо сказал Кристоф, не пошевелившись, так что показалось, что это не он сказал, а слова сами повисли в воздухе, выплыв из ниоткуда.

— Why? — не шевельнувшись проговорил Ива.

— I have a bus tomorrow morning. I'm leaving.

— Where? — спросил Ива, хотя ему было совершенно безразлично.

— To Berlin.

— Too bad.

— Yes.

Они так и лежали недвижно, Иве стало ещё острее жаль Кристофа, он прижался к нему плотнее и тот ответил чуть заметным движением спины, желавшей слиться с Ивой, раствориться в нём, исчезнуть из этой комнаты, этого города. Ива почувствовал прилив возбуждения, чуть приподнялся на локте, поцеловал Кристофа, развернул его на спину, увидел, что тот тоже готов снова заняться любовью.

Блаженны двое, познающие друг друга впервые. Столько предстоит им открытий, нервных электрических разрядов в пальцах, жадных взглядов, дрожи, пересохших ласковых губ, ежесекундно познающих новое, скрытое, тайное, влажное. Как интересно найти в чужом человеке спрятанные под кожей струны, прикосновения к которым заставляют его изгибаться по-кошачьи, приоткрывать рот в беззвучном крике, и играть, играть на них до изнеможения. Как упоительно читать в незнакомых глазах страсть, и нежность, и счастье, смешанное с лёгким страхом, что могло и не случиться этого, могли пройти мимо, не заметить друг друга. Как вкусен запах нового солёного тела, как принохиваешься долго, внимательно к потайным уголкам его, впитываешь в себя, стараешься запомнить. И совсем иным становится секс во второй, третий раз, даже если случилось это тут же,

через полчаса после первого. С невозмутимостью маэстро нажимаешь на нужные клавиши, получая тайную радость от умения, ловкости, мастерства, от того, что представляешь заранее, как должно откликнуться знакомое тело, и замечаешь для себя, что не ошибся, что так оно и было, как ожидал. И с удивлением порой обнаруживаешь, что знаешь не всё, и то там, то тут, появляются новые неожиданные сполохи, как языки огня в разгоревшемся костре выбрасывают вдруг лисьи лапы в самых тёмных местах. И совершенствуешь свою искусность, и всё больше отмечаешь, запоминаешь кожей, пальцами, губами робкие реакции, изломы, звуки.

Они снова лежали, распластавшись на постели, потные, раскалённые. Чтобы не отпускать Кристофа совсем, Ива положил левую руку на его руку и она горела, будто лежала на разогретом камне русской печи. Ожила забытая площадь, вошла в комнату ночными приглушёнными звуками, пьяными криками, редким рыком далёких мопедов. Синий, впитавший ночную тьму абажур висел укоризненно прямо над Ивой, недвижимый, сонный, рядом с ним белело пятно от уличного фонаря, следившего за тем, что происходит в комнате, и пропускавшего через себя медлительных зайчиков, шуршавших по потолку тихими моторами. Казалось, что парят они в безвоздушном, бессмысленном, безвременном пространстве, Ива не чувствовал своего тела, даже левая рука давала знать о себе всё меньше, приятная истома накрыла его, тяжело подхватила и понесла, замутила, затуманила.

Тяжёлый вздох Кристофа сорвал поволоку. Ива повернулся на бок и сонно поглядел на него.

— I don't wanna go, — сказал Кристоф слёзно.

— Me too, I want you to stay, — ответил Ива, пожалев, что получилось как-то дежурно.

Кристоф натянутости не заметил и продолжал вздыхать. Ива придвинулся к нему, обнял, положив голову на впалую белую грудь, усыпанную рыжими веснушками. Кристоф принялся перебирать свободной рукой его волосы, и долго так лежали они. Ива снова начал уплывать в сон, но Кристоф опять глубоко вздохнул, каравеллой на неожиданной океанской волне поднялась и опустилась Ивина голова. Ночная тишина треснула визгом тормозов, Кристоф дёрнулся, высвободился и стал медленно одеваться на фоне распахнутого в фиолетовую ночь окна. Ива наблюдал за тем, как тот натягивает узкие, ладно сидящие плавки, футболку, шорты, садится на кровать, завязывает шнурки на кроссовках, и стало снова ему обидно за Кристофа, за достигнутую и упущенную нежность, ласку, которой так не хватает и от которой надо уезжать куда-то, потому что Земля продолжает вертеться, даже когда нам хочется, чтобы всё застыло.

Он сидел, поджав ноги, на земляном полу, смотрел в стену и тихонько раскачивался из стороны в сторону. Заснувшая в жарких струях рыба. Мимо проплывали ленивые, полуживые звуки, он внимал им, но они не трогали его, не проникали, обтекая. Он знал, откуда они, но знание это было бесполезно, бездейственно. Зной расслаблял, усыплял, плавил мысли. Мать кричала что-то соседке, та отвечала, громко смеясь, хотя это было неприлично, муж соседки наказал бы её, будь он рядом. А вот кричать не возбранялось, поэтому если бы рядом был отец, он осудил соседку, но мать ругать не стал. У входа глупо тявкал приبلудный щенок. Он не понимал: тявкой, не тявкой, ничего не изменишь. Пока ты щенок, тебе умиляются и пихают под нос молоко, но только вырастешь в собаку, будут пинать и бросать объедки. Он это знал. Годы его были щенячьи, но тявкать он перестал.

Вошла мать с кувшином молока и лепёшкой, поставила их рядом. Она была единственной, кто не боялся, потому подошла близко, другие на это не решались.

- Как ты чувствуешь себя?
- Хорошо, мама.
- Тебе надо поесть.
- Да, мама.

Он подождал, пока она выйдет: невозможно есть, когда рядом чужие. Посидел, глядя на стену, покачался, отломил ломоть хлеба, надкусил, запил тёплым парным молоком. Было приятно пережёвывать хлеб,

представлять, как серое мешается во рту с белым, жирное с постным, жидкое с твёрдым. Он гонял мясистую массу от одной щеки к другой, удерживая вкус, а когда переставал чувствовать его, проглатывал, хотя и не понимал зачем: если вкуса нет, зачем это нужно желудку? Раньше он выплёвывал, но мать каждый раз опускала глаза, приседала на корточки, собирала ошметки несъеденной пищи, с её лица что-то капало в них. Смотреть на это было тошно: лепёшки были чёрно-белыми, капли водянисто-прозрачными, лишними. Он решил, что лучше глотать.

Поев, он стряхнул с себя болотистое жаркое наваждение и вышел на улицу. Когда глаза немного привыкли к свету и он смог открыть их, даже и тогда невозможно было ничего разглядеть. Песчаные дороги, песчаные дома отражали песчаный диск, заливавший медью бесцветное небо. Он знал, что небо синее, но синева эта испарилась, мир пожелтел. Солнце палило, но скоро собиралось скрыться за каменистыми холмами, поросшими хилыми деревцами и сухой травой. Ни деревьев, ни травы было не различить, но он помнил, что они там, и тоже ждут, когда солнце уйдёт, чтобы передохнуть от галилейского пекла.

В омуте женских криков, детского плача, бляенья овец и куриного квохтанья, Иху различил какое-то волнение. Кто-то шумел, бросая вызов жару. «Дерутся», — подумал Иху. Он не хотел смотреть на драку, знал, что с его появлением она сразу прекратится, а противники разбегутся, подгоняя друг друга: боялись его. Глупцы. Они всерьёз считали, что в нём сидит Нечто, что управляет им, но он-то знал цену этим бредням. Бога нет, как и Сатаны, это сказки для

женщин и непослушных детей. В них давно не верят даже книжники, что уж говорить об остальных.

Друзей у Иху не было, как и врагов. Это было хорошо. Зачем нужна дружба, что за интерес шататься по окрестным холмам, удить рыбу, лепить воробьёв из речного песка? Но зато за всю жизнь Иху ни с кем не дрался. И его ни разу не били. То есть, его с удовольствием поколотили бы, будь они посмелее.

Он не хотел смотреть на драку, но незаметно для себя вышел на дорогу и побрёл в сторону шума, держа тень кипарисов. Дрались за углом дома Римлянина. Двое мальчишек мутузили друг друга, а ещё с дюжину стояли вокруг и что есть мочи кричали. Это было бы неинтересно, если бы не тот, другой. Пока его не было видно, но Иху знал, что он непременно придёт. Через выбоину в углу дома Римлянина было удобно подсматривать за перекрёстком. Один из парней брал верх, повалил второго на живот, сел на него сверху и возил его лицом по дорожной пыли. Нижний задыхался, пытался вырваться, щипал и царапал верхнего, но тот не замечал боли, предчувствуя скорый триумф. Иху было неинтересно, кто победит, он равно не любил обоих и был бы рад, если бы они изувечили друг друга.

Он не заметил, как и никогда не замечал, как Йешуа приблизился к потасовке. Он просто оказался на площади, как будто внезапно соткался из воздуха, солнца, криков. Он стоял в стороне, высокий для своих лет, худой, с длинными волнистыми волосами, тонкими ногами, выглядывающими из-под хитона. Лицо его было расслаблено, казалось, он вот-вот улыбнётся. Но он не улыбался, просто его полные,

немного женские губы не умели выражать ничего другого. Хотя они и жили в нескольких домах друг от друга, Иху никогда не видел Йешуа вблизи. Он не знал, какие у него глаза, но мог представить, что они должны быть спокойными, рыбьими, как и у самого Иху, когда к концу дня жара лишала его воли. Но Иху также знал, что это морское спокойствие не такое тупое, каким кажется. Это было известно и остальным мальчишкам, вдруг заметившим Йешуа и замолчавшим. Дерущиеся вдруг оказались в вакууме тишины, причина стычки забылась, они поднялись, не глянув друг на друга. Опустив глаза, тихо разошлись, и Иху знал, что это не показное, сегодня они больше не соберутся, как сделали бы, отругай их взрослый. «Вот рыба кость», — зло подумал Иху.

Йешуа остался на площади один. Даже братьев его не было видно, хотя они часто ходили вместе. То есть, не совсем вместе, а чуть поодаль от младшего. Он стоял, уставившись в то место, где только что лежали мальчишки. Иху жадно смотрел на него через щербину в стене, пытаясь понять: что же создало ему славу на всю округу, так что из окрестных деревень сходились женщины с больными детьми, прокажённые, увечные, готовые отдать последнее за кусок одежды этого девоподобного ребёнка. Купцы обменивали дорогие вина на кувшин воды, в которой мылся Йешуа, за несколько тростей шёлка можно было получить огрызок его детской пелёнки. Родители его, пришедшие в Назарет ни с чем несколько лет назад, теперь разбогатели и отстроились так, как не снилось и видным горожанам. Местные кумушки шушукались, что надо бы подать жалобу первосвященнику, обвинить

семейство в колдовстве, изгнать их из города, побив камнями, к тому же и знали, что мать Йешуа согрешила, понесла его от римского солдата, обманув немощного Иосифа, даже имя настоящего отца называли: Пантера. Да и отчим любил лишь четверых законнорожденных сыновей, чурался бастарда, хоть официально и принял его. Но сплетничали втихаря, боялись, поговаривали, что не только целительными талантами обладало это дитя.

Иху ничему не верил. Он не видел ни одного исцелённого, но помнил, как пару лет назад нашествие прокажённых принесло в город настоящую эпидемию, так что пришлось выставлять заставы. И уж тем более смеялся над историями про необъяснимые смерти среди тех, кто обидел Йешуа. Рассказывали, будто один учитель наругал его и умер от его проклятия, так что другие теперь отказывались учить его. Иху знал того учителя — он был молодым, но смерть угадывалась за его плечами. Он не верил ничему, он соглашался с подругами матери, шептавшими что Мария — шарлатанка, умело использующая то, что её младший сын не от мира сего. Он не верил ничему, но не мог оторваться от отрешённого лица мальчика, созерцавшего площадь с улёгшейся пылью. Он пожирал его глазами, стараясь понять, запомнить малейшие детали, видимые с разделявшего их расстояния. Ничто не мешало ему выйти из-за угла и подойти к Йешуа, и он знал, что тот не убежит, как убежали бы остальные, но что-то держало его. Не страх, нет, Иху ничего не боялся. То была... ненависть. Холодными тисками сжимала она грудь Иху, кровь прилиwała к вискам и бешено пульсировала в сосудах, грозясь

прорваться наружу. Мария, шарлатанство, трость нежного шёлка, запачканные пелёнки, грязная вода, пронизательный и пустой взгляд, исходящий из непознанных глаз, девичья фигура под хитоном, длинные волосы, должно быть мягкие на ощупь, матовая кожа, должно быть терпкая на запах... Сорвать, обнажить, изничтожить, изгрызть зубами по тёплому мясу. Иху знал, что если приблизится, произойдёт непоправимое, то, чему не должно случиться, и потому оставался в стороне.

Мальчик на площади глубоко вздохнул, поднял голову и, не глянув в сторону Иху, развернулся и пошёл к дому. Были бы у Иху стрелы, и они не смогли бы передать тот заряд злобы, который он выстрелил в спину уходящему. Обессиленный, Иху прислонился к стене, сполз на землю, жалобно заскулил и вцепился зубами в запястье. Грызть, кусать до изнеможения, до полного истребления, представлять, что это Его плоть. Отрывать кожу, разрывать вены, пусть чёрная густая кровь капает на симлу, на ноги, на землю, смешивается с пылью, будто это Его кровь.

Иху кусал, вцеплялся зубами то в одну руку, то в другую, задирает ногу, чтобы достать до мякоти тощей икры, пока вокруг на почтительном отдалении не собралась толпа взрослых, детей и женщин, они кричали на него с ужасом в глазах, вот только Его в этой толпе не было, Ему страдания Иху были безразличны. Через толпу с рыданием прорвалась мать, упала на колени, набросила на Иху тёмную льняную плащаницу.

— Ну, что же ты, маленький мой, давай, пойдём, вставай, зачем же так, — захлёбывалась она, — перестань, всё хорошо, всё хорошо, хорошо.

Познакомился в Хорнете с одним потрясающим зайцем. 20 лет, худенький, скромненький, беленький, темноволосый, краснощёкий, голубоглазый, из какой-то глухой провинции, которую я так и не смог отыскать на карте, работает официантом, покоряет Москву. Вообще Хорнет с одной стороны гениальное изобретение, которое значительно упрощает жизнь сексоголикам вроде меня, с другой — там столько чудных людей, что дивишься, как они со своими странностями существуют. Одни согласны исключительно на любовь и отношения, заявляют тебе об этом после первого приветствия или даже в профайле. То есть вот как они себе это представляют? «О, ты ищешь любви? Я тоже! Переезжай завтра ко мне!» Или предлагают покататься на роликах. Почему я должен кататься на роликах с незнакомым чуваком? У меня есть друзья для роликов. Некоторые, впрочем, предлагают покататься на роликах, а когда ты для вида соглашаешься, просят моментально приехать к ним и обоссать, не снимая, видимо, роликов. Кто-то размещает отретушированные фотографии или снимки десятилетней давности. Зачем? В постель ко мне он с распечатками залезет что ли? Один недавно приехал, привёз гашика, мы покурили с ним, поебались, потом он мне пару часов пел о том, какой он несчастный, знакомиться не с кем, «все такие ненормаальныееее». И вдруг рассказал, что его главная мечта — встретить «инопланетянов», а вообще он потомственный ясновидящий и предсказывает будущее. Ну окей. Вспомнил

добрым словом отшельника Тиберия, который сбрасывал таких ясновидящих со скалы на Капри, предварительно спросив их мнение по поводу собственной судьбы. Они, конечно, были хорошего мнения о своей судьбе, но, как выяснялось, ошибались.

По мне, так в мире масса парней, с которыми можно заняться сексом, потому что для этого достаточно физических данных. Гораздо меньше тех, с кем стоит встретиться во второй раз, потому что для этого он должен быть хорош в постели (то есть, это качество и для первого раза важно, но проверить-то невозможно, дипломов не выдают). Круг значительно сужается, подходя к третьему сексу. И уж совсем немногие избранные попадают в число тех, с кем интересно разговаривать, ужинать, кататься на роликах и ходить в театры. Начинать надо с постели, а там время покажет.

В общем, заяц этот тоже пару недель ломался, не хотел ехать, я перестал с ним общаться, потому что не люблю зря тратить время, а потом он неожиданно возьми и напиши среди ночи: «Чего делаешь?» «Тебя жду», — отвечаю. «У меня к тебе, — пишет, — два вопроса. Ты ведь не манерный? И как насчёт выпить за знакомство?» Я ответил, что для него могу надеть боа и каблуки, а выпить всегда найдётся. Приехал. Пришлось, правда, заплатить за его такси. Сидели на кухне, болтали, пили водку с соком, я дивился, каким мусором забита голова молодёжи. Ну то есть я не всегда слушал Шнитке и Грига, в его возрасте был «Наутилус Помпилиус», Nirvana и, пожалуй, Pet Shop Boys, но за всем этим стояла целая философия, а как можно торчать под мудацкие мелодии с дешёвыми рифмами вроде «это не шутки, мы встретились

в маршрутке»? Заяц оказался немного забитым, неуверенным в себе, закомплексованным, но мне это было на руку, иначе стал бы он трахаться с парнем на 16 лет старше его. Он то выдавал фразы вроде «Не понимаю, почему люди не могут быть счастливыми? Ведь это так просто!» А потом пускался плакаться на то, что он одинокий, некрасивый и неумный, никто, мол, его не любит, а все попытки построить отношения заканчиваются ничем. Приходилось успокаивать его, убеждать, что он очень симпатичный и милый мальчик, и если нужны ему отношения, они не заставят себя ждать: стучите, и отворят вам.

С утра надо было на работу, так что пиздеть ночь напролёт в мои планы не входило. В какой-то момент я встал, сделал вид, что мне нужно выйти из кухни, вернулся, подошёл к нему, наклонился и поцеловал. Он ответил, задрал голову, но когда я попытался поднять его, чтобы отвести в спальню, начал играть со мной, сопротивляться. Ладно, подумал я, хочешь побеситься, пожалуйста. Я не знал, как к нему подступиться, потакал его капризам, он поставил какую-то очередную попку из своего Вконтакте и принялся танцевать под неё, беззвучно, одними губами выпевая текст. Было приятно смотреть на него — красивого, хмельного, переступающего с ноги на ногу, как девочка на деревенской дискотеке рядом с поставленным на пол клатчем. Нет ничего прекраснее танцующего мальчика, что смотрит тебе в глаза, читает в них желание, но хочет казаться недоступным, хотя сам уже в его власти; нет ничего загадочней игры между двумя существами, которые точно станут любовниками, но пока не стали ещё, не узнали секретов, не



а потом присылает свои фотографии с перемотанным цепочками членом или уткнувши нос в поношенный кроссовок, с такими я обычно не встречаюсь. Мне нравится, когда всё медленно и нежно, я готов отхлестать парня по ягодицам, но не люблю обсуждать такие детали заранее. Мне даже роль партнёра неинтересна — главное, чтобы в постели был хорош, а кто кого будет трахать, это уж разберёмся. Но так это было сексуально, когда после рыбьих глаз, стонов и матюков во время оргазма ласковый Заяц, обняв меня под одеялом всеми лапами, прошептал на ухо: «Мне нравится, когда жёстко, когда больно, можешь меня не жалеть в следующий раз?» Хорошо, хорошо, котик, не пожалею.

Следующий раз случился через неделю. Я не позволил ему устраивать концертов на полночи, сказал, что или мы трахаемся и он может делать, что хочет, или я ложусь спать. Я подготовился. Достал с антресоли купленные для какого-то карнавала наручники и стек, оставшийся с того времени, когда занимался конным спортом. Чёрный длинный стек с широким кожаным наконечником, чтобы лошади не было больно, но она понимала, что надо пускаться в галоп, иначе больно будет потом. Заяц сначала стеснялся, трусил, я предложил отстегать его через домашние серые треники. Он лёг на живот, уткнувшись головой в мои колени, и смешно отклячил задницу, я стал бить его то по одной ягодице, то по другой, он ещё больше приподнялся, я лупил всё крепче, он немного постанывал при каждом ударе. Он расстегнул мне ширинку и взял мой член в рот, я нещадно хлестал его, это возбуждало. Это было новое ощущение.

ние, сложное переплетение удовольствия от того, что бьёшь человека, ему должно быть больно, но он стонет сладостно, и ты lupишь его сильнее, сильнее, чтобы он закричал от настоящей боли. Так в детстве пробуешь карандаш, сгибая его, чтобы узнать, в какой момент он переломится, и он ломается, наконец, и тогда уже поздно, обратно сломанный карандаш не составишь, и пока ты его гнёшь, ты знаешь, что он сломается, знаешь, что будешь жалеть его, но не можешь остановиться, нажимаешь всё сильнее. Заяц стянул штаны и встал на четвереньки, упёрся головой в стену, я стоял сзади на коленях и продолжал хлестать его до того, что его белые ягодицы покрылись красными рубцами, он вздрагивал от каждого удара, извивался, повизгивал, выбрасывал назад руки, но не пытался вырваться или уползти. Я растянул его, прошёлся кончиком языка по красной, покрывшейся мурашками коже, чтобы унять боль, перевернул его на спину, достал из-под кровати наручники, он глянул одурело, начал сопротивляться для виду, я прижал его коленом, сковал, пристегнув к деревянной стойке в углу кровати, ударил стеклом по набухшим красным соскам, по беззащитным щекам, снова по ягодицам. «Слушай, давай договоримся: если я скажу... Ну... Не знаю — «чёрный», ты меня тут же отстегнёшь», — я согласился. Заяц слёзно скулил, ему было хорошо, сладко, страшно в моей власти. Я спустился по ногам и по-христиански смиренно вылизал его ступни. Они прело пахли рабочим днём, беготнёй между кухней и залом, я аккуратно собрал языком катушки пыли между пальцами, пройдясь по каждому в отдельности, чуть прикусывая подушечки. Заяц

стонал, не переводя дыхания, казалось, весь он сейчас изойдёт в стенаниях. Я приподнял его ногу и стал хлестать стеклом по стопе, успокаивая её языком: три удара — влажный поцелуй, ещё три удара, снова поцелуй. Не слишком нежно, чтобы не расщекотать, не слишком грубо, чтобы дрожал от наслаждения. До себя я даже не дотрагивался, но казалось, готов был кончить от одного только животного запаха страсти и страха, от Заячьих всхлипываний и клёкота. Я вошёл в него, трахал его сначала осторожно, потом, жёстче, прижимаясь и прикусывая его потную шею. Я харкал ему в лицо, в глаза, я не переставал осыпать его пощёчинами, он жмурился, отворачивал голову, я иногда заносил руку и останавливал её в миллиметре от его лица, а он вздыхал и вздрагивал от удовольствия, потому что ожидание боли ещё приятнее, нежели сама боль. Он вопил громко, сжимал ногами мою шею, выкручивал локти, извивался ужом, но ему некуда было деться с моего члена, из-под моей руки, его трясло при каждом ударе, он кричал, рыдал, вгрызался в собственный бицепс, будто хотел прокусить его до крови, и я заводился всё больше и сильнее колотил его. Он просил меня отстегнуть его, умолял: «Ну всё-всё-всё, ну Ивочка, ну пожалуйста, я устал, отпусти меня. Ну это не смешно уже, аааа, ну не нааадооо, ну пожалуууистааа...» Но я не останавливался, я смеялся, я продолжал насиловать его, заводясь от его мучений. На полу возле кровати беспощадно вибрировал мобильник, я не хотел отвлекаться, но кто-то набирал и набирал снова. Я остановился и, не выходя из Зайца, лёг на него, чтобы дотянуться до телефона, он закричал подо мной. Звонил брат.

- Ало.
- Привет.
- Привет. Ты чего среди ночи?
- В общем, это. Мама умерла.
- Блядь. Прости. Я понял. Я прилечу завтра. От чего?
- Рак поджелудочной. В больнице.
- Ладно. Хорошо. Сейчас не могу говорить. Пока. До завтра.
- Что-то случилось? — простонал из-под меня Заяц.
- Всё нормально, — ответил я спокойно и больно прикусил ему мочку уха.

- Хочу, чтобы ты был грубым со мной
- Буду грубым ))
- Ну вот и отличиично
- Хехе ))
- Почморишь? Мат, чмор, плевки, шлепки
- У меня аж встал
- Мммм. Под собой позажимаешь?
- Могу в наручники тебя заковать и выебать жёстко
- Отличиично. Я по аналу девственник, не пугает?
- Пиздишь
- Правда. Сам увидишь
- Ну как я увижу, у тебя там девственная плева что ли?
- Значит придётся поверить на слово
- Ну трахнуть-то тебя можно будет или ты не даёшь?
- Можно
- Ммм
- Если аккуратно только
- А сколько тебе лет?
- 18
- Конечно, аккуратно

Интернет перестал работать. Ива закрыл приложение и поглядел в окно, провожая грязные перроны, на которых курили некрасивые толстые женщины и уродливые мужчины, они не обращали внимания ни на Иву, ни на его поезд, на переездах машины терпеливо ждали, пока Ива проедет, в домах вдоль железной дороги зажигался свет, Ива думал о том,

сколько ненужной бесполезной жизни происходит вокруг: люди ходят на глупые работы, плетут интриги против коллег, едут домой на электричке, смотрят на красивого парня или девушку на противоположной скамейке, у них туманится взор, встаёт член или увлажняется влагалище, но красивые парни и девушки им заказаны, приходится возвращаться в свою маленькую, пропахшую варёным луком квартиру и не заниматься никаким сексом, независимо, есть рядом супруг или нет. Они смотрят телевизор, верят в бога, в президента и в переселение душ, у них живёт в сердце первая любовь, воспоминание о том, как летнее платье так приятно щекочет лодыжки, и солнце слепит глаза, пахнет мокрым асфальтом и берёзовыми серёжками, и на душе легко, и хочется бежать, лететь куда-то, потому что так хорошо больше никогда не будет, господи! И они правы — не будет. Они рожают детей, делают ремонты, разводятся, снова выходят замуж, опять разводятся, ругаются насмерть с детьми, выходят замуж, в промежутках трахаются с тем и с этим, пробуя мужчин на зуб, а потом вдруг умирают от рака поджелудочной железы. Стоит ли эта наполненная страданиями жизнь того летнего дня, когда только и можно было ощутить счастье? Американцы даже в Конституции написали, что человек имеет право стремиться к счастью, но они ошиблись: право-то он, может, и имеет, но стремится прочь от счастья, оставляя его за спиной.

Ива не стал останавливаться дома, боялся, что накроет ненужными сантиментами. Друг дал ключи от квартиры в центре, Ива взял напрокат машину: надо было много ездить — мама с мужем жили последние

годы на даче, морг и крематорий находились в разных местах, к тому же Ива хотел обладать свободой передвижения.

С утра поехали на дачу за маминым мужем, брат боялся, что тот не сможет сесть за руль. Ива подумал, что Слава, наверное, единственный, кто по-настоящему горюет по маме, хотя и ему досталось от её сложного характера.

Раньше Иве было тяжело в родном городе. Он приезжал сюда лишь по самым неотложным делам, старался разобраться со всем как можно быстрее, часто менял билеты, чтобы вернуться раньше. Ему казалось, что уехав в Москву, он сбежал из тюрьмы, из узкой камеры условностей и правил, от надсмотрщиков, что были строже Прокруста и пресекали любую попытку подняться над собой. Каждый раз возвращаясь домой, Ива мысленно надевал чёрный плащ и широкополюю шляпу, чтобы тюремщики не узнали его. С напускной уверенностью ходил он по улицам, знакомым, как коридоры собственной квартиры, но в глубине таился страх: а вдруг разоблачат, а вдруг не выпустят.

В последние годы это чувство ушло. Ива с одинаковым безразличием мог гулять по Парижу или Риму, в Москве он чувствовал себя дома, во всех остальных уголках планеты — туристом.

— Куда ты гонишь, тут камер повешали.

— Да я разве гоню?

У морга Иву, его брата и маминого мужа ждала деловитая женщина. Она поздоровалась с Ивой так, будто они были давно знакомы, но Ива не помнил её, оказалось — соседка. Она взяла Иву за плечо и проникновенно посмотрела ему в глаза: «Ну как ты?

Держишься?» Ива виновато улыбнулся и ответил, что да, в порядке. На душе стало противно, всё это было невероятно пошло, приходилось играть какую-то новую для Ивы, неприятную и неподходящую ему роль. Он не любил маму, ему было жаль, что она умерла, ей и 58 не исполнилось, но он не чувствовал ни горя, ни боли утраты, ему было безразлично. Если бы вот, скажем, Заяц вдруг попал под машину, то Ива бы расстроился, хотя знал Зайца всего пару недель. А мама? Ну умерла. Пожила и умерла — все там будем.

В морге было грязно, тесно и суетно. Древних старух вели на отпевание в соседнюю с главным кабинетом часовню, старухи шамкали, еле волоча своими палками. Толпа молодых чеченцев ввалилась с цветами, один, симпатичный, перехватил Ивин взгляд, Ива покраснел, чеченец презрительно отвернулся. Брат стоял с отсутствующим видом, было видно, что ему тоже неуютно. Только неизвестная соседка и мамин муж чувствовали себя в своей тарелке, они всё знали, всё понимали, так было нужно. Ива подумал, что, наверное, чем ближе к собственным похоронам, тем больше разбираешься в разных тонкостях, тем вольготнее чувствуешь себя в морге и на кладбище — готовишься, набираешься опыта.

Зашли. Слава с братом сели напротив здорового мужика в белом халате, Иве места не хватило, он прислонился плечом к стене, будто зашёл на минуту и должен вот-вот уйти, будто перемена в школе, стоишь возле класса и ждёшь звонка. Халат выдал Славе лист бумаги (Ива достал Айфон) и принялся обстоятельно объяснять процедуру, проговаривая каждое слово и каждую сумму, как терапевт, что втолковывает

больному ребёнку, зачем надо пить горькую микстуру: «Вскрытие прошло вчера, оно было бесплатным, сейчас мы вам подготовим медицинское свидетельство. Его надо будет подождать часа полтора. За день до похорон нужно принести вещи покойной. С 9 до 11 утра. При сдаче вещей заплатить 5000 рублей. Если есть фото, надо принести его вместе с одеждой. Фото подписать. Все эти вопросы со справкой, с одеждой может решить агент, вот тут её телефон, можете позвонить. Также у нас при больнице есть две часовни: малая и большая. Отпевание в малой стоит 5000 рублей, в большой — 7000 рублей. Мы предлагаем услуги бальзамирования. Тела у нас хранятся при температуре три градуса, как положено по правилам, но мы не можем остановить естественные процессы. У вас вот, к примеру, посинение правой стороны, отёк, трупные пятна на руках. Есть ещё желтизна, но мы можем устранить только те процессы, которые наступили после смерти. Всё, что было до смерти, останется. У покойной были, очевидно, проблемы с печенью, от того и желтизна, её убрать не получится. Мы предлагаем три вида бальзамирования: работа только с лицом, удаление трупных пятен, синяков, которые появились после смерти — это стоит 7800 рублей. Есть частичное бальзамирование, которое включает в себя лицо и руки, а также санитарную обработку тела. Это стоит 10 900 рублей. И полное бальзамирование, куда входит бальзамирование внутренних органов. Вы понимаете, хоть сейчас и не жарко, но процессы определённые происходят, и тела начинают пахнуть. Чтобы не было неприятного запаха, мы советуем делать полное бальзамирование. Это

стоит 15 400 рублей. Также отдельно оплачивается фиксация головы и рук, чтобы головка в гробу не заваливалась. Это тысяча рублей. Ну что, определились, какое бальзамирование будем делать?»

От цифр у Ивы закружилась голова, он почувствовал себя лишним. Слава уверенно достал из толстого, набитого документами бумажника деньги и заплатил за полное бальзамирование. Иву, вроде как, никто ни о чём не спрашивал, впрочем, ему было наплевать. Выписав чек, детский доктор вытащил альбомы с венками, Слава с братом рассеянно их пролистали. «Ну я так думаю, лилии? Она любила лилии», — сказал Слава, виновато оглянувшись. «Блядь, ну какая теперь разница, что она любила?», — подумал Ива и кивнул. «Гроб, — продолжил парень в халате. — У вас покойная была женщиной объёмной, ей потребуется двойной гроб. Если будете обращаться к услугам нашего агента, она вам всё объяснит». «Какая тщетность бытия, — улыбнулся про себя Ива. — Всю жизнь сидишь на диете, а как умрёшь — положат в двойной гроб».

Организацию похорон поручили агенту, так что Иве нечем было заняться. Он сидел дома, пролистывал Фейсбук в ожидании новых постов, ни один из которых ему не хотелось даже лайкнуть, переспал с двумя парнями из Хорнета.

Вечерами было совсем скучно: середина недели, друзья давно обзавелись семьями и работами, встречаться никто не хотел. Ива решил наведаться в сауну, тем более, что до неё можно было идти пешком. Он спустился на улицу и надел наушники: второй фортепьянный концерт Шостаковича, сразу вторую часть. Она всегда заставляла его думать об этих грустных

зимних дворцах на заснеженных набережных. Музыка падала вместе с пушистыми белыми хлопьями, кружилась в голове, к глазам подступали слёзы, дыхание захватывало. Оркестровая партия казалась лишь фоном для фортепьянной тоски — вечной, глубокой, проникающей в душу, как сырой холодный ветер, что пробирает через тёплое пальто. «За любое удовольствие ты заплатишь болью, — тянул рояль. — Любое».

Как и все гей заведения в России, «Море» не объявляло о себе опознавательными знаками — освещённый лампой дневного света спуск в потусторонний мир подвала безликого панельного дома, скалистая щель в измерениях, жилище Циклопа, вместо камня закрытое массивной стальной дверью. Первый раз Ива долго искал и стеснялся спросить, пока не обошёл весь квартал и не удостоверился, что ошибки быть не может. За тяжёлой тюремной дверью был тамбур, за ним ещё одна дверь, две двери не могли оставаться открытыми одновременно, так что входя в эту городскую пещеру, ты на минуту оказывался заперт в узком вневременном отсеке. На ресепшн за семью замками сидел кассир Захар с мелированием под черепаховую кошку и необычайно длинными ресницами. Безопасность черепахового Захара и посетителей охраняли внушительные церберы в чёрном с непременно проводами в ушах, лаять они не лаяли, но осматривали всякого входящего свысока, будто показывали: мы к этому борделю отношения не имеем, нам с местом не повезло, но работа есть работа. Захар, завидя Иву, всякий раз взмахивал тонкой рукой с лакированными ногтями и повизгивал, растягивая гласные, изображая томность: «Привет,

привет. Ой, снова столичные гости! Сегодня повезло тебе, киса, много нового мяса». Или, если нового мяса не было, Захар переходил на театральный шёпот, делая глаза в сторону охранников, которым этого слышать не полагалось: «Ой, рыба моя, сегодня такая грусть-тоска, что даже не знаю. Что? Будешь брать?» Тоска или нет, идти в этом городе было некуда, так что Ива заплатил за вход и спустился в раздевалку.

Закрытые шкафчики рассказывали, много собралось народу или нет. Сегодня большая часть их пустовала, значит, скорее всего, пришли только старые обитатели подземелья: на секс рассчитывать не приходится, но чем чёрт не шутит. Иве казалось порой, что в отличие от него постоянные посетители приходили сюда вовсе не за еблей, иначе чем объяснить, что с появлением смартфонов и вездесущего Хорнета, они появлялись здесь несколько раз в неделю? Ива и себе не смог бы ответить на этот вопрос, хотя ему нравилось рационализировать, что в сауне всегда видишь «товар лицом», а знакомства в интернете порой приводят к разочарованиям. Или, может, даже нелюдимому Иве было важно иногда провести вечер в кругу людей, которые вне «Моря» интересны не были, но здесь составляли тайную общность, ложу посвящённых, говорящих на одном, пусть и не очень утончённом, языке. В сауне было тепло. Ива вспомнил, что труп его мамы лежит сейчас при минус трёх и подвергается естественным процессам. Интересно, что они с ней сделают? Мама была красивой женщиной, хоть в последние годы сильно располнела.

Ива разделся, повязал полотенце вокруг талии и вошёл в бар. Ярко освещенная стойка с мускулистым

барменом Максимом походила на залитую софитами сцену в полутёмном кабаре, по углам стояли круглые дешёвые столы и длинные деревянные лавки с непромокаемыми седушками в тёмно-красных маках, на которые бросал с потолка фривольные блики блестящий шар — привет из школьных дискотек 90-х. Эта убого-провинциальная обстановка очень подходила сауне, даже не гей сауне, а обычной — с бильярдом, проститутками и толстыми чиновниками, пьющими пиво из огромных запотевших кружек, широко расставив слоновьи ноги, между которыми под тогой простыни чернеют их бородатые мошонки. Среди завсегдатаев «Моря» был и такой чиновник, представлялся он Вячеславом Александровичем, но вся сауна звала его Славичкой. Он всегда приходил с выводком молоденьких пацанят, которых называл жирафами. Они и правда были все как на подбор худые, длинные и молчаливые. Ива никак не мог определить, были они эскортом или просто составляли компанию не лишённому шарма, хоть и очень корпулентному Славичке, восседавшему посреди них престарелым Сарданапалом. «О, смотрите кто к нам пожаловал! Главная московская шлюха!» Оставь одежду, всяк сюда входящий! Ну садись, садись, проходи, — Славичка повсюду чувствовал себя главным и обращался с остальными по-хозяйски радушно. — Ну, расскажи-ка, милая, где была, расскажи, красивая, с кем спала».

— В Риме был, — ответил Ива, он не терпел говорить о себе в женском роде.

— О-о-о, ничего себе разъезжают наши ребятки. Ну и что там вечный город? Блядей много?

Ива старался в подробности не вдаваться, но и не обижать Славичку односложными ответами. Славичка весь состоял из советских предрассудков, не близких даже Иве, хотя он тоже родился и вырос в СССР. Он делил всех на актов и пассов, не верил в бисексуалов. Славичка был уверен, что би — продукты комплексов, которые обычных гомосексуалов заставляют спать с женщинами, а любой универсал на самом деле пасс, который из-за внутренних проблем хочет казаться актом. Иву он записал в пассы, но Иве это льстило — значит, Славичка относил его к той же категории, что и своих жирафов. Славичка был уверен, что любой симпатичный молодой человек ищет спонсора, иначе и быть не может, потому что не бывает никогда. Когда Ива был юн, Славичка принимал попытки присоединить его к жирафовому стаду, но Иве даже его дружеские похлопывания по колену были не очень приятны, что уж говорить о возможном сексе с человеком-горой.

«Ну что же, краса моя, придётся тебя сдать обратно нашим депутатам, жаль будет с таким расставаться», — сказал вдруг Славичка и окружающие его юнцы одновременно прыснули, как будто за невидимыми кулисами помощник режиссера поднял оскарговскую табличку LAUGH. Ива не совсем понял, что имелось в виду.

— Ты в Рим ездила или на Луну, подруга? Принимают такой закон, чтобы забирать детей из пидорских семей. Так и тебя у нас заберут.

— Всё бы вам шутки шутить, скоро в лагерь начнут отправлять, дошутитесь, — мрачно сказал вошедший Олег, красноносый и краснощёкий, вечно не очень

трезвый преподаватель высшей математики одного из местных университетов с бурным комсомольским прошлым, про которое он с охотой рассказывал после двух рюмок водки. — Вот из-за таких, как ты, Вячеслав Александрович, они с нами вертят, что хотят, а мы удивляемся.

— Да что же из-за таких, как я? — обиделся Славичка. — А из-за таких, как ты, Олег Викторович, не вертят как хотят? Ты-то где прославился в борьбе за права секс меньшинств, я что-то пропустил.

— Ну из-за таких как мы, согласен.

— Послушай, слеза ты моя комсомольская, ты что думаешь, если мы тут все будем хором переживать и посыпать голову пеплом, это изменит ситуацию? Что им там наверху от твоего пессимизма, можешь ты мне объяснить? Спешу смеяться, чтобы не заплакать, кто это говорил, Уайльд или Шоу, Ивонька, ты у нас начитанный, вспомни (Ива не помнил и кивнул в ответ головой). Или, может, ты на гей парад к Думе хочешь выйти, как эти лесбушки журналистки? Ну езжай, посмотрю я, что тебе ректор скажет.

— Какой народ, такое и правительство, — вступил вдруг один из Славичкиных мальчишек.

— Уууй, ты мой пупсик, да, именно так, — погладил его по коленке Славичка, — Вот, послушай уста младенца.

— Ну так и что дальше-то? Уезжать что ли? — с каким-то неизбежным отчаянием спросил Олег.

— Кууудааа собрааался? Сидеть! Место! Кому ты там нужен? Ты зеркало что ли потерял, красавя? Тебе с такой рожей только в Африку бананы жрать с негритятами, чтобы приличных людей не пугать. Что

вы все так взбаламутились, не понимаю? При совете жили как-то и ничего. Ты вон весь пионерлагерь переобал, что, посадили тебя? Ты вообще хоть с кем знаком лично, кто сидел по 121-й? Я пару имён знаю, когда в нагрузку дали к взяткам и расхищению собственности. А так вон — в Катькин сквер вечером было не выйти, хоть затычку в жопу вставляй.

— Ну а я не хочу обратно в совок, — сопротивлялся Олег, непонятно с чего быстро захмелевший.

— А ты из него и не выбиралась, милочка. Это сон был, навеянный алкоголем (это слово Славичка произносил с ударением на первом слоге). Чтобы родиться, надо умереть — в следующей жизни вылезешь в Голландии и создашь гей семью с одним из моих жирафов — поделюсь с тобой, так и быть. Феденька, хочешь замуж за Олега Викторовича? — Феденька за спиной у Олега молча изобразил крайний протест. — Он согласен! Дело за малым. Так-то, голубушка. Отчизне мы не судьи! Меч суда увязнет в нашем собственном позоре. Это про нас с тобой Ёся написал.

Ива в споре участия не принимал, но был согласен со Славичкой. Ему тоже казалось, что борьба за права секс меньшинств в России если не бесполезна, то по крайней мере преждевременна. Он не видел смысла в намеренных провокациях общественного мнения демонстрациями с радужными флагами, потасовками у парламента и бесконечным потоком словоблудия в интернете. Он специально подсунул особенно гомофобной коллеге номер «Афиши» с радужой на обложке и откровениями внутри, после чего она неделю ругала журналистов на чём свет стоит,

уверенная, что все истории там придуманные и среди них вряд ли наберётся и пара реальных персонажей, ну, может, за исключением тех же журналистов: «Ива, это вот и есть настоящая пропаганда! Надо штрафовать за такое», — горячилась она за обедом, всплёскивая руками. Ива хлебал борщ и молчал.

Ива огляделся. Пока Славичка с Олегом спорили, в сауне сталолюдно. Голые мужчины в набедренных повязках сидели за столиками, стояли у бара, смеялись, пили, но за разговорами шла охота, создававшая особое напряжение в помещении, полном мужского либидо. Взгляды скользили по обнажённым торсам, по полотенцам, по рукам, держащим толстыми пальцами пластиковые стаканчики с выпивкой. Взгляды метались по бару, будто заряженные уверенным кием бильярдные шары, сталкивались с соседними взглядами, отскакивали в сторону, отталкивались от глухой тёмной стенки и встречались снова, вели друг друга к желанной лузе, но не докатившись до неё, вдруг расходились, разбитые третьими, неожиданно встрявшими в казалось бы прочный союз.

Ива встал и вразвалку вышел. Небольшой бассейн за баром обычно пустовал — вода была слишком холодной, за ним располагались две сауны — финская сухая и паровая. Ива не просто париться не любил, но однажды потерял сознание в бане, так что теперь осторожно заходил в паровую и стоял возле двери, готовый выйти, если закружится голова. В густых клубах пара, пронизанного рассеянным светом из-за полупрозрачной двери, входящие казались бесплотными фантомами, белые полотенца растворялись в дымке, так что у призраков не было ног, только тор-

сы, медленно вплывавшие в серое марево, которое окутывало их, плавно проводило мимо Ивы и растворяло внутри, в сгущающейся мокрой, хлюпающей темноте. Маленький волосатый старичок выкристаллизовался из пара, подошёл к Иве и положил ему руку на бедро, Ива осторожно отвёл её, старичок исчез. Тянуло зайти дальше, туда, где нет даже абрисов разгорячённых тел, а только отдельные руки, губы, но Ива боялся, что не успеет вовремя выскочить и останется в этом царстве теней навсегда.

Дверь открылась, и в парную зашла пара чуть моложе его — явно в поисках третьего. Иве эта игра была знакома: один обычно служит приманкой для второго, менее привлекательного. Но эти двое были исключением: оба были красивы, молоды, хорошо сложены. Ива попытался разделить их в уме, найти отличительные особенности, но сделать это было непросто: в призрачных вихрях они казались близнецами, вот только один был повыше. Высокий посмотрел в глаза Иве, подошёл и будто бы нечаянно провёл тыльной стороной ладони по тому месту, где под полотенцем был Ивин член, тут же от этого прикосновения напрягшийся. Второй похотливо улыбнулся, взял своего друга за руку и они нырнули в густую влажную тьму. Ива почувствовал, что не может больше выносить жару, вышел на воздух, зачерпнул ледяной воды в бассейне и умыл лицо. Голову немного повело, но тут же отпустило. В бар к разговорам возвращаться не хотелось, член стоял, Ива решил не ждать братьев и пойти в лабиринт кабинок.

Если в баре и парной охота кокетливо прикрывалась полотенцем, здесь условностям места не было.

Как на любом гей курорте есть неперменный лесок или заросли кустарника, куда туристы ходят, как в общественный туалет, удовлетворять сексуальные нужды, так и здесь по тропинкам между кабинок бродили мужчины с голодными глазами, другие же просто стояли, прислонясь к дверному косяку, ожидая, что кто-то откликнется на их призывную позу, поцелует, возьмёт за член, увлечёт за собой. В кабинках шлёпало, хлюпало, кто-то шумно кончал. Большинство парней для Ивы не представляли интереса, ему нравились худенькие стройные мальчики младше его, а в глубинах «Моря» плавали взрослые, заросшие шерстью самцы. После двух безрезультатных кругов Ива решил выйти на простор, но наткнулся на молодого симпатягу, стоявшего, сложив руки на груди. Он осклабился шлюхой с rue Saint-Denis, Ива подошёл, приобнял его, поцеловал. Парень ответил, но слишком влажно, Ива перестал целоваться, прижался к нему, провёл языком по шее. Эти моменты нравились Иве больше всего: когда не всё ещё изучено, когда не надо делать ничего особенного, но можно обмениваться той тёплой, нежной энергией, за которой он приходил сюда. Они зашли в кабинку, похожую на комнату в древнеримском борделе в Геркулануме, только без фресок с Венерой на стенах. Когда-нибудь и нас засыплет пепел. Кого-то громко трахали за стенкой, это возбуждало. Сняли полотенца, принялись ласкать друг друга. «Ну что, кто кого ебать будет?» — неожиданно неприятно-визгливо спросил парень. «Как хочешь», — глухо ответил Ива, моля, чтобы он не открывал больше рта, так не вязался этот манерный говор с точёным телом греческого

атлета. «Давай ты меня. Презик-то взял?» «Взял», — ответил Ива и развернул парня к стене.

Поднявшись на улицу, Иве захотелось надеть новую кожу, сбросив ту, что побывала в подземелье. Говорят, тело человека полностью обновляется каждые пять лет, жалко, что нельзя взять и заменить все клетки по велению. Город встречал пощёчиной влажного ветра, казнил Иву за низость и слабость, за Славичкину свиту, за униженную дрожь от возбуждения в парилке, когда ждал, что вынырнут братья, пригласят его заняться любовью втроём, за то, что поборол отвлечение, довёл до конца начатое в кабинке.

Он остановил старую белую «Ниву». Похожий на моржа грузный старикан в огромных очках навис над рулём, будто его надо было толкать, а не крутить. Ива назвал адрес и сел вперёд, потому что заднее сидение было завалено картонными коробками. «Не понимаю, всегда был тут левый поворот, а теперь взяли и знак повесили! Можете мне объяснить, что произошло? — но только Ива открыл рот, чтобы отреагировать, старикан продолжил, — И что они с этими либералами столько нянчатся? При Советах давно бы уже сидел как миленький и за воровство, и за горор, — выдав эту сентенцию морж замолк ненадолго и начал снова, — Вот я тоже не понимаю, этих гомиков, чего выходят со своим парадом? Если нравится в сралу ебаться, извините великодушно, то и ебись себе на здоровье, только тихо. Чего всему миру-то докладывать?»

«Да что вы все привязались к нам?! — заорал на моржа Ива. — Останови машину, старый козёл, мне противно с тобой ехать!»

Но морж машину не остановил, потому что прокричал всё это Ива про себя, отвернувшись от водителя, скользя взглядом по высокомерным дворцам с празднично подсвеченными фасадами.

В углу на лестнице под листком с надписью «У нас не курят» сидел человек. Ива сперва принял его за бомжа и брезгливо отшатнулся, но потом пригляделся: со смешанным выражением любопытства и готовности при необходимости бежать смотрел на него тщедушный подросток в узких джинсах и лёгкой не по погоде толстовке с капюшоном.

— Доброй ночи, — сказал Ива.

— Доброй.

Всё говорило, что надо идти: это не его подъезд, не его подросток, Ива был немного пьян, завтра похороны, и вообще непонятно, чего можно ожидать от парня, что сидит на лестнице среди ночи. Может, наркоман. Что Иве до него за дело? Что-то, впрочем, не отпускало Иву, заставляло вглядываться в подростка, изучать его при тусклом неоновом свете. Вытянутая овальная, не до конца оформившаяся голова сидела на длинной гусиной шее и он постоянно дёргал ей вправо, когда смотрел снизу вверх на Иву, будто что-то у него в шее и нужно было высвободить её, вернуть на шарниры. Нелепая чёлка из белых прямых волос закрывала пол-лица, так что виден был только левый глаз. Это был ребёнок ещё: припухлые, розовые от прыщей щёки, острый носик, полные обиженные губы и белёсые, почти прозрачные глаза с невидимыми белыми ресницами и бровями. Ива понял вдруг, почему он не был похож ни на наркомана, ни на бомжа: в руках подросток сжимал Айфон.

— Батарея села, — пояснил он.

— Хочешь, пойдём, зарядишь у меня, — не веря своим ушам произнёс Ива.

Ива старался шагать не слишком быстро, чтобы не казалось, что он убегает, но и не медлить. Ему было немного страшно, даже очень страшно, будто он совершал какое-то преступление, но никак не мог понять, какое. В тесном лифте Ива ещё раз скользнул взглядом по подростку, боясь смотреть слишком долго: он был совершенный альбинос, симпатичный, но всё-таки настоящий ребёнок, весь соломенный, похожий на тряпчного Ваньку-дурачка с верёвочными волосами, хоть и ростом почти с самого Иву. Он мотнул в очередной раз головой, отбросил чёлку, и Ива заметил, что правый глаз сильно косит, наверное, потому он и прикрывал его волосами.

Зарядить Айфон не так-то быстро, Иву клонило в сон, но он боялся оставить подростка одного: а ну как украдёт что-нибудь да убежит. Он отвёл мальчика на кухню, включил телефон в розетку, а сам вернулся в прихожую, закрыл дверь на ключ, убрал с видных мест деньги и паспорт, вернулся и поставил чайник.

«Надо как-то немедленно отделаться от него, — думал Ива, — от малолеток одни проблемы. Где его родители? Откуда он вообще? Может, Айфон просто украл. Как он согласился пойти в гости к незнакомому мужчине? Я бы согласился в его возрасте? Согласился бы, наверное».

— У вас майка шиворот-навыворот, — сказал вдруг подросток.

— Битым буду, значит.

— Чего?

— Ну я когда маленьким был, примета была такая у бабушки: если что шиворот-навыворот наденешь — битым будешь.

— Ааа, — протянул парень безо всякого интереса. Ива отвернулся к плите, стянул майку, переоделся.

— Тебя как зовут-то?

— Джастин.

— Как?

— Джастин. Ну, как Джастина Бибера.

— Кого?

— Джастина Бибера что ли не знаете? — удивился подросток.

— Нет.

— Ну это певец такой.

— Кумир твой, значит?

— Типа того.

— Подозреваю, что когда ты родился, ещё не было никакого Джастина Бибера. Как на самом деле-то?

— Максим. Но лучше звать Джестином. Ненавижу Максима. А вас?

— Иван. Ваня. Друзья зовут Ива.

— Дядь Вань.

— Какой я тебе дядя? — вспыхнул Ива, — нашёлся мне тоже. Племянник.

— А можно мне у вас в душ сходить?

Пока Максим-Джастин мылся, Ива залез в его Айфон. Телефон явно принадлежал ему или другому подростку. Сотни неизвестных Иве приложений, большая часть из которых были, кажется, играми. Миша Тормоз, Нинка Никифоренко, Петюня в записной книжке. Перед Петюней значился увесистый Папа. Ива хотел ещё почитать смс и посмотреть фот-

ки, но вода в ванной перестала шуметь, и через пару минут вышел сам Джастин, завёрнутый в полотенце, краснощёкий, лохматый.

— Боже, какой ты худющий, тебя что, не кормят? — не сдержался Ива.

— Ничего не худющий, нормальный, — обиделся Джастин.

— Сколько лет-то тебе?

— 13. Исполнилось неделю назад.

— Поздравляю, молодец.

— А есть поесть чего?

Поесть было нечего, кроме молока и старой упаковки кукурузных хлопьев, припасённых Ивой на утро. В повисшей тишине было слышно, как жадно Джастин хрустит хлопьями, причавкивает, с журчанием втягивает молоко, громко стучит ложкой о края кружки с чаем, который он наполнил чудовищным количеством сахара, выдыхает с сытым, удовлетворённым стоном — за такой шум во время еды Ива давно бы получил от матери подзатыльник.

— Так откуда ты взялся, Джастин? — решился спросить Ива.

— Дааа, долгая история, — протянул загадочно подросток.

— Ты где живёшь-то?

— Тут, недалеко.

— С родителями поругался?

— Типа того.

— И что теперь делать будешь?

— Не знаю. Пойду пошатаюсь.

— Ночью?

— А что делать?

Отставив пустую плошку и громко вздохнув, Джастин откинулся на спинку стула, поглядел на Айфон, выдернул его из розетки: «Тридцать процентов. Должно хватить». Ива поднялся и пошёл провожать мальчика до двери, в коридоре спохватился, что дверь закрыта, метнулся, вспоминая, где оставил ключи. «Они в ванной», — с наигранным безразличием сказал Джастин. «Точно», — ответил Ива, смутившись, взял ключи, аккуратно лежащие на стеклянной полочке между парфюмом и маникюрными ножницами, и, не глядя на Джастина, отпер. «Ну спасибо, дядь Вань. Пока», — бросил Джастин и вышел на лестничную клетку.

— Погоди, — неуверенно сказал Ива. — Куда ты пойдёшь среди ночи? Тебе точно домой нельзя? Может, тебе денег на такси дать?

— Не нужно мне такси, просто погуляю.

— Нет. Так не пойдёт. Хочешь, спи тут на диване, только мне завтра вставать рано.

— Ладно, — безразлично проронил Джастин и вернулся в коридор, как будто и не собирался уходить.

Ива проснулся до будильника. На мгновение почувствовал, что лежит не в чужой постели, а в бабушкиной кровати на даче, ему лет 10, и если выпростать из-под одеяла левую руку, можно дотронуться до шершавого ковра с цветущими яблонями на стене, а если оттолкнуться пятками от перины, то макушкой упрёшься в деревянное изголовье. Такое бывало с Ивой и раньше, особенно когда только уехал в Москву, но потом случалось всё реже, и вот Ива уже не помнил, когда это произошло в последний раз. Это состояние было невозможно вызвать нарочно, оно

всегда появлялось на грани сна, случайное смешение запахов, сквозняков, звуков переносило вдруг Иву на двадцать пять лет назад, всё так отчётливо сливалось в единую картину: вой ветра за деревянной стеной, колотушка обмороженных гулких веток, запах печки и невынесенного с ночи ведра с помоями — всё было таким сладостным, что Ива боялся двинуться, чтобы не сбить, не упустить. Но тело затекло, Ива пошевелился, кровать чужеродно скрипнула и призрак прошлого испарился. Ива с отвращением вспомнил жирного Славичку, никчемный секс, похороны, где он не зритель, а один из героев. За стеной спал этот непонятный подросток, которого надо гнать к чёртовой матери, пока чего не вышло.

Ива слез с кровати, натянул трусы и направился в ванную. На кухне горел свет. Одетый Джастин сидел, уткнувшись в телефон, и не сразу поднял голову, когда Ива, щурясь, зашёл на кухню.

— Ты что, не ложишься что ли?

— Неа. Я мало сплю.

— Ну ты даёшь.

Было зябко. Рядом с моргом что-то строили, возле котлована возвышалась ведущая в никуда лестница — два серых пролёта по-магриттовски парили в воздухе посреди рассыпанного песка и раскиданных бетонных блоков. Ива загляделся на стройку, пропуская ухабисто паркующийся автобус, ему стало жалко лестницу — одинокую, нелепую, ненужную, похожую на Иву. Ворота в морг располагались в цокольном этаже большой больницы, к ним вёл спуск по крутому оврагу-подъезду, тополя на его берегах заслоняли солнце. Стоял ясный морозный день, но

в овраге было промозгло, рядом с лужей возле ржавых серых створок наохлились гопники-голуби, мёртвые, злые. Посетители приходили с одеждой, их глотала замызганная синяя дверь, где в глубине их ждал обходительный детский врач, а ещё дальше при правильной температуре лежала забальзамированная по высшему разряду мама. У морга уже стояла та соседка с какими-то людьми, они все знали Иву и его брата, но Ива никого не помнил. Слава, с красными глазами, но трезвый, в дрожащих руках держал папку с какими-то бумагами, курил не переставая и всё суетился. Кто-то забыл цветы и направился к ларьку, предложив купить букет и Иве, Ива кивнул. Слава запаниковал, принялся спрашивать у всех, где тут продают цветы, ему указали на киоск через дорогу, он долго выяснял, через какую дорогу, как выглядит киоск, открыт ли в это время, потом стал объяснять всё это долговязому парню, чьему-то сыну или внуку, хотя тот давно уже всё понял, но не мог вырваться из вязких наставлений. «Вся жизнь в бесполезном метании», — зло подумал Ива. Появились какие-то старухи, среди которых Ива узнал только тётю Паню: она была стара ещё в Ивином детстве, он играл с её внуками, пока она выгуливала коз. С тех пор умерли дед и бабуля, куча других соседей, мама вот тоже, а тётя Паня всё держала коз, косила сено и ездила на похороны, как на работу. Она обняла Иву, проплакала беззубым ртом, что с ним-то уж больше не свидится, ведь скоро и её черёд, впрочем, она говорила это каждый раз.

Позвали внутрь. Старухи с цветами любопытно ринулись к гробу, Иве сунули букет белых хризантем. Слава с братом стояли в изголовье, Слава вце-

пились заскорузлыми рабочими руками в красный атлас, брат торжественно держал такие же дурацкие хризантемы. Ива подумал, что они чем-то похожи, хотя никакой родственной связи между ними не было. Слава — строитель из Луганска с измождённым морщинистым лицом, редкими прилизанными волосами и разноцветными глазами: один был голубой, а другой карий, Ива стеснялся спросить, но ему казалось, что голубой глаз был незряч. Из-под потёртой кожаной куртки выбивались полы тёмного поношенного пиджака, весь он был до смешного нелепый, выдернутый из контекста. Странно смотрелся и высокий, грузный младший брат Ивы, щетина и блестящие в чёрной шевелюре седые волосы делали его похожим на осетина, он и вовсе забыл, что на похороны надевают чёрное, под распахнутой зимней курткой серел растянутый свитер, на ногах — грязные бежевые Тимберленды на толстой подошве, будто он собрался в поход. Иве стало неловко за свой щёгольский чёрный костюм с приталенным пиджаком и узкими брюками, дорогое пальто и начищенные до блеска туфли. Он подошёл ближе и посмотрел. Мама лежала в чёрной пелерине, накрытая белым кружевным покрывалом, украшенная казёнными лилиями, оплывшая, некрасивая, недовольная. Портрет её не изменился. Зажмуренные глаза глядели так же подозрительно, накрашенные фиолетовым губы улыбались той же улыбкой, углы их опустились, как бывало всякий раз, когда она билась в приступе гнева, жир с подбородка растёкся по жёлтой шее, голова утонула в нём, и если бы мама встала и начала кричать, затрясла бы этим жиром, как индюк.

Некоторые старухи положили в гроб цветы, но соседка-устроительница сказала, что рано — нужно подождать до церкви. Они вынули букеты и заторопились к выходу. «Родственники должны ехать в общем автобусе», — скомандовала хозяйка похорон, Ива ответил, что страховка выписана на него, и доверить машину он никому не может. Женщина поглядела недовольно. Выйдя из морга, Ива улыбнулся: под лобовым стеклом похоронного автобуса лежала табличка со зловещим обещанием: «Скоро вернусь».

Церковь взобралась на холм, с паперти открывался вид на спокойный, тургеневский пруд. Хотелось подождать здесь, не входить внутрь, подышать щеко-чущим ноздри морозцем, выкурить сигарету, а лучше косячок, спуститься к воде, побродить и уехать к чёртовой матери в Москву. По ступенькам тяжело поднялась полная рябая женщина лет 50-и в пушистом сером пальто и сером же берете, громко заклохотала по телефону. «Сашенька, я видела твою последнюю фотокарточку, ты совершенно худой. Почему ты не ешь? Ты должен нормально питаться. С тебя можно снимать кино про концентрационный лагерь. Саша, я серьёзно тебе говорю: готовь дома, ты ведь умеешь. Не ешь в ресторанах, там одна химия и соль! У тебя деньги есть? Может, у тебя нет денег? Саша, рацион — это главное, если у тебя проблемы, скажи, я с папиной пенсии вышлю, а Борьку ты видел? Видел Борьку? — не сделав и секундной паузы она сменила тему. — Мы вчера его возили в клинику, ну всё нормально там, ему прописали порошки. Привезли его на дачу, а он как выскочит, да так и взвился на дерево, мы ахнуть не успели. Ты помнишь берёзу, которая

за баней? Ты под ней гриб ещё нашёл. Вот на неё. Взвился и сидит, орёт благим матом. Папа достал стремянку, полез спасать, несмотря на спину. Так он вцепился ему в куртку когтями, а сам сидит на ветке и ни в какую. Папа говорит — или мне вместе с ним падать, или оставлять у него куртку в лапах! Ну потом снял. Я говорю, Борька, что же ты, зачем так испугался? А он молчит. Накормили его, заперли в доме». Женщина подошла вплотную к Иве. «Да-да, мамочка, ага, я всё видел. Мамусечка, я у друзей тут сейчас, я тебе завтра перезвоню. Я в гостях, мамочка, целую тебя», — отвечала трубка. Мамусечка суетливо попрощалась, нажала на кнопку сброса, посмотрела на вечно изумлённого Иисуса над церковными дверьми, перекрестилась и вошла. К Иве обратилась сумасшедшего вида тётка в пуховике, вязаной шапке с помпоном и в очках с толстенными линзами.

— Здравствуйте. А вы Надин сын? А я Надю уже тридцать пять лет знаю.

— Да-а-а? — протянул Ива. — Мне тридцать шесть, но я вас не помню.

— Ну может, двадцать пять. Ага, — кивнула она сама себе и блаженно улыбнулась. — Мы с ней вместе лечили, она была хорошим человеком.

Лечили? Это ещё что? Ива не стал спрашивать блаженную, дюжие мужики принесли двойной гроб, Ива зашёл в церковь.

Вместе с мамой отпевали незнакомую старуху, на её стороне было много молодёжи, один мальчик лет 19-и в синем пуховике с капюшоном, сучал и по-сматривал на Иву. Ива ловил его взгляд, мальчик смущался и отводил глаза, но украдкой смотрел снова.

Старухи у обоих гробов плакали, Слава стоял с отсутствующим видом, брат истово крестился и вытирал слёзы тыльной стороной ладони. Ива не крестился: в бога он не верил и полужызыческие ритуалы считал дикими и бессмысленными. Кадила, хороводы вокруг гроба, вечная память... Какая к чертям вечная память? Ива и брат его не забудут маму до своей смерти, которая в планетарных масштабах случится совсем скоро, а потом уж некому будет помнить о ней. Нужно быть Понтием Пилатом, чтобы заработать вечную память, а смерды довольствуются памятью на пару десятков лет. Служба закончилась, священник предложил попрощаться с покойной, целуя венчик на лбу и забрать лишние цветы, которые снова предстояло возложить в крематории. Проходя мимо гроба Ива в последний раз поймал взгляд парня напротив, тот покраснел и затесался в толпе.

В крематории былолюдно, как на вокзале, на экранах высвечивались фамилии, время начала церемоний и номера залов. Подумалось, что вот оно, последнее табло, на котором появится мамино имя, прежде чем кануть в вечность. Мы ищем наши имена в списках на распределение по классам в школе, с упавшим сердцем смотрим результаты вступительных экзаменов, проверяем время от времени, не появились ли мы на доске объявлений среди предупреждений об отчислении, читаем наши имена в роддоме рядом с номером палаты или в воинской части в расписании дежурств, слышим, как нашу фамилию объявляют в аэропорту, когда зовут нас из дьюти фри на посадку, и вот, наконец, табло в крематории. Вечная память.

В огромном сером зале мама торжественно возлежала на мраморном постаменте, не хватало саркофага с изображениями загробного мира или битв, в которых участвовала покойная (дрязги с соседями и коллегами заменили бы Фермопилы). Перед прощанием Ива, брат и Слава зашли в зал, чтобы расчитать-ся с агентом, уселись за столик с двумя стульями, что стоял немного в стороне от саркофага — покойники тоже участвовали в сделке, следили, чтобы всё было честно. Иве места не хватило, он встал в стороне.

Запустили остальных. «От нас ушла заботливая мать, верная подруга и неустанная труженица», — бубнил по бумажке министерского вида мужчина в сером костюме и коричневом галстуке. Ива усмехнулся про себя: не попал ни разу. Никогда мама не была заботливой матерью. Ладно он, Ива, блудный сын, но вот брат его однажды в 40-градусный мороз приехал в Москву в джинсовой куртке, а на изумлённый вопрос Ивы ответил, что денег у него нет, а у мамы и её мужа есть, но она учит его жизни и вообще разделила полки в холодильнике, так что брат питается пирожками из ларька у метро. «Что дети ей, ей были бы мужья». С верной подругой тоже вопросы — с друзьями мама давно перессорилась. На похороны приехало на удивление много людей — человек 20, но то всё были или соседи, или относительно недавние знакомства, впрочем, кажется, некоторые плакали вполне искренно. Ну и уж про труженицу было совсем смешно, из какой советской похоронной методички он это выкопал? Мама всю жизнь старалась работать как можно меньше, сидела на больничном по несколько недель, чтобы продлить отпуск на даче, а как только вышла

в третий раз замуж, работу тут же бросила, чтобы заниматься мужем и... каким-то лечением.

Чиновник от смерти предложил родным и близким выступить, но все молчали — томительный конфуз. Вышла зарёванная тётка, прорыдала что-то в микрофон, снова тишина. Наконец объявили, что нужно обойти саркофаг, родственники замыкают шествие. Ива послушно пристроился в конец змейки и подумал, что дико хочется есть, скорее бы поминки. Слава напоследок залез на постамент и, рискуя свалиться вниз, театрально припал к маминому лбу. В окно залетел воробей, потерял дорогу на волю, забился в сводах серого арочного потолка, зачирикал по-весеннему, гроб накрыли крышкой, мама медленно опустила в Аид, чёрные металлические створки люка захлопнулись за ней с ржавым грохотом, брат с любопытством поглядел внутрь.

Поминки устроили на Ладожском озере, недалеко от того места, куда в детстве ездили купаться, загорая на оставшихся с войны бетонных плитах, по которым трёхтонные ЗИСы Дороги Жизни спускались на хрупкий лёд. Оформленное под деревенскую избу пустое кафе смотрело на унылый песчаный пляж, незаметно перетекающий в мёртвую поверхность озера. Электричество не работало, было промозгло и холодно. Ива сел напротив Славы и брата, не снимая пальто, оглядел праздничный стол. Есть было нечего. Майонез Ива не переносил, оставалась сельдь с картошкой и сырые овощи, что не были даже порезаны, будто лежали для красоты. Он все смотрел через Славину спину на озеро-Солярис, ради поминок ожившее: экскаватор собирал валуны на отмели

и складывал их в кузов КАМАЗа. Машины были далеко и потому работали беззвучно, как игрушечные. Ива принялся считать камни: один, два, три, пять, но отвлекся на Славу, который пытался положить ему один из несъедобных салатов.

Ива понял, о каком лечении говорила блаженная. За последние годы мама превратилась в гуру народной медицины. Делала лечебные массажи, прописывала травы, создала две группы Вконтакте, где «давала советы по здоровью». Всё это без малейшего медицинского образования, разумеется, мама была инженером. За столом то и дело вставали женщины маминого возраста и делились чудесными историями исцеления: «у врачей глаза на лоб полезли», «всё как рукой сняло», «он всё равно умер, но хотя бы не мучался». Слушать это было тягостно. Ива понял, что маму совсем не знал, не интересовался ей, она осталась для него застывшей маской гнева из того дня, когда он уезжал из дому, а есть же люди, которые относились к ней с пиететом. Впрочем, подумал Ива, это знахарство и свело её в могилу: когда начались боли, она пила травы, в больницу ехать не хотела, медицине не верила, рак обнаружили при вскрытии.

— Я одного не могу понять, как она лечила людей, а себя так запустила?

— А я ей давно говорила: Надя, не лечи очень сложных, на себя всё возьмишь. У меня вот соседка тоже лечила. Спасла одного парня молодого. Не помню от чего, но врачи говорили, не жилец. А потом я её встречаю, она вся серая. Я говорю, батюшки, да что же с тобой? Так умерла через месяц!

— Нет. Надя всегда ставила защиту, я вам точно говорю. Не могла она на себя ничего взять.

— Это вы точно про защиту знаете?

— Абсолютно. Она была профессионалом.

Мракобесие и невежество всегда губили людей, но как объяснить, что они губят их до сих пор, в век медицины и научных открытий? Человечество в поисках жизни отправляет зонды на Венеру и Марс, бурит морские глубины, признаёт гей-браки, а мы рак лечим шалфеем. Впрочем, мама была некурабельна и умерла бы даже при правильной терапии, хотя, может, и прожила бы дольше.

Нужно было выступить, но врать не хотелось, да Ива и не очень умел. Выкрутился тостом про прекрасных маминых друзей и любящего мужа: всегда проще говорить о других. Брат сказал то же самое, перефразировав. Слава пил водку и молчал, брат ел за троих, Ива украдкой чатился с парнем в Хорнете, пытаюсь найти секс на вечер.

К ночи Ива напился. Он пил на поминках, хоть и был за рулём, потом в баре с одноклассниками и до четырёх утра дрыгался в гей-клубе, целовался с юным американцем, что возник из ниоткуда, положил Иве руку на шею и спросил, как его зовут. Ееева — тянул американец, которого Ива тут же окрестил Адамом, хотя звали его иначе. Он пригласил его к себе, они шли, держась за руки, по ночному вымершему городу, в котором жизнь пульсировала лишь у редких баров, ели в Маке пирожки с яблоками, горячо жалившими язык, смеялись. Ива чувствовал себя счастливым от того, что завтра возвращался в Москву, ужас похорон закончился и только через девять дней надо вернуться за прахом.

Когда зашли в подъезд, Ива уже чуть протрезвел, но всё же еле стоял на ногах. Держась за перила, он начал подниматься по лестнице, но чуть не споткнулся о сидящего в углу Джастина. «О! Чувак, — протянул Ива. — Привет, чувак, какими судьбами тут?» Джастин молчал, глядя исподлобья на Иву и его спутника. «Я напился, да! В говно, — объявил Ива. — Имею право. У меня сегодня такой день был, что просто пиздец, а не день. Ха-ха. Врагу, сука, такого дня не пожелаешь». Ива плюхнулся на пол рядом с подростком, Адам непонимающе смотрел на него. Listen, honey. You know. I'm sorry. We can't do that tonight. I have a brother visiting, — сказал Ива Адаму и попытался подняться, чтобы попрощаться с ним, но Адам расстроено протянул: Alrighty, dude. See you soon, хлопнул Иву по плечу и вышел в промозглую тьму.

— Ну. И откуда же ты снова на меня упал? — устало пробормотал Ива, на которого вдруг всей гробовой тяжестью навалился этот длинный день. — С родителями сложно, да. Лучше быть сиротой, я всегда говорил, ха-ха. Но я же не могу быть твоим папой. Я вообще завтра в Москву улетаю.

— В какую Москву?

— Москва, штат Москва. Какую-какую, что у нас две Москвы что ли? Пошли, ладно, сил нет, боже, как же можно так нажраться.

Цикады заливались так, будто готовились взлететь. Напрягались изо всех сил чешуйчатым треском, округа звенела, как в большой праздник. Иху слушал цикад, пытаюсь разобрать, что они говорят ему. Он не знал, сколько времени прошло с последнего вечера: может несколько дней, может недель. Он не знал счёту часам, когда это случалось с ним. Бывало он приходил в себя ещё в объятьях дрожащей и плачущей матери, что только донесла его до дома, а иногда просыпался, за окном шёл дождь и Иху понимал, что там, снаружи, сменилось время года.

Иху слушал цикад, стараясь вспомнить, шумели ли они в ту ночь и как далеко от него был тот, другой. В груди заныло, дышать стало труднее, мурашки пробежали по спине. Иху отогнал от себя эти мысли и снова вслушался, пытаюсь справиться со звуками, уловить музыкальную фразу. Иногда ему казалось, что он вот-вот готов поймать её, но она ускользала, утопая в какофонии трескотни.

Ритм всё же присутствовал. Иху напряг слух и понял, что исходил он не от цикад, а из соседней комнаты. Плакала женщина. Ныла, бормотала что-то, спрашивала. Он не сразу признал голос матери, но после стал разбирать и слова:

— Люди говорят, что помогает. Почему не попробовать? Что мы теряем? Я не могу так больше. Раз за разом всё хуже. За что бог карает нас?

— В ответ слышалось неясное бурчание отца, недовольное, несогласное.

— А что остаётся? Ведь он убьёт себя. Или ещё кого. Тогда уж лучше себя. Но нет у меня сил больше. Нет сил.

Эта мольба успокаивала, убаюкивала. Иху нырнул в материны рыдания, распластался в них. Плачущие жёны, плачьте! Просите сильных мира о послаблении и пощаде! Мужья, цари и боги немилосердны к вам? Умоляйте, лобызайте их мозолистые ступни, сметайте грязь с их ног шёлковыми волосами своими. Никогда не поднимайте глаз, никогда не смотрите в лицо, никогда не будьте дерзкими. Убивайтесь, рыдайте, заливайте слезами дорожную пыль, чтобы можно было замесить её и воздвигнуть на ней новый мир, где все будут счастливы, но где не будет больше вас, плачущих женщин. Мир, построенный на страданиях ваших, на крови вашей. Мир, окутанный вашими криками, неслышанными молитвами, задушенными стенаниями. О ком просите вы, жёны? О сыне, брате, муже, возлюбленном? Кого просите вы, жёны? Старшего, сильного, мудрого, беспощадного? Плачущие жёны, плачьте, но знайте: не будет вам милости. Сила не внемлет слабости, но попирает в грязь её и забывает о ней. Плачьте, плачьте, пока не изойдёте слезами из века и во веки.

Иху проснулся от ощущения, что он не один. Сложно спать, когда рядом чужие. Мать смотрела на него и ждала. Ночью он ничем не выдал себя, но она научилась понимать, когда он возвращался. На полу стоял извечный кувшин с молоком, Иху затошнило от мысли, что придётся его пить.

— Доброе утро, сын, — одними губами сказала мать. Она знала, что резкие звуки раздражали его.

Иху промолчал.

— Тебе надо поесть, Иху, — она пододвинула к нему кувшин и хлеб.

Иху не хотел есть при ней, но мать будто забыла, что нужно выйти, сидела рядом, смотрела в лоб ему. Иху понял, что она будет ждать, пока он не поест. В другое время он бы не шевельнулся, но теперь у него не было сил сопротивляться, он не жуя затолкал хлеб и быстро осушил кувшин.

— Нам надо идти, Иху. Мы должны навестить друзей сегодня.

Мать говорила тихо, не глядя на него, но твёрдо. Тут только Иху заметил, что она одета по-праздничному, хотя никакого праздника не было. Волосы зачёсаны назад, на голове вышитый шерстяной платок, подарок родственников отца на свадьбу.

— Поднимайся, сыне, это недалеко. Нужно только чтобы ты встал и пошёл.

Иху не понимал ничего. Куда идти, почему именно теперь, когда он только вернулся, что за друзья: кроме соседей, родители ни с кем в городе не общались.

— Поднимайся, сыне, нужно поторопиться — настаивала мать.

Она обняла его за плечи и легонько приподняла, так что он почувствовал ватные лежалые ноги. Иху понял, что она не оставит его, напряг мышцы и встал. Но так слабо было тело, что он покачнулся и упал бы, если бы мать не придержала его.

Солнце взошло недавно, но уже припекало. Цикады молчали, их заменили неровные людские голоса. Город просыпался. Иху шёл сам, не держась за мать, но с радостью сел бы на землю в тени какой-нибудь стены. Он не понимал, куда ведут его, да и думал лишь

о слабости своей. Хотелось поскорей дойти, чтобы его оставили в покое. Эта мысль придала ему сил, и он, к радости матери, зашагал живее. Они прошли свой квартал, всё время поднимаясь в гору, сделали крик, обойдя стороной дом Римлянина. Иху подумал, что мать, верно, не хочет напоминать ему, хотя в таком случае лучше было вовсе не выходить со двора: любое место напоминало.

Большой каменный дом скрылся за высокой оградой. Мать робко постучала в ворота, никто не открыл. Постояла, глядя вниз, постучала снова. Старая служанка отворила, молча провела их в дом.

Внутри только Иху понял. Что-то собралось в комок и сорвалось, взорвалось цикадным скрипом, затрещало по швам, не оставило сил, и Иху сполз по стене на пол. Мать застыла в оцепенении, она своего сына не видела больше, ждала. Наконец в комнату властно вошла полная, громкая женщина, посмотрела на мать с неодобрением, ожидая, что та заговорит первая.

— Приветствую тебя, Мария, — смущённо сказала мать, — я Цибория, жена Симона, а вот сын мой, Иуда.

— Что привело тебя сюда? — недовольно спросила хозяйка.

— Сын мой страдает, Мария, от недуга непонятного. Бесом становится одержим, бросается на всех, словно пёс, кусает, рвёт по живому, а если рядом никого, то руки свои и ноги грызёт без пощады, — быстро-быстро замельтешила мать, — не осталось надежды у меня на милость Бога Израиля, на тебя одну уповаю, говорят, сын твой помогает страждущим, будто один взгляд его исцеляет, что только...

— Ну. Довольно. Разнылась! — перебила Мария, зыркнув на материн платок, — пусть мальчик погуляет во дворе, а мы поговорим.

Мать обернулась к Иху, что сидел, вжавшись в стену. Её слова вбивали гвоздь в его грудь. Тупой толстый гвоздь, с каждым ударом прижимавший его к камню, не дававший набрать воздуху в лёгкие. Иху хотел закричать, заорать во всю глотку, вскочить, убежать из этого дома, из этого города, из этой пустыни, но гвоздь вошёл так глубоко, что он лишь учащённо дышал, как карп, вытащенный рыбарём на прибрежную глину.

Мать подошла к нему и, как и с утра, приподняла его, оторвала от стены, оставив гвоздь в груди. Она довела его до двери, положила руки на плечи, чуть подтолкнула. Ослеплённый разошедшимся солнцем, Иху сделал несколько шагов и сел на бревно, лежавшее посреди двора.

Он не боялся: непоправимому должно было свершиться. Он избегал этого, хоть и мечтал об этом. Всю жизнь он сопротивлялся, но вот они сами привели его. Он не знал, сколько просидел на бревне, когда из-за угла показались три мальчика. Грациозные фигуры, он смотрел на них против света и видел только очертания их, но Иху так хорошо знал их, что мог бы нарисовать с закрытыми глазами. Особенно того, главного, что, как обычно, осторожно вышагивал немного впереди, будто шёл по воде, опасаясь оступиться.

Они подошли к нему. Двое остались в стороне, Йешуа сел рядом.

— Приветствую тебя, Иуда, — произнёс тихо, с еле уловимой иронией, даже насмешкой, будто давно ждал, что Иху придёт, и немного удивлялся опозданию.

Иху боялся повернуться, но чувствовал, что Йешуа смотрит на него. Он увидел бы, наконец, цвет его глаз, но, как и в доме, не мог пошевелиться, пригвождённый. Он слышал его запах. Это был другой запах, не такой, как у самого Иху, не такой, как у отца, как у других мальчишек. Хотелось зарыться в него, вдыхать, пока не задохнёшься. Иху с силой втянул воздух, когда Йешуа развернулся, приподнял немного ногу и коленом задел Иху по бедру. Лёгкое, мимолётное прикосновение ошпарило, обожгло, обрушило что-то. Иху посмотрел. Широко посаженные карие глаза с длинными ресницами смотрели чересчур спокойно, но в этом бесстрастии сквозило доброе любопытство. Крылья носа чуть подрагивали. Тонкие мраморные женские губы приоткрылись в полуулыбке, что была почти недоулыбкой, заставлявшей ждать, что он улыбнётся по-настоящему. Иху захотелось приблизиться к его губам, вобрать их аромат, прикоснуться к этой мускатной коже. Цикады снова затрещали в голове, он подался вперёд и не смог сдерживать себя более, одним махом он столкнул Йешуа с бревна, так что тот упал на спину, прыгнул на него, разорвал хитон и, глядя ему в глаза, счастливо улыбнулся перед тем, как впиться зубами в бархатное тело.

Моя личная жизнь никого не касается. Я иногда обрабатываю по семь парней за неделю, хожу по значным местам, в которые ни один так называемый приличный человек носа не сунет, пью, курю травку и гашик, никого не люблю и боюсь только одного: постареть, располнеть и перестать привлекать молодых ребят. Но посвящать во все эти тонкости коллег, клиентов и случайных знакомых — увольте. Наше общество не готово к тому, чтобы принять гомосексуалистов. В Европе это норма, а у нас со всей православной хуйнёй — нет. Но живут же себе геи, никто нас не трогает, хочешь плясать в клубе — пляши, хочешь ебаться в сауне — ебись, хочешь жить семьёй и воспитывать детей — найди себе мужика и подружку лезбуху и живите хоть втроём, хоть по отдельности. Вон, известны случаи, когда в Штатах из гей семей забирали биологических детей, а там, типа, торжество демократии. Я реально не понимаю, чем наши права ущемляют в России? Как меня конкретно касается закон о пропаганде? Я никому ничего не пропагандирую, а что до публичных мероприятий, то достаточно поставить значок 18+ и ни у кого не возникнет вопросов. Все эти разговоры про права и гей парады — дешёвый пиар активистов, зарабатывающих очки, чтобы свалить в Канаду или Германию. «Ах, нас притесняют, нам дали по морде, потому что мы вышли с пидорским флагом в день десантника, дайте нам срочно политическое убежище, пособие по безработице и муниципальное жильё». А сотни тысяч людей, оставшихся

в России, страдают из-за этого, потому что если раньше геев не замечали, сегодня это тема номер один.

Выхожу на работу после похорон. Лица скорбные, все подходят и проникновенно заглядывают в глаза: «Ну, как ты?», «Держись»... Приходится кивать, грустно улыбаться, и думать, как было бы хорошо выкатить стул посреди нашего open space, забраться на него и громко объявить: «Товарищи, оставьте меня со своими соболезнованиями. Мне по хер, что она умерла, а игра в траур меня выбешивает».

За обедом наш экаунт директор Лариса, нафранчѐнная тѣтка лет сорока, живущая с мамой и котом, решила меня подбодрить и рассказала смешную историю: «Представляешь, Ива, у меня на лестничной клетке два мальчика сняли квартиру. Я сначала ничего такого не замечала, а потом посмотрела, как они держатся, и поняла: гомосята!» В этот момент официант принѐс борщ из нашего бизнес ланча, покраснел и недобро глянул на Ларису. Я всмотрелся в пудру, что грозила отвалиться с её щѣк, и улыбнулся. «Хорошо, что у меня детей нет, а то я даже не знаю, как на это реагировать», — сказала с театральным ужасом и размешала сметану. Лариса, конечно, просто дура, но она выражает мнение большинства, с которым приходится считаться. Дети не должны видеть геев, ведь они могут заразиться этим пагубным вирусом. Переубеждать её бесполезно, на любое объяснение, что ориентация — врождѐнное качество, она ответит: «Ну это же не доказано». И ведь в самом деле не доказано, где ответственный за это ген? Вот к примеру я бы не смог поручиться на 100%, что родился геем. Девочки мне никогда не нравились,

это верно, но если вспомнить, что в пять лет я уже сосал хуй, открывается безграничное пространство для фрейдистов всех мастей.

Вообще, как правильно заметил один писатель, у всех в головах один гомосексуализм. Ладно Лариса, она транслирует то, что ей передают по ящику: сказали про геев, надо, значит, вытащить соответствующую историю, выдуманную или настоящую. Будут пугать американскими шпионами, она и их найдёт на своей лестничной клетке. Но всегда меня поражало, что гейская тема стоит третьим номером в шутках у гетеросексуальных мужчин. Первые два делят бабы и спорт. Однажды я оказался в чисто мужской компании, ходил в поход. Костёр, лес, украинская речка с богатой историей и непроизносимым названием, шестеро мужиков среднего возраста с высшим образованием пьют водку, едят макароны с тушёнкой и говорят сперва немного о спорте, потом о бабах (женщины, собственно, делятся на две категории: ебабельные и неебабельные, хотя я бы на месте ебабельных ни одному из этих парней не дал, не знаю, кого могут возбудить их откормленные животы), а потом даже немного и о политике, но всю ночь они жонглировали милыми детскими подначками про «уронить мыло в душе», «береги жопу» и «латентных пидоров». Они даже о себе порой говорили в женском роде, пародируя шаблонную манерность, и в этих репризах могли перещеголять моих хабалистых дружков. Я быстро напился, лёг на спину и стал смотреть на звёзды, не объявлять же им с ходу, что у этого самого костра лежит гей и вовсе не латентный, к тому же меня эти хохмы нисколь-

ко не задевали, никто же не говорил, что нас надо сжигать в печи или расстреливать из базуки. Всё это, собственно, иллюстрирует, что разгул гомофобии существует лишь в головах ЛГБТ-активистов: я через пару дней признался мужикам, что сплю с парнями, и шутки прекратились.

Вечером приехал загадочный грустный Заяц. Завёл песню о том, какой он одинокий, никто его не любит, я его успокаивал, но так, чтобы не перейти грань, за которой fuck buddy становится бойфрендом. Мы снова устроили порку стеклом, очень хотелось трахнуть его без презика, но было стрёмно. Он думал о том же, сел на меня сверху и, глядя мне в глаза, вставил мой член в свою тугую, немного сухую попку. Это было так приятно, что я чуть не кончил, но продолжать не решился и вытащил из-под подушки заготовленный презерватив. Заяц слез, немного поморщившись, разорвал упаковку и умело натянул на меня резинку.

Утренний самолёт, рентакар, кольцевая, снежная грязь на лобовом стекле, забыл почистить зубы, не выпался, не взял зонтик. Крематорий задумывался как монументальное сооружение, где должно быть приятно провожать в последний путь неутомимых тружеников и заботливых матерей. Здание находилось на возвышенности, раньше с него открывался вид на леса и луга, но теперь здесь выросли новостройки. Длинный парк с колумбарием по левую руку упирался в два длинных бетонных бассейна, очевидно, замышлявшихся архитекторами как символ вечной памяти или вечной жизни, но воды в бассейнах не было, как и того, что они символизировали. Ива сжал поднятый воротник пальто, чтобы ветер не задувал дождь и, обходя лужи, быстро зашагал в сторону громоздкого серого здания. Приехавший за час до открытия Слава укоризненно посмотрел: Ива опоздал на три минуты, разрушив план первыми войти в пункт выдачи урн. Заведение походило на один из залов Библиотеки имени Ленина, куда Ива в студенческие годы ходил трахаться с однокурсником, только вместо портретов писателей на стенах висели венки и яркий свет неприятно бил в глаза после свинцово-пасмурной улицы. Библиотекарша в чиновничьей причёске и домашнем платье в горошек выписала квитанцию и принесла шкатулку светлого дерева с латунной табличкой. «Вот и всё, — подумал Ива. — От всей жизни и двойного гроба ничего не осталось. Стоило ли начинать».

Мамины кликуши собрались и на кладбище, хотя народу пришло меньше, чем на отпевание. Подхоранивали в могилу к бабуле, и это тоже было забавным совпадением: они жили, как две кошки в мешке: бабуля расстраивала мамини браки, мама отравила ей старость. Ива подумал, что бабуля, наверное, была такой же самодурственной эгоистичной сукой, как и мама, но она души не чаяла в Иве и его брате, поэтому он любил её. Будь у Ивы дети, может, мама на старости лет тоже прониклась бы к ним человеческим чувством. Бабуля умерла три года назад, и с сегодняшнего дня им придётся лежать под одним крестом. Шёл косой холодный дождь, пахло грибами и абсурдом, никто не знал процедуры, брат держал урну в руках, как младенца, все толпились вокруг, не хватало только волхвов. Могильщик узбек опёрся на лопату и пояснил на ломаном русском, что обычно люди прощаются с покойным, дотрагиваются до урны, думают о том, что было в их жизни хорошего, родственники проходят последними. «Боже мой опять ритуальные пляски», — подумал Ива, но и здесь встал в унылую очередь и, не снимая перчатки, дотронулся до мокрого дерева, хотя думать ни о чём не стал. Урну поставили в вырытую в песке ямку, старухи опасливо побросали горсти насыпанной специально для этого земли, заглядывая в могилу, как в святочное зеркало.

Перед поминками заехали на дачу. Мама с мужем жили в новом доме, который Ива даже и не видел раньше, а старый после смерти бабули превратили в склад закуток и инвентаря. Здесь пахло сараем, вёдра и лопаты загораживали проход, банки с огурцами выселили бабулины наряды из массивного

брежневского шифоньера, гостиную загромождали убогие садовые украшения: пластмассовые цапли расположились на старинных резных креслах, из-под дивана выглядывал крокодил, весь дом заселили жуткие гномы, царевны-лягушки и толстушки, придерживающие юбки à-la Мерлин Монро. Над этим царством безвкусицы надменно возвышалась облупившаяся гипсовая Хозяйка Медной горы, которую Ива помнил с детства. Она была похожа на деву Марию, что спустилась в этот мир, чтобы в очередной раз спасти его, но не нашла в нём ничего, кроме садовых крокодилов.

Ива прошёлся по комнатам, отметил общую разруху, понял, что дому осталось жить недолго. Слава заберёт его как часть наследства и наверняка снесёт. Иве было не жаль дома, он смотрел на него чужаком, будто не здесь прошло его детство, будто не сюда он рвался каждые каникулы, потому что только тут, с бабулей, вдали от строгой мамы и мучавших его одноклассников, он мог быть по-настоящему счастлив. Но тогда в доме было тепло, он жил, трещал печкой, пах котлетами, а теперь он мёртв, как мертвы все, кто его строил. Дома умирают задолго до того, как за них берётся гвоздодёр разрушителя-плотника.

Ива решил прогуляться по посёлку. Старые дома совсем осунулись, на месте многих красовались новые коттеджи, облицованные виниловым сайдингом, яблони устало ссутулились под весом подмороженных плодов, дождь перестал, топкая зыбь под ногами, ни души вокруг, всё было таким неродным, незнакомым, нелюбимым, бесцветным. Только прогудевшая вдали электричка защемила вдруг сердце,

но тут же и отпустила, унеслась. Изморось в воздухе делала дачный пейзаж эфемерным, казалось, сюда вернулось море, плескавшееся здесь несколько сотен тысяч лет назад, укрыло всё холодной солёной водой, засадило пьяными водорослями, а Ива — одинокая, отбившаяся от косяка рыба. Вдоль аллея росли кусты черноплодной рябины с заплешинами ржавых листьев. Ива сорвал гроздь и целиком сунул её в рот, привычно отрывая зубами ягоды от веток. Ягоды хрустнули льдинками, по языку растеклась знакомая вязкая кислина. В детстве Иве запрещали есть черноплодку, «потому что она кровь густит». Ива закидывал ягоды глубоко в рот и жевал их задними зубами — чтобы не выдал чёрный сок на губах, но бабуля, мама или дед узнавали и ругали его. Ива вдруг подумал, что всё, теперь он точно остался совсем один, нет больше никого, кто мог бы запретить ему есть черноплодку. Все умерли. Ему стало нестерпимо жалко себя, он всхлипнул, потом ещё раз и вот уже не мог остановиться. Озябшая импрессионистская сорока удивлённо поглядела на Иву с гнилой перекладкины перекошенной калитки, дёрнула клювом и улетила. Вдали показалась старуха в красной куртке, Ива быстро пошёл от неё прочь, вышел на заросшую ивняком поляну, через которую в детстве в утренней прохладной дымке ходили за грибами, прислонился лбом к влажному стволу старой ольхи и принялся беззвучно рыдать, всхлипывая и заводясь всё больше. «Один, совсем один, и никто меня не любит. Никогда не любил», — шептал Ива, растирая слёзы кожаной перчаткой. «Всё, довольно. На что это похоже. Разнюнился на пустом месте», — подумал он, наконец,

отошёл от ольхи, вздохнул глубоко, принялся думать о Ларисе с работы, её дурацких сплетнях. Дойдя до дома объявил, что не может ехать на поминки, потому что должен срочно вылететь в Москву. Брат тупо посмотрел на него со смесью зависти и огорчения, Слава развёл руками, возмущённо кося разноцветными глазами. Попрощались холодно. В машине Иве хотелось нажать на газ до упора, но до шоссе надо было ехать по колдобинам, так что он осторожно переваливался с бока на бок, стараясь не смотреть в зеркало заднего вида. На губах было солоно.

Домой Ива улетал лишь утром. Хозяин квартиры заботливо оставил прекрасно свёрнутый косяк (у Ивы, как говорила мама, руки росли из жопы, косяки у него получались неуклюжие: мясистые и валкие). Ива откупорил купленную по дороге бутылку красного, уселся на диван в большой гостиной с зелёными стенами и портретом мужчины в чёрном костюме à-la Ван Дейк. Голова махала ушами, как крыльями птица, казалось, что Ива за день прожил сто жизней — тёплая московская постель, аэропорт, самолёт, крематорий, кладбище, родная дача и вот уютная квартира с загадочным портретом, и Ива совсем один. На сорок дней Ива ехать не собирался, довольно было с него кликуш и ясновидящих. В дверь позвонили. Ива нехотя встал, открыл форточку и смыл в унитаз бычок от косяка. Позвонили ещё раз, но как-то робко. Нет, вряд ли полиция. Ива подошёл к двери, задел по дороге лежащий на консоли журнал, на котором грудой были свалены деньги, визитки, кредитные карты, ключи — они рассыпались по полу, но поднимать не было сил.

Нахохлившийся голубем Джастин в промокшей толстовке дрожал в дверях. «Дядь Вань, пусти погреться», — сказал он нарочито смело и, не дожидаясь приглашения, протиснулся в коридор. Настроения разговаривать не было, Ива молча закрыл дверь, вернулся в гостиную и распластался на диване. Джастин разделся и уселся на полу на уровне коленей Ивы. Мужчина в чёрном глядел на них с саркастической ухмылкой.

— Пахнет планом.

— Планом. Ха-ха. Ты откуда такое слово знаешь? Мы так в детстве говорили.

— Мы тоже так говорим.

— Да ладно, и что, курите уже?

— Пацаны курят, я нет.

— Так. У меня к тебе два вопроса, Максим, — пьяно произнёс после долгой паузы Ива, раскинув руки навстречу потолку. — Во-первых, как ты узнал, что я приеду именно сегодня? И во-вторых, расскажи-ка мне, что ты так бегаешь от родителей.

— Я не Максим, дядь Вань!

— Я тебе не дядь Вань, ёбанный в рот! Ива. Меня зовут Ива.

— А меня Джастин.

— Ок. Хорошо. Джастин. Те же вопросы адресуются теперь к господину Джастину.

— Ммм.

— Чего мычишь? Так с чего ты решил, что именно сегодня, а не вчера или не завтра? Или ты каждый день приходил? Чёрт, ты Сергея не видел, надеюсь? Это хозяин.

— Нет вчера не приходил. Просто случайно получилось.

— Ага. Случайно. Следил, значит, за квартирой. Хорошо. Теперь про родителей давай. Что ты с ними собачишься?

— Я не собачусь.

— А что?

— Нууу, так вышло.

— В чём проблема-то?

— В том, что я гей.

Ива молчал. Не знал, как себя вести. Этого ещё не хватало. Пришлый подросток гей с проблемными родителями. Подвернулась бы собачка, можно было бросить клич в Фейсбуке и найти ей новый дом. Что делают с блудными детьми, Ива не представлял. Сам он по тому же поводу два года ругался с мамой, пока не закончил школу и не уехал в Москву, но даже не думал о том, чтобы уйти из дому — куда? к кому?

— Послушай. Джастин. Голубчик. У меня тоже была непростая мама. Мне с ней жилось очень плохо. Но надо учиться существовать под одной крышей, пока не появится возможность слинять. Понимаешь. Ты же несовершеннолетний.

— А ваша мама когда о вас узнала?

Ива повернулся на бок, испуганно посмотрел на Джастина.

— Что узнала?

— Что вы гей.

— А ты с чего взял?

— Нууу. Да это видно. К тому же вы тогда подсняли америкоса.

— А, чёрт, точно. Слушай, перестань мне выкаты. Я всё же не такой старый.

— Хорошо. Ива. — с некоторым трудом выговорил Джастин и мотнул головой.

— Так, погоди. Расскажи по порядку, что происходит дома.

— А я не знаю.

— В смысле?

— Ну я уже давно дома не был.

— Как это?

— Выгнали меня.

— Родители?

— Батя.

— Давно?

— Пару недель.

— И где же ты живёшь?

— Где придётся.

— О, господи, — простонал Ива. — Что же делать теперь?

— Не знаю. В Москву уеду, устроюсь на работу.

— На какую работу, дурачок? Тебе школу надо закончить. Ты в школу ходишь вообще?

— Нет.

— Как нет?

— Там тоже узнали.

— Как?

— Подруга сдала.

— Вот пизда.

— М-м-м.

— И что в школе?

— Чмарили.

— Били?

— Монетами кидались.

— Как это монетами?

— Ну так. Идешь по коридору, а все кидают в тебя монетами и кричат, что ты шлюха, что трахаешься в жопу и всё такое.

Ива представил школьную рекреацию с грязно-бежевыми стенами и песочным линолеумом на полу. Лампы в плексиглазе светят стальным зимним солнцем в пустыне. Толпа учеников разных мастей и возрастов обступила субтильного подростка с нелепой чёлкой. Он шествует в образовавшемся коридоре, и со всех сторон летят в него монеты. Ученики смеются, оскалив злые дёсны, стараются бросать побольнее, чтобы в бровь или в глаз, подросток идёт дальше, не уворачиваясь, и лишь дёргает головой каждый раз, когда в затылок или в висок ударяется ребром тяжёлый медный кружок. Золотой аурой вздымается за ним буря глумлений и брани.

— И что же делать теперь?

— Не знаю.

— По-моему, с родителями всё же лучше помириться, а школу можно поменять.

— Нет. Ненавижу их.

— Погоди, а родителям тоже подруга рассказала?

— Нет. Я.

— Зачем?

— Ну, в школе побили, папа спросил, я ответил.

— Соврать что ли не мог?

— Не знаю.

— Ничего себе, парниша. Скромнее надо быть. Особенно в твоём возрасте.

— А вы что, скромный?

— Во-первых, ты. Во-вторых, да, я никому особенно не рассказываю.

— Ну и зря.

— В смысле?

— Из-за того, что вы не рассказываете, ты не рассказываешь и никто не рассказывает, всё вот так, — вдруг с неожиданной страстью выпалил Джастин, но тут же и испугался своей смелости, сдулся, замолк.

Иву клонило в сон. Он устал, накурился, через несколько часов пора было ехать в аэропорт, чужие проблемы утомляли. Он посмотрел на Джастина, тот всё сидел на полу, прислонясь спиной к дивану в нескольких миллиметрах от полусогнутых коленей Ивы. Ива принялся было рассуждать, что личную жизнь вовсе не обязательно выставлять напоказ, но споткнулся на полуслове, вздохнул, закрыл глаза, провалился в пропасть забытья, полетал, снова очнулся. Джастин вжался в диван, Ива теперь упирался коленями в его шею. Джастин повернулся к Иве, выжидательно посмотрел на него тем глазом, что не был закрыт чёлкой, мужчина в чёрном улыбнулся, Ива сел, перекинув ноги через голову подростка, пробубнил что-то и ушёл в спальню. В постели он вспомнил, как Заяц сосал у него член, оттопырив для стека красные голодные ягодицы, возбудился, подрочил, сфотографировал капли спермы у пупка и отправил фото по WhatsApp со словами: «Заяц, мне тебя не хватает. Завтра приеду». И, не дожидаясь ответа, лёг на мокрый живот и уснул.

Никак не могу отправить Зайца на анализы, чтобы трахаться без резинки. Ему 20 лет, он ни разу не сдавал кровь и у него было до фига незащищённых контактов. То есть, кажется, он вообще презервативами почти не пользуется, ведь он спит только с теми, кому доверяет, и на его жизненном пути я один попался такой щепетильный, что каждый раз надеваю презик. В школе им, понятно, ничего не рассказывали, и про венерические заболевания Заяц не знает даже понаслышке. Вообще, такое впечатление, что в России гомо и гетеросексуальные мальчики и девочки одновременно забыли о гондонах. Девки пьют контрацептивы, чтобы не принести в подоле, но таблетки от ЗППП не спасают. А самое главное, что и в лабораторию никто идти не хочет, потому что все друг другу доверяют. Страна народного доверия. И что получается? Один мой малолетний любовник пишет однажды: «Сегодня приехать не смогу, дрочил неудачно и натёр член. Потом ещё подрочил и совсем всё испортил». Я ему отвечаю, что мне это кажется странным, не слышал я о такой фатальной дрочке, чтобы до ран. Попросил прислать фото. И точно: хуй опух, а на головке два огромных шанкра. Я говорю: «Голубчик, да это всего-навсего сифилис, беги в кожвен». И он ведь отпирался: мол, закончил медицинский колледж, им рассказывали про сифилис, и вообще он никогда без резинки не ебался. Я ответил, что закончил истфак, на лекциях нам рассказывали о Венере, а не о болезнях, но шанкр от царапины я отличить могу. В общем, я оказался прав.

И вот Заяц. Всякий раз, когда прошу его сходить в лабораторию, он кивает головой и никуда не идёт. А тут на днях выдал мне, что боится: «Я на 98 % уверен, что ничего нет, но этих двух процентов очкую». И поведал про свою сексуальную жизнь за последний год: был у него несколько месяцев парень, который постоянно сдавал анализы. Он Зайца бросил, тот страдал, ни с кем ебаться не хотел и только когда «совсем уже скулы стало сводить», выписал кого-то из Хорнета. Снова без гондона, потому что чего уж там, один раз можно, тем более пихались они в парке под домом и времени рассусоливать не было. В целом ничего криминального, никаких кокаиновых оргий с бразильскими жигало, но возможностей заразиться довольно.

Я стал активнее настаивать на анализах, Заяц сопротивлялся, говорил, что денег у него нет, а у меня брать не хотел — «некрасиво», но я уговорил его взять в долг. И вот вчера я открыл по утру WhatsApp, Заяц сфоткал экран компьютера с письмом из лаборатории. В графе, где обычно пишут «отрицат.», значилось: «Выдача результата задержана в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований, образец направлен на верификацию», и дальше что-то про федеральный закон. «Что это? Я в панике», — писал Заяц.

Не знаю, за кого я испугался больше — за Зайца или за себя, ведь я много раз входил в него на пару секунд без презерватива и последний раз это случилось перед поминками. На сообщения мои Заяц не отвечал, он вообще жил ночью и спал днём. Я выяснил, что первоначальные результаты, очевидно,

были положительными, и окончательного ответа надо ждать 10 рабочих дней. Случаются и ошибки, но не чаще чем в 1% случаев. У меня же риск заражения составлял почти зеркальные 1,5%. Я принял ся строчить проникновенные сообщения о том, что ВИЧ — это не приговор, он нисколько не ограничивает продолжительность жизни, терапия у нас в стране бесплатная, хоть и назначается только при определённой вирусной нагрузке, но всё это писалось со странным чувством натянутости. Когда здоровый успокаивает больного, он идёт на некоторые допущения, пытается заговорить зубы, отвлечь человека от патологических сигналов его организма, заставить поверить в мечту, в идею выздоровления. Но когда нарывы бубонной чумы уже смердят на теле близкого, а у тебя всего лишь увеличены лимфоузлы, и ты уговариваешь другого, стараясь успокоить себя, получается это из рук вон плохо — в этом главная пытка.

Я пригласил Зайца в гости, но он ехать не хотел — ему было «стыдно смотреть мне в глаза». Что ещё за стыд? Без гондона, значит, шлёпаться не стыдно, а поговорить стыдно? Оставляя его одного было стрёмно, я написал, что приеду сам, он отнекивался под предлогом, что пойдёт плакаться к подружке, она якобы уже ждёт его, но я гавкнул грозно, что поздно — я в пути, и он подчинился. Однокомнатная квартирка недалеко от МКАДа, грязная кухонька с горой невымытой посуды, два разобранных дивана в небольшой комнате, один из которых укрыт пледом с оскалившейся пантерой, вид на наземную линию метро, гремящую за лысым парком. Заяц виновато встретил меня на пороге, обнял, уткнулся холодным

носом в шею, я сжал его крепко, до хруста костей, опустил руки на его упругие круглые ягодицы, было приятно гладить их через шёлковые пижамные штаны. На шее стало мокро. Заяц плакал. Я почесал его за ухом, поцеловал в лоб и чуть отстранил от себя, чтобы снять пальто.

Он тут же вывел меня курить на лестницу рядом с мусоропроводом, скукожился от холода, стоит, зажимая сигарету в кулаке, как школьник, затягивается глубоко, открывает рот, чтобы набрать побольше дыма, будто времени у него мало, будто сейчас прозвонит звонок и нужно бежать на биологию. А глаза-то блестят в полутьме подъезда, молчит, смотрит на меня и внимательно слушает ликбез на тему антиретровирусной терапии, о том, что если вовремя диагностировать ВИЧ, можно с ним спокойно жить, так что письмо из лаборатории не нужно воспринимать как неумолимый вердикт. Сосед вышел из лифта, я замолчал, подождал, пока скроется за обшарпанной дверью. Заяц достал вторую сигарету, я замёрз, но дал ему выкурить и её. На третьей сказал, что надоело стоять у мусорки, и вернулся в квартиру.

Мы легли на пантеру, он свернулся калачиком у меня на груди, я обнял его и тихонько запел колыбельную здоровья и вечной жизни. «Я ведь не блядь, я не трахаюсь со всеми подряд, — шептал он с обидой. — Почему я?» Он уступил моему гипнотизирующему бормотанию, успокоился, перестал плакать. Я поцеловал его, он подался всем телом, ответил так самозабвенно, будто только и ждал этого поцелуя, будто он снимал с него проказу, всё прощал, так что можно было встать и идти. Мы занялись любовью.

Полностью расслабиться не получалось, мешала дурацкая мысль, что с ним нельзя, что он меченый, опасный, инфицированный Заяц. Да, с презервативом риск заражения минимален, да, я чуть не ежедневно сплю с парнями, статус которых мне неизвестен, но оказалось, что логика безоружна перед животным страхом. Мне хотелось вскочить, уехать домой, спрятаться под одеялом и забыть о болезнях и смерти, но Заяц был тут, беспомощный, маленький, жалкий, прижимался ко мне тщедушным тельцем, протяжно, взасос целовался, искал тепла, которого так не хватало ему в этой квартирке с пантерой. Я понял, что не брошу его из-за этого. Не могу бросить.

На работу Ива ехал от Зайца. Переполненный поезд то и дело плавно замедлял ход, останавливался на перегонах, угрюмые люди качались из стороны в сторону, по-рыбьи пристально всматриваясь в свои отражения в тёмных иллюминаторах. Ива читал газету на Айфоне — известного певца арестовали за педофилию. Знакомился Вконтакте с 10-летними мальчишками, приглашал на чай, очаровывал и трахал, они потом влюблялись в него и один поделился горем со старшей сестрой. Впрочем, тон статьи свидетельствовал, что дело замнут, певцу погрозят пальцем, а родителям переведут солидные суммы, чтобы могли водить сыновей к психотерапевтам.

За обедом Лариса только и говорила, что о педофилах и гомосексуалах.

— Всё-таки какая зараза распространилась в последнее время! Раньше не было такого. У меня мама вообще не знала об этом, пока по телевизору не стали показывать. А теперь вон у нас, соседи. Кто их знает, с кем они там в интернете знакомятся.

— Да это ж разные вещи, — встрял Ива.

— Никакие не разные, Ивочка. Я тебе говорю как взрослый человек, поверь мне, — Лариса приосанилась для важности. — Они все пока молодые, спят с ровесниками, а потом взрослеют и становится неинтересно, потому что ровесники, знаешь ли, уже тоже не мальчишки. И чем старше они, тем моложе ищут себе партнёров. А дальше по экспоненте. Вот этому козлу 50, а дети ему нужны 10-летние. Сажать надо всех превентивно.

Ива не спорил — Ларису не переубедишь. К тому же он не очень и слушал — забрасывал Зайца нежными сообщениями о том, как скучает без него, как хотел бы заняться с ним любовью прямо сейчас. Ива возбудился даже, о чём тут же и сообщил, Заяц засмутился, ответил смайликами. Лариса всё тарахтела, с любопытством поглядывая на лежащий на столе телефон, но прочитав ничего не могла — слишком далеко сидела. «Заяц sent you an image», — сообщил аппарат. Не двигая его, Ива привычным движением провёл пальцем по экрану, Лариса опустила глаза, Иве потребовалась секунда, чтобы предотвратить катастрофу и схватить телефон в руки: на фото эрегированный член Зайца кокетливо выглядывал из кармашка цветастых боксеров.

Ива подумал: а что если бы он вдруг признался? Лариса бы, наверное, выпучила глаза, перевела разговор, а потом стала бы сплетничать за его спиной, как она делала, обсуждая их креативного директора, в гомосексуальности которого не сомневалась: «О, пошла пава, ты погляди на него. Как бёдрами виляет, прям мадам», — шептала она обычно и пихала Иву локтём. Ива отводил взгляд и принимался следить за собственной походкой.

Вечером вышли все вместе. Ива прогулялся бы до метро один, но задерживаться в офисе не хотелось, к тому же он ужинал с друзьями. Бизнес-центр Ивы втиснулся между суровых доходных домов прошлого века, изуродованных бородавками кондиционеров. Крутящиеся стеклянные двери выходили в небольшой прямоугольный двор без единого деревца, образованный глухими стенами зданий, в одной из

которых зияла тесная арка, ведущая в другой двор-колодец. В этом похожем на тюрьму пространстве выделялась лишь одна ярко-розовая стена — церковная. Когда Ива вышел на улицу, звонили колокола, захотелось прислониться к чему-нибудь и постоять с закрытыми глазами. В углу между розовой стеной храма и серым бетоном соседнего дома маячил Джастин. Он ссутулился, спрятался в капюшон, засунул руки в карманы и глядел прямо на Иву. Гримальди перед захватом Монако. Ива опешил, тут же за ним появилась замешкавшаяся Лариса и другие менеджеры, Джастин шагнул к Иве и выкинул руку. «Это мой племянник. Максим», — пояснил Ива в пустоту и пожал холодную потную ладонь. «Не знала, что у твоего брата есть дети», — протянула с удивлением Лариса, и Ива услышал, как рождаются в её куриной голове загадки и догадки, пицца для перетолков в курилке. Остальные в разноголосицу поприветствовали племянника и исчезли в темноте арки.

У Джастина была странная походка, да и весь он был нескладный. Он не шёл, а плыл, глядя прямо перед собой, осторожно переставляя ноги, лишь чуть покачивая торсом, к которому прижались бездвижные руки. На нерегулируемом переходе Ива остановился, а Джастин шагнул на зебру, не замедлив шага, не скосив глаз. Автомобили затормозили, Ива затрусил за Джастином, догнал его на середине дороги: «Ты что, с ума сошёл? Жить что ли надоело?» — крикнул он в спину подростку, на что тот лишь махнул рукой: пойдём, мол, чего время терять.

Дома Джастин неуверенно прокрался на кухню, от уличной наглости не осталось и следа. Сел на стул

под рисованными графитом портретами древнегреческих философов, откинул капюшон, отвёл чёлку с глаз, съёжился. Ива заговорил с ним, наливая себе вино и ставя чайник. Он отвернулся от Джастина, болся смотреть на него, никогда ещё подросток не сидел на этой кухне, Ива не знал, как вести себя с ним.

— Послушай, Джастин, что ты себе думаешь? Тебе двенадцать лет, ты не можешь находиться у меня.

— Тринадцать.

— Это дела не меняет. Я тебе не старший брат и не папа. Они вообще знают, что ты в Москве?

— Да.

— О боже. И знают у кого?

— Нет.

— А что ты им сказал?

— Что у друга остановился.

— Какого друга?

— Они не спрашивали.

— Ага. Так я и поверил. Чтобы любящие предки не поинтересовались, у какого такого друга будет жить в столице их нетрадиционное чадо.

На все расспросы Джастин отвечал односложно или молчал. Ива метался по квартире. Он не мог выгнать подростка, оставить же его было опасно. Ужин пришлось отменить, на следующий день он ждал Зайца, но и ему написал, что занят на работе. Он украдкой звонил друзьям, те пугали его: штраф за пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним ещё полбеды, родители могли обвинить Иву в педофилии. Ива представлял, как будет закатывать глаза Лариса, казня пожарскую котлету: «Я всегда догадывалась. Всегда. Было в нём что-то от извращенца».

Он уговаривал Джастина вернуться, предлагал заплатить за билет и даже дать денег на первое время, если захочет пожить у друзей, но мальчик упирался. «Слушай, Ива, я по-любому к родакам не вернусь. Никогда, понимаешь. — выпалил он в какой-то момент, обиженно насупившись в неснимаемой толстовке. — Я могу уйти хоть сейчас, на вокзале переночую, завтра буду искать работу». «Ооо, какую к ёбаной матери работу? — Ива театрально схватился за голову, нелепо взъерошив волосы. — Тебе в школу надо!» Джастин посмотрел на него озорно и в первый раз рассмеялся, отчего сделался совсем ребёнком: «Ах-ха-ха, ты, как Эйнштейн из учебника, как будто его током ударило».

Ива не умел принимать решений, оставлял жизнь на самотёк. Джастин поселился у него, целыми днями сидел в телефоне, смотрел мультики, чатился в Вконтакте, слушал музыку. Он мог часами не снимать наушников, немного покачиваясь в такт неслышимой мелодии. Ива залез однажды в его телефон, пока Джастин спал, что было несложно, потому что спал Джастин днём. Вконтакте он общался в многочисленных группах Яой и Сёнен-ай, о существовании которых Ива раньше и не догадывался. Рисованная любовь парней с длинными чёлками, большими глазами и треугольными подбородками, невинный секс (без презервативов), когда мультяшная капля пота скачивается с задранного в порыве страсти подбородка, но не надо бежать в ванную отмывать член, а можно растянуться на любимом и целовать его в изгиб шеи. Джастин состоял в переписке с десятком мальчиков из этих групп, но был лаконичен.

- Привет
- Привет
- Как дела?
- Норм
- И у меня
- Чем занят?
- Сижу
- И я
- Смотрел про Онодеру Рицу?
- Ага
- Круть скажи?
- Ага

Так могло продолжаться часами, так что Ива мог не бояться, что Джастин проболтается, где конкретно он смотрит свои Яой. Впрочем, даже если бы он написал кому-то, что заперт в комнате Синей Бороды и ожидает неминуемой смерти, ему бы, наверное, ответили «Круть» и спросили, крашенная борода или от рождения такая.

Подросток в доме. В Москву он не привёз даже зубной щётки, Ива купил всё необходимое, но это не подвигло Джастина менять носки и трусы или чаще принимать душ. В квартире расплодились огрызки яблок, фантики от жвачек и шоколадок, которые Джастин поглощал в промышленных масштабах, тратя на них остатки карманных денег, что снимал время от времени с карточки. Он не мыл за собой посуду, не поднимал и не вытирал стульчак от унитаза, не пользовался ёршиком и, самое ужасное, постоянно портил воздух, нисколько этого не стесняясь. Ива решил, что это способ самовыражения и юношеский протест, так что приходя с работы молча проветривал.

Джастин почти не разговаривал, но охотно общался по WhatsApp, иногда составляя длинные осмысленные сообщения, полные орфографических ошибок и почти без знаков препинания. Ива всякий раз думал, что мальчика надо хоть из-под палки, но посадить за парту. В Москве школу найти было невозможно, необходимо было помирить его с родителями. Ива решил играть с подростком по его правилам и завязал переключку сообщениями, забавную, если учесть, что Ива лежал в постели, а Джастин сидел за стеной на кухне.

— Джастин.

— Да

— Не подумай, что я тебя гоню, но всё же скажи, сколько ты ещё планируешь у меня жить?

— Не знаю

— Как быть со школой?

— Не знаю

— Ты же аттестат не получишь.

— Ну и что?

— И чем на жизнь будешь зарабатывать? Мульттики рисовать?

— Почему нет?

— Ну этому тоже надо учиться, а без аттестата куда тебя возьмут?

— Я не могу больше жить с родаками и не могу ходить в мою школу

— Может, поговорить с родителями и отправить тебя в интернат?

— Ага. Что бы меня там совсем прибили

— Почему тебя должны прибить?

— Потому что в интернате все ходят по стойке смирно а я не собираюсь под них ровняться. Мне даже

в школе делали замечания из за челки и джинс что же будет в интернате?

— Ну можно и потерпеть немного, постричься, зачем всем сразу рассказывать, что ты гей?

— Нет. Это ваше пакаление никаму ничего не говорит а я хочу жить свою жизнь.

— Так ты её и живёшь, просто не говоришь.

— Это не моя жизнь

— Я не понимаю, зачем тебе бороться со всем миром себе же во вред?

— Я гей и ничего скрывать не буду

— Джастин, ты ещё маленький, это максимализм. В жизни надо уметь идти на компромиссы. Невозможно уйти в себя и сидеть до пенсии в телефоне. Тебе придётся зарабатывать деньги, строить отношения с каким-нибудь парнем, общаться с руководством, с кучей людей. Все они будут разные, ко всем надо будет находить подход, нельзя делить мир на чёрное и белое.

— Ага. Ты вот не делешь мир на черное и белое зато как поблИднел когда я ждал тебя у работы. Как будто смерть увидел.

— Джастин, тебя невозможно читать. ПоблЕднел. От слова бледный. И делИшь от слова делить!

— Ну пох

— Знаешь, ты вообще не имел права вторгаться в мою жизнь. Могу я сам решать, что кому говорить?

— Да че ты очканул то? Никто не понял

Такие разговоры могли длиться бесконечно. Джастин не знал, что делать, но точно знал, чего он не хочет; Ива же хотел одного — отправить его домой.

— Ну скажи, а какой твой любимый мультик?

— Ну вот крутая история про онодеру рицу

— О чём там?

— Там парень обидился на смешок после первого секса в школе и не общался с любовью всей своей жизни. А потом устраивается на работу и видит его начальником

— Фигассе.

— Ага. А тот чувак такой сдержанный брутал оказывается все время его любил. Короче ух

— Вот видишь, когда в школе неправильно принимаешь решение, потом всю жизнь за него расплачиваешься.

— Ну они же потом были вместе и никто его не пиздил в школе из за того что он гей.

— А у тебя есть парень?

— Ты что? Я же еще ребенок

— Ну всё равно. Должен же ты быть в кого-то влюблён.

— Должен. Но если я влюблюсь то на всю жизнь меня просто секс не интересует а где мне найти такого парня кот будет разделять мои взгляды? Я в Хорнете искал там все только для потрахаться.

Ива подумал, что Джастин дурит его, он-то в его возрасте постоянно влюблялся, что не мешало ему дрончить на парней из школы по пять раз на дню, изнывая в ожидании живого секса. Был бы у Ивы Хорнет, он бы времени не терял. Но подросток говорил серьёзно. Насмотревшись японской романтики, он верил в вечную любовь, презирал измены и беспорядочные связи, мечтал, чтобы первый же мужчина, который лишит его девственности, стал спутником на всю жизнь. Ива однажды разоткровенничался после косяка и рассказал Джастину про

Зайца: что тот, кажется, влюблён, а Иве безразлично, ему лишь бы хорошо провести время, но он боится причинить мальчику боль. Обычно тихий Джастин устроил Иве целую отповедь: мол, секс без любви — это грязно и ему, Джастину, чуждо. Ива пересказал ему «Обыкновенную историю», сказав, что 90 % людей спят с теми, кого не любят, но долго спорить не стал: в конце концов у Джастина пока не было никакого секса, ни с любовью, ни без. Ива выяснил, что ему нравились взрослые, сильные мужчины. Было в этом что-то фрейдистское, но Ива по собственному опыту знал, что часто мальчики, начинающие с партнёров постарше в поисках твёрдой почвы под ногами, со временем адаптируются и переходят на ровесников (а потом, продолжила бы Лариса, и на детей). И да, Джастин был девственником. Ива снова прошерстил его телефон, нашёл Хорнет с блондинистой чёлкой на аватаре, но всё общение ограничивалось теми же односложными вопросами. Ни с кем он ни разу не попытался встретиться, ни с кем не вёл интимных бесед.

В другой день разговор в WhatsApp начал сам Джастин.

— Ива.

— Чё?

— Я согласен на школу но только ни дома

— Ну как же я тебе в Москве найду школу, у тебя тут ни прописки, ничего.

— Может рипититоров? Я потом заработаю и отдам я тогда смогу сдать экстерном

— А платить с чего? Я, думаешь, миллионер? Кроме того, на экстернат, по-моему, надо по-любому брать

разрешение в школе. Как тебя не ищут ещё, я не понимаю? Твои родители точно в розыск не подали?

— Точно

— Ты откуда знаешь?

— Знаю

Заяц инфицирован. Вирусная нагрузка слишком низка, чтобы начинать терапию, но ему надо встать на учёт дома, причём так, чтобы родители ничего не заподозрили. Я снова провёл у него ночь, успокаивал, гладил по голове, говорил без умолку, целовал, бесстрашно занимался любовью. Заяц был пришибленный, хотя уже свыкся со своим статусом и, в целом, успокоился. Я вдруг понял, что с этим вирусом он стал мне ещё дороже, хочется заботиться о нём, ставить ему банки, кипятить молоко с мёдом. Жаль только, что о сексе без презерватива придётся забыть.

Сегодня исполнилось три недели и один день после того, как входил в него без резинки. Пошёл в лабораторию сам. Правилу голодного желудка я обычно не следую, но в этот раз решил не завтракать. Всё это было так привычно: закатать рукав, смотреть в сторону, работать кулаком, но только если раньше я был, как говорил Заяц, на 98% уверен в том, что всё хорошо, и оставшиеся проценты меня не пугали, сегодня при том же раскладе твёрдости поубавилось.

Приехав в офис, я поднял прошлые анализы, чтобы вычислить, во сколько получу ответ. В емейлах значилось разное время — то три часа дня, то восемь вечера. Заяц сообщение о двухнедельной отсрочке пришло почти через сутки, впрочем, нельзя было вывести зависимость, что сомнительные результаты отправляют позже. Мандраж начался уже в полдень. Я не отрывался от компьютера и ежесекундно тыкал на кнопку get mail, несмотря на то, что почта обнов-

ляется автоматически. На телефон письма приходят быстрее, так что я отслеживал их и в телефоне. Я загрузил и почтовую страницу в интернете, чтобы проверять папку со спамом, хотя лабораторный адрес давно занесён в «белый» список. О, это забытое чувство выжидательного бессилия. Мы, взрослые люди, живём химерами самодостаточности, верим, что мы всё можем и что бы ни происходило, всегда есть выход, «всё, что меня не убивает» и так далее. Молчание лаборатории отбрасывает тебя в беспомощное детство. В столбняк перед листом фанеры, висящим на бежевой университетской стене, на нём вот-вот должны вывесить результаты вступительных экзаменов, но секретарь всё не приходит, а фамилий так много и шрифт такой мелкий, ты судорожно пробегаешься по строчкам, потом ещё раз и ещё. Или глубже, в летние каникулы на даче, когда ты выкрал пахнущий нафталином червонец из-под стопки бабулиных бюстгальтеров, но он порвался в кармане грязных шорт, в сельпо такие не принимают, и ты, восхищаясь собственным нахальством, «размениваешь» его у слепого соседа, тратишь деньги на сайки с изюмом, а потом поедает их на чердаке и боишься: притащится ли жаловаться скрюченный знаком параграфа старик, обнаружив подлог? Что тогда? Изабьют? Запрут на неделю дома? Будут пытаться, откуда взял деньги (а ведь признаваться в воровстве нельзя, а что как решат сосчитать — помнит ли бабуля, сколько там оставалось от пенсии?) Сладость преступления в избирательности провидения.

В два коллеги позвали обедать, я не хотел пропустить письмо, но решил, что отвлечься полезно.

В кафе я нервничал и то и дело смотрел в телефон. Но это ведь не приговор, даже если плюс — уговаривал я себя. Верилось с трудом. Приговор — не приговор, а всё же клеймо на всю жизнь и огромные затраты — доступность нашей медицины известна. Ну нет, не мог я заразиться. Ведь всего вошёл в него пару раз на несколько секунд, даже не кончил, хотя так хотелось. Впрочем, какая разница — кончил или нет, для меня ведь это ничего не меняет.

К обеду была война. Лариса пересказывала кровавые телевизионные сюжеты, наш дизайнер Витя спорил с ней до эпилептического приступа. Я в разговор не вмешивался, тыкал в телефон, ожидая анализов. Лариса пилила тупым ножом фаршированный перец и рассуждала о политиках, будто знала всех лично и ни один из них не смог доказать ей свою профпригодность.

— А это их главный нацик — педофил, спидозник. Я вчера про него сюжет смотрела! — выложила она свой последний аргумент. — Моя бы воля, я этих пидоров всех из пулемёта постреляла.

И тут... Не знаю, что случилось со мной. Я умею скрываться лучше масонов, я всегда нахожу компромиссы, я никогда не иду на конфликт, не замечаю ненароком брошенные в меня камни, потому что уверен: люди делают это не со зла, но по серости своей, а кто я такой, чтобы судить их или поучать. Я, самый уравновешенный, спокойный и терпеливый человек на планете, вдруг потерял самообладание. Подняв глаза от безмолвного телефона и аккуратно сложив приборы, я посмотрел на Ларису, треснул по столу кулаком и встал. Заверещали тарелки, расплескалась

Кока-Кола из Витинового стакана, гудящее десятками голосов кафе вдруг замолкло и развернулось ко мне, лишь невозмутимые Pet Shop Boys продолжали петь To Speak Is A Sin. «Лариса. Мне, если честно, надоедо слушать всю эту муть про геев, — выпалил я. — Ты ничего не понимаешь в жизни, ровным счётом ничего. Да что там говорить, ты просто дура. Я прошу в моём присутствии держать язык за зубами». Последние слова я произнёс уже не так бодро, начав сдвигаться после «дуры». «Что я делаю, господи, что я делаю, зачем это?» — думал я, пытаюсь гордо выйти из-за стола, но гордо не получалось: стулья сцепились металлическими ножками, я застрял, споткнулся, Лариса пришла в себя: «Ничего себе умник нашёлся! За обед заплатить не забудь, профессор». Я судорожно вытащил из кармана смятую купюру и, не дожидаясь счёта и сдачи, вернулся в офис, забрал вещи и уехал домой. В висках стучало, сердце колотилось, будто я прыгнул с парашютом. Что я натворил, что же я натворил! Теперь меня будут обходить стороной, шушукаться за спиной, кто-то не подаст руки, а потом врежет в скулу на корпоративе. И все эти ухмылки, ужимки, всепонимающие, всюдупроникающие взгляды. Надо писать заявление, понятно. Но как доработать ещё две недели? Заболеть? Ха-ха. Буду сидеть дома с Джастином, зреть его глупые мультики и дрочить в туалете.

В хаосе истерики совсем забыл о результатах. А они между тем пришли. Отрицательные.

Ива задержался на работе, а когда выходил из офиса, наткнулся на пожилую женщину, ожидавшую его в углу у церковной стены. Она была одета в дорогое каракулевое пальто, укутана в большой шерстяной платок, защищавший от ноябрьского мокрого снега, в руках — бумажный пакет Versace с красным пуховиком. «Кустодиевская купчиха в ноябре, — не удержался от сравнения Ива. — Или нет. Снежная Богоматьер». «А вы Иван?» — спросила его купчиха. Ива испугался, хотел сказать, что она обозналась, но не успел и согласился. «Я мама Максима, — затараторила. — Пожалуйста, отпустите его домой, не держите его. Я всё готова сделать, только верните его. Я отца уговорю, он не накажет его, пусть он только вернётся. Там ведь школа, понимаете, нам звонила классная, но я взяла трубку, сказала, он болеет, а отцу не говорю, он думает, Максик у бабушки. Они поругались, понимаете, из-за ерунды, но это ничего, это трудный возраст, и папа у нас непростой, генерал милиции, он всё гнёт, как ему надо, но это ничего, всегда можно договориться. Вы за нас не переживайте. Хотите, я вам денег дам? Сколько вы хотите? У меня с собой немного, но я могу снять с книжки, где тут Сбербанк? Только знайте: я обещала себе, что без Максика не уеду, с пустыми руками никак. А вы даже не спорьте, даже не спорьте, иначе я всё отцу расскажу, он от вас живого места не оставит. Он генерал милиции, знаете, сорок пять лет в органах, он и не таких ломал. Он вас засадит на всю жизнь, вот увидите. Но мы же

договоримся с вами, да? Договоримся ведь? Где тут Сбербанк, скажите только, сколько вам нужно, я решу все ваши финансовые затруднения». Она говорила так быстро, что Ива не мог вставить ни слова, он испугался, что их увидят, схватил женщину за руку и потащил вон из двора. Ей, кажется, было больно, она вскрикнула от неожиданности, на секунду замолчала, поняла что-то, снова начала лепетать про Сбербанк и школу.

— Да прекратите эту ересь про деньги, ради бога, — проговорил Ива, как только они оказались в тёмной арке между дворами. — Как вас зовут?

— Мария, — ответила купчиха и оправила платок.

— А по отчеству?

— Акимовна.

— Мария Акимовна, если Джастин, то есть, Максим, захочет домой, пусть едет, я его не держу. Но он почему-то не хочет. Вы с ним когда последний раз говорили?

— Я с ним всё время говорю, это он со мной не говорит. Только пишет, что всё хорошо. И имя-то себе какое взял нехристианское. А вы потакаете, значит? Может, вы и надумали?

— Откуда у вас мой адрес?

— Нашла у Максика вашу визитку.

— Откуда вы знаете, как я выгляжу?

— В интернете посмотрела, — купчихи, которые находят в Гугле, как выглядят похитители их сыночек. Или, скорее, в Яндексe.

— Послушайте. Сейчас вы успокойтесь, и мы поедем ко мне. Вы подождёте внизу, а я уговорю Максима, спуститься. Если вы увезёте его, я буду только рад.

Мария Акимовна попыталась прорваться в дом, но Ива не пустил её, она покорно вздохнула и осталась ждать. Не вызывая лифта, перепрыгивая через две ступеньки, Ива взбежал на свой этаж. Одетый Джастин спал на диване, накрывшись с головой красным покрывалом из шерсти ламы, которое Ива привёз из Перу. «Джастин, там твоя мама, проснись. Тебе надо спуститься на улицу и поговорить с мамой», — задыхаясь сказал Ива, не трогая мальчика. Тот вынырнул из-под покрывала, откинул чёлку и, по-дельфиньи шурясь, осоловело огляделся. Оторопь сменилась испугом, он вскочил и босиком выскочил в коридор. Ива сел на диван, накинул ламу поверх пальто, мучимый неприятным ознобом, пробежавшим по взопревшей спине. Он осмотрелся. Вот его купленная в ипотеку квартира, обставленная по его, Ивиному вкусу. Кремовые стены, белый потолок, уютный абажур вместо люстры, ковёр из турпоездки по Ирану, тёмно-зелёный диван, стулья из нержавеющей стали, картина на стене: Харон отталкивается посохом от берега Стикса — копия полотна из Лувра, она очень нравилась Иве за круглые розовые ягодицы мужиковатого Харона. Ягодицы отражались в зеркале из сирийской Маалулы, украшенном перламутром и верблюжьей костью. Сверху на треугольном наличнике два резных павлина пили воду из фонтана, из которого произрастало древо жизни. Ива вспомнил, как лежали однажды, распаренные, с Зайцем, он смотрел на зеркало и думал, что сотню лет назад кто-то заботливо клеил на раму лепестки перламутра, кто-то потом продал его, кто-то купил, кто-то повесил на стену и отражались в нём дни рождения, свадьбы,

новые платья, новые младенцы. Все они теперь мертвы. Когда-нибудь и Ива умрёт, кто-то другой повесит у себя зеркало и будет кокетничать перед ним. Он поделился своими мыслями с Зайцем. «Когда ты умрёшь, я разобью его... Чтобы ты был самым прекрасным, что оно отражало», — ответил тот в порыве нежности. Ива глупо рассмеялся тогда, смущённый красотой этих слов и теперь ему стало неловко за тот смех. И вот всё вдруг показалось таким призрачным, эфемерным, будто готовилось испариться из Ивиной жизни, как только что исчезла мама. Ива сильнее запахнул плащ-покрывало, вжался в диван и снова чуть не разрыдался от жалости к себе. Хлопнула входная дверь, на пороге гостиной появился смущённый Джастин с купчихой. «Мама уедет завтра, — сказал он отрывисто и дёрнул головой. — Можно она у нас переночует?» «У нас? — устало ответил Ива с дивана. — У кого это у нас?» — «Ну у тебя», — поправился Джастин. Иве хотелось заорать на него, бросить чем-нибудь тяжёлым, ударить, вытолкать внашею вместе с мамашей. Он поднялся, готовый к скандалу, отбросил покрывало, но порыв иссяк, он махнул рукой и вышел из квартиры.

Заяц обрадовался, когда я приехал к нему на пару дней, которые оказались неделей, потому что купчиха не хотела уезжать без Джастина. Он кинулся готовить ужин, не мог определиться, варить ли в единственной кастрюле сначала макароны, а потом сосиски или наоборот. Я посоветовал кинуть всё в одну воду. Он порхал по кухоньке испуганной канарейкой, за чем-то промыл готовые макароны холодной водой и пережарил, чтобы согреть. Получилось невкусно. Вытащил из-под раковины посылку от мамы — закрутки с солёными помидорами и маринованными грибами. Залил свою тарелку кетчупом и майонезом, на десерт достал шоколадный рулет, который не стал резать, а откусывал, запивая чаем. Это было так трогательно, по-домашнему уютно, что мне хотелось обнять его и поплакать. Он нёс околесицу, копируя трансух из «Центральной станции»: «Парниша, если макароны не промывать, получится лапша на уши». Изменял голос на прокуренный басок, говорил манерно, отключив зад и отставив в сторону согнутую в локте руку с шумовкой. «Ничего себе, мажор, вилку с ножом тебе? Ложкой будешь есть, как все приличные люди, чай не сахарный». Да, эти приколы не стоят и закрывающей скобки, но Заяц живёт ЦС. Он ходит туда каждые выходные, игнорируя другие заведения, с нетерпением ждёт пятницы, расстраивается, если на субботу выпадает утренняя смена. Он даже не называет ЦС по имени, но сообщает: «Я сегодня в клуб». Он не особенно часто знакомится там, стес-

няясь заговорить первым, да и вообще секс на одну ночь интересен ему лишь «когда скулы сводит», ну и Хорнет удобнее. Он любит травести шоу, знает артистов, смеётся их репризам, поёт вместе с ними, не разбирая слов, когда они поют по-английски, никогда не напивается, растягивая ночной бюджет на один-два дринка. Мне это странно, я терпеть не могу современную гей-культуру, хоть и сам хожу по клубам, но ведь кроме неё у Зайца ничего, наверное, и нет, а чтобы приучиться к прекрасному, нужно время и хороший наставник. Готов ли я стать таким поводырём? Почему бы нет.

После ужина Заяц бросился убирать со стола, но я притянул его к себе, усадил на колени. Он был мягкий, мускусный, я возбуждился, но в постель его не потащил, хотелось посидеть немного, обнявшись, обменяться теплом. Он прижался мордочкой к моей шее и зашептал на ухо, что он очень-очень счастлив, что я есть и что я приехал, что он всегда был таким одиноким, все его бросали, он так неуверен в себе, а со мной он воспрял духом, поднялся, ему нравится жить. Сколько же переживаний может быть в этой головке, как он с этим справляется? Я обнял его крепче, мне подумалось, что и я, я тоже немного воспрял духом после домашних грибов и мне понравилось жить. Громкие слова ещё не были произнесены, но я знал, что Заяц влюблён в меня, и если раньше это стало бы поводом для расставания, теперь грело душу.

Заяц такой домашний: кормит меня ужинами, рассказывает о родителях — скромных работниках железной дороги в забытом богом месте, откуда ему повезло вырваться. Он совсем ребёнок — покрывало

с пантерой привёз из дома и заворачивается в него каждый раз, когда ему одиноко. Оно пахнет его комнатой, мамой. Денег у родителей брать не хочет, но они передают через родственников вместе с закрутками, которые Заяц откупоривает в исключительных случаях — бережёт мамин труд. Он сыплет цитатами из мультиков, многие из которых я не смотрел, а другие не могу вспомнить. Все смешные или грустные истории, анекдоты к вину связаны у него со школой, максимум с институтом. Он был неприметным, несимпатичным подростком, его не обижали, но считали чужим. Единственная его подруга переехала с ним в Москву, они вместе снимали квартиру, потом она съехала к парню, а Заяц снова оказался преданным и одиноким. Он до сих пор видит себя толстым, некрасивым, асексуальным, я разубеждаю его. Мне всё больше нравится заниматься с ним любовью, я приучил его не кончать слишком быстро, он смущённо делится со мной мазохистскими фантазиями, которые я охотно исполняю. Помимо моей воли во мне растёт эта страсть к насилию, обычный телячий секс кажется теперь пресным. Я стегаю его по ягодицам, луплю со всей силы по щекам, от каждой пощёчины он вздыхает, будто его окатили ледяной водой, а потом улыбается и шепчет: «Ещё»; я выкручиваю ему соски, прикусываю мочки ушей — всегда балансируя на грани, кажется, ещё немного и шматок растерзанной кожи останется у меня в зубах, а зелёные драконы на белых наволочках раскровенят китайские огненные языки. Так приятно наблюдать за ним, изучать его дрожащие ноздри, приоткрытые губы, прикрытые веки, жёстко трахать его, так что

он в забытьи стонет матом: «Блядь, о-ох, блядь», — и вгрызается в подушку, я понимаю, что он близок, ускоряюсь, мы вместе громко кончаем, я ложусь на него и хохочу. Я и думать забыл о вирусе и только не позволяю ему спускать мне в рот, хотя вообще люблю кислотатый вкус молодой спермы. Так хорошо развалиться потом в кровати, пристроиться носом к его ноздрям, вдыхать одновременно с его выдохом, вспомнить, что так же пах отчим, почувствовать себя маленьким, улыбнуться, отодвинуться, любоваться им в тусклом свете ночника. Его матовая кожа источает тепло, если провести рукой на расстоянии пары миллиметров, не касаясь её, ладонь щекочут невидимые волоски. Он и сложен по-детски: неразвитая мускулатура, немного жирка на животе, это делает его притягательней. Есть в его средневековых формах что-то от Венеры Кранаха — стыдливо-страстное, будоражащее, запретное.

На работе тем временем совершенный цирк. Я собрался уже писать заявление, но в первый же день после скандала Лариса... извинилась. «Ив, родной, ну ты понимаешь ведь, что я ничего не хотела... Против тебя лично и вообще. Извини старую дуру, давай мириться», — сказала и протянула мизинец. После обеда ко мне подошёл ненавидящий Ларису Вася, похлопал по плечу, пожал руку со словами «Молодец, старик. Уважаю». Остальные ведут себя, будто ничего не произошло. Я с подозрением прислушиваюсь к каждому шороху, анализирую шутки, взгляды, улыбки, но придраться не к чему. Мой coming out стал данностью, о нём забыли. За обедом темы гомосексуализма больше не поднимаются, Лариса

не только перестала хохмить на эту тему, но и однажды высказалась против депутатов-гомофобов, не дающих жить простым людям. Остальные её, правда, не поддержали, так что я думаю, исключение сделано лишь для меня, другие геи по-прежнему заслуживают пулемёта.

К Зайцу приезжала мама, оставаться у него было невозможно. К тому же Иве нечего было носить, вещи Зайца были тесны, каждый день приходилось стирать одну и ту же рубашку, сушить её на батарее и в спешке утюжить с утра. После работы он поехал домой, осторожно открыл входную дверь. Темноту прихожей разрезал софит абажура из гостиной, Ива несколько мгновений не решался войти, стоял на пороге, как опоздавший на представление зритель, что стесняется пробираться к своему месту. Матерщинный бас гремел на фоне женского сопранового плача. «Вы что, блядь, здесь устроили? Вы, блядь, совсем охуели? Это, блядь, за гранью добра и зла! Что ты смотришь, сучонок? Ты что себе думаешь? Тебе, блядь, всё так просто сойдёт, как всегда? Ничего тебе, паскуда, не сойдёт! Давай, собирайся, мразь». Ива, не раздеваясь, тихо вышел из тени, все замолкли и посмотрели на него. Одетый в Ивины спортивные шорты и майку Джастин забился в угол дивана и устался в пол, дёргая головой. Щёки его пылали, чёлка закрывала глаза, голые угловатые плечи торчали необрубленными сучками, белыми дрожащими пальцами он вцепился в колени, спружинился. На фоне розовых ягодиц уплывающего Харона заплаканная Марья Акимовна, в огромном платке, но без пальто держала в вытянутых руках красный пуховик Джастина. Посреди комнаты возвышался синелицей седой мужчина, больше похожий на американского миллионера, чем на русского генерала. Напоминающее

солдатскую шинель жёсткое пальто его распахнулось, коричневая жижа стекала с ботинок на иранский ковер, осуждающий перст указывал на Джастина. При появлении Ивы генерал опустил руку и отвернулся от сына. «Здрасьте», — еле слышно произнёс Ива. Генерал хмыкнул, отвернулся и продолжил, будто Ивы тут не было: «Так, блядь, давай, вставай и поехали. Я тебя уговаривать не буду, я тебе, блядь, не мамочка, чтобы у твоих ног тут неделю валяться и умолять вернуться. Нашёлся мне, сука, блудный сын. Встать, я сказал!» — рывкнул генерал, Джастин вздрогнул и ещё сильнее сжал пальцы. Отец разъярился, шагнул к Джастину и схватил его за ухо, Марья Акимовна заверещала, как плакальщица на похоронах, Джастин вскрикнул от боли и тщетно попытался вывернуться. Ива вдруг одним прыжком подскочил к генералу и схватился за его кисть, Марья Акимовна завывала ещё громче, генерал толкнул Иву в грудь, отпустил Джастина и ударил Иву по лицу. От боли ёкнуло в груди, Ива схватился за щеку и плюхнулся на диван.

— Я в полицию позвоню, — прохрипел он.

— Ага, пидор, звони в полицию. Я тоже позвоню и засажу тебя лет на двадцать за педофилию. Давай, блядь. Где тут телефон у тебя?

— Ладно, ладно, хватит. Поехали, — выпалил вдруг Джастин, вскочил и опрометью бросился из комнаты. Родители вышли следом.

Тишина. Ива скинул на пол пальто, стряхнул ботинки, достал лёд из морозилки, приложил его к опухшей скуле и лёг на диван. Что теперь будет с Джастином? Он обрадовался, что остался один, но под ложечкой сосало: как управится неладный под-

росток с громилой генералом? Наверное, запрут его в четырёх стенах, отберут телефон, постригут и будут ежедневно скандалить. Папа будет материться, мама — плакать и закармливать борщом, уговаривая подчиниться, пойти на компромисс, смириться. И ведь нет закона, который ограждал бы детей от их родителей. Ребёнок — вещь, можно делать с ним что угодно, главное не прибить. Но, может, так и нужно? Родители ведь, как это ни банально, радеют о его пользе. Да, система их ценностей устарела, они ломают юный характер, учат его подчиняться условностям, привычкам, кутюмам. Но ведь уметь жить среди людей с их предрассудками и шорами — важная наука, и постигать её приходится именно в этом нежном возрасте. Кому нужны революции, взрывы, бунты? Не лучше ли точить старую мораль исподтишка, постепенно размывая привычные границы дозволенного, так что общество не замечает, как начинает признавать то, что вчера казалось диким, жить по новым лекалам. Генерал не изменит сексуальности своего сына, но научит его быть хитрым, добиваться своего не на баррикадах, а в тиши кабинета, в некотором роде быть как все, как Ива, как его друзья, которые не афишируют, не рассказывают, но это не мешает им жить полной жизнью, заводить семьи, развлекаться, любить. Зачем провоцировать окружающих, если и без этого нормально?

Ну а если он в свои 13 лет знает, что родители неправы, и не желает идти на компромисс, потому что хочет жить честно? Да-да, он не любит лгать, ищет настоящей любви, ему претит измена, он презирает тех, кто обманывает других, но ещё больше тех, кто

обманывает себя. Он не может снова надеть смело снятую маску. Он несёт в мир новое слово, ему не внимут его родители, ибо глухи, но его могут слышать другие подростки, да и даже, вот, Ива. «Если приходит свет, тогда зрячий увидит свет, а тот, кто слеп — останется во тьме», — вспомнил почему-то и задумался: он-то сам слеп или просто во тьме? Джастин верит в царство искренности и правды, он готов сделать всё, чтобы построить его, и он решил начать с себя, перестав лгать. И тут он сталкивается с тяжёлой общественной машиной, которая говорит: «Нет, голубчик, так не пойдёт. Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Мир не может существовать без лжи и ханжества. Сделав его честным, ты разрушишь его. Нет страшнее оружия, чем истина». И ребёнок сбегает, ибо у него хватило отваги объявить правду, но недостаточно сил, чтобы бороться за неё, его костлявые плечи слишком слабы, он может лишь забаррикадироваться и ждать, пока минет буря. Но его звезда взойдёт. Сам Джастин, может, и проиграет эту битву, но станет очередной струёй воды, точащей камень традиций.

Иве стало невыносимо стыдно перед Джастином. Зачем он позволил увести его, почему не позвонил в полицию, не устроил крик, что над ребёнком издеваются. Может, можно их лишить родительских прав и найти опекуна? Не Иву, конечно, но должны же быть какие-то вменяемые родственники. А что если генерал каждый день бьёт его до полусмерти, и Джастин лежит потом, свернувшись калачиком, в синяках и кровоподтёках? А что Ива сделал за свою жизнь, чтобы облегчить участь таких Джастинов?

Пропускал глупые шутки про педиков? Не рассказал Ларисе, уверенной, что она никогда не видела геев, что она уже несколько лет обедает с одним из них пять раз в неделю? Потакал предрассудкам, слухам, средневековым верованиям, серости и темноте человеческой, хотя мог спорить, переубедить примером своим? Ива — не журналист и не писатель, он не мог влиять на массы, но ведь мир складывается из деталей, и если многие такие, как Ива, начали бы проповедовать толерантность к ним самим, то многие такие, как Лариса, увидели бы, что Ива — не маньяк, не шизофреник, не опасный извращенец, а обычный парень. Лёд растаял и стёк на диван, Ива вытер руку о джинсы и решил, что во имя Джастина будет жить честно отныне и вовеки.

Мы съехались с Зайцем. Официально я его не приглашал, но так вышло. Каждый день он ночевал у меня, а потом заезжал домой переодеваться перед работой. Смысла в этом не было, и я предложил ему перевезти какие-нибудь вещи. Он примчался с небольшой спортивной сумкой и початой банкой маминых грибов, смущённый, счастливый, краснощёкий. Он старается. Моет посуду, не доверяя посудомойке, готовит, не заговаривает со мной по утрам, зная, что мне нужно время, чтобы прийти в себя и прочитать газету, а вечером, когда я сижу с книгой, подкрадывается на цыпочках, ластится, сворачивается у меня на коленях, как кот-мурлыка, что ждал весь день, пока его потреплют за ушком. Прошло не так много времени, но я привык к нему. Я даже перестал встречаться с другими парнями: времени нет, да и не тянет. К тому же я знаю, что Заяц ни с кем мне не изменяет, и не решаюсь нарушить эту чистоту: в моногамию я не верю, но всему своё время.

Мне хорошо с ним, я скучаю без него, но «была ль любовь»? Я никак не могу приучить его читать, он сидит со скучающим видом нерадивого студента, когда я ставлю классическую музыку, и на мои страстные тирады о том, как у меня мурашки бегут по коже от второй сюиты для двух фортепьяно Рахманинова, отвечает дежурным «о вкусах не спорят», да включает мне клипы с полуголыми русскими девицами, что извиваются на капотах дорогих авто в подражание Мадонне и Леди Гаге. Он не понимает моего юмора, не

ловит моих цитат, не стесняется спросить, кто такие Фрейд или Лорка, но запоминает всё, что я объясняю ему. Меня же иногда бесят его шутки, я стараюсь не подавать виду, но он замечает это, тушуетя и плачется потом, что боится наскучить мне, что он не стоит меня — такой необразованный, неначитанный. Я успокаиваю его, шепчу, что это неважно, мне хорошо с ним. Распластавшись на постели после секса, глядя в чёрный потолок, я читаю ему стихи. Он завожённо слушает, боясь перебить, а когда я забываю об этой нашей традиции, молчит выжидательно, но не выдерживает и спрашивает: «А что, стиха не будет сегодня?» Лорка, Галчинский, Есенин, Пастернак, Бодлер, Полозкова, Рембо, Ахматова, Бродский, Бродский, много Бродского — всё для него открытие, поэзия трогает его маленькую душу, но почему-то не заставляет открыть книгу. Кажется, он видит во мне недоступный идеал, к которому, вроде как, можно стремиться, но он так далеко, что человеческой жизни не хватит, чтобы покорить эту вершину.

Я свыкся с семейной рутинной и подумывал предложить Зайцу перестать платить за его квартиру и переселиться ко мне окончательно, но через пару недель в мою, теперь уже нашу жизнь, снова вторгся Джастин. Он ждал меня у парадной в своём красном пуховике, переминаясь с ноги на ногу от мороза. Заяц ещё не вернулся с работы, мы снова оказались на кухне: Джастин на стуле под греками за моей спиной, я с бутылкой красного вина и чайником у разделочного стола.

— Опять сбежал?

— Мм.

- И что теперь?
- Не знаю.
- Приедут ведь снова за тобой.
- Наверное. Я ненадолго. Мне на пару дней вписаться.

Из неразговорчивого Джастина приходилось вытягивать слово за словом. Его и правда посадили под домашний арест, лишили телефона и компьютера, поменяли замок на входной двери. Его не били — отец вовсе с ним не разговаривал, мать тихо плакала, уговаривая повиниться и попросить прощения. Через неделю решили отправить в школу, но под конвоем, чтобы не сбежал. Одноклассники, увидевшие, что мама приводит Джастина и встречает после уроков, подняли его на смех, монетами больше не бросались, но придумывали новые издёвки. Последней каплей стало ведро помоев, которое вылилось на Джастина с крыши школьного крыльца прямо на глазах купчихи. Я представляю себе, как неприятно замерзает на коже зловонная холодная жижа, как стекает по спине, хлюпает в набрякших ботинках, как противно идти домой, как ненавидишь за это родителей. На следующий день Джастин ушёл после первого урока и поехал в Москву на электричках, пять часов просидев на одной из станций в здании старого неотопливаемого вокзала. Он собирался в Благовещенск, где, как он слышал, была коммуна хиппи и бродячих артистов. Я сказал, что он явно прогуливал географию и слабо представляет, где находится Благовещенск. Он смущался, но упорствовал. Пошёл в туалет и вернулся в наручниках и с дебильной улыбкой на лице (мы с Зайцем трахались вчера в ванной и я приковал его

к батарее). Мне стало немного неловко перед ним. Расстегнул brasлеты и спрятал их в спальне.

Через полтора часа появился Заяц, вошёл на кухню, удивлённо сощурился. Я представил их, они с недоверием поглядели друг на друга, пожали руки. Заяц обнял меня по-киношному, как героиня военной драмы, что бросается в объятия вернувшегося с фронта мужа, и принялся нарочито подробно рассказывать о том, как прошёл его день. Джастин молчал, смотрел в угол и дёргал шеей, я всё никак не мог понять, что же с ним не так, пока не дошло: телефона не было. Заяц изменил своей привычке и ужина готовить не стал, я не настаивал и нарезал сыра. Стоило Джастину выйти в туалет, как Заяц сделал большие глаза и спросил одними губами: «Кто это?» Я отмахнулся: потом, мол, расскажу.

За столом Заяц не умолкал, травести шутки сыпались одна за другой. Джастин насупился, я лениво улыбался, Заяц то и дело показательно трогал меня то за мочку уха, то за колено. Мне это было смешно, как можно ревновать к 13-летнему ребёнку? Впрочем, Заяц и сам ребёнок, вот уж я развёл детский сад.

Я выдул один почти целую бутылку, опьянел, устал, предложил ложиться.

— Так, вопрос, который меня больше всего волнует: ты спал с ним? — протараторил Заяц в постели.

— С ума сошёл? Ему 13 лет!

— А выглядит на все 16.

— Заяц, ну я бы и с 16-летним не стал спать.

Пришлось всё рассказать ему и долго оправдываться, почему в прошлый раз врал, что ко мне приезжали родственники. Заяц, кажется, ничему не поверил, но сцену устраивать побоялся.

— Да он влюблён в тебя, как кошка, этот твой Джастин-хуастин, — шептал обиженно. — Смотрит на тебя, как на бога. Это же очевидно. А тебе нравится, наверное, что все в тебя влюблены?

— Кто это все? — игриво спросил я, на что получил очень серьёзный ответ.

— Я, Ива. Я очень тебя люблю. Я никому раньше не говорил таких слов, мне это сложно, я боюсь влюбиться и потом страдать. Но я не могу больше держать это в себе и хочу, чтобы ты знал, — на одном дыхании пробормотал Заяц и зарылся носом ко мне в подмышку.

— И я, Заяц. Мне кажется, я тоже тебя люблю, — нежно ответил я, поцеловав его в макушку. Он встрепенулся и счастливо посмотрел на меня.

— А можно тебя попросить кое о чём?

— Ха-ха. Замуж взять?

— Не-ет.

— Ну, что такое?

— Я... Я такого никогда ни с кем не делал... Но мне хочется... Чтобы ты на меня помочился, — высказал сокровенное, снова спрятался смущённо, подышал щекотно, высвободил моську, залопотал. — Ну не сейчас... Когда будет желание.

— Хорошо, милый Заяц. Как скажешь.

Ива всё думал о своём признании: был ли он искренен или пошёл на поводу у Зайца? Влюбиться в мальчишку на 10 лет младше? Невозможно. Заяц был дорог ему, но если бы он ушёл, Ива, пожалуй, расстроился ненадолго, а потом включил бы Хорнет и принялся за старое. Но обязательна ли любовь для отношений? Все ли живущие вместе люди испытывают то красивое и нежное чувство из стихов и романов? Может, это и не важно вовсе, главное ведь быть счастливым: если двоим хорошо под одной крышей, какая разница, как это называть.

Ива задержался на работе допоздна: в цейтноте заканчивали большой проект. Заказали пиццу и пиво, ужинали всем офисом, запихивая в рот жирные тягучие куски. Ива разошёлся, рассказывал что-то смешное, Лариса помадно хохотала, сжимая руками прыгающие под обтягивающей блузкой груди. Вышли вместе, ночь осыпала гроздьями острых рисовых льдинок, празднично сверкнувших в ярком луче фонаря. У церковной стены столкнулись с четырьмя фигурами в тёмном, они окружили Иву и его коллег, вытянули безликие ксивы, один назвал фамилию-имя-отчество Ивы. Оцепенение, молчание, испуг. Ива сделал шаг из толпы: «Да?» Тут же его крепко схватили, заломали руки, ледяные наручники щёлкнули, впиваясь в запястья, кто-то больно ткнул кулаком в бок, так что перехватило дыхание. Лариса громко ахнула, и вот Ива уже бежал на полусогнутых ногах под аркой, и вот двое стиснули его на заднем

сиденье легковой машины, по-хозяйски взвизгнувшей тормозами.

Иве вдруг стало истерически смешно. Так же смешно, как после оргазма. Так же смешно, как на рейсе Франкфурт — Москва, когда у Боинга загорелся двигатель. Самолёт кидало из стороны в сторону, он проваливался вниз, кренился на бок, по проходу перекатывалась сорвавшаяся тележка с ужинами, спортивная команда бразильских девочек-подростков орала хором при каждом вираже, Игорь, с которым они последний раз тогда летали в отпуск, до синяка вцепился в его ногу, а Ива смотрел в окно на безразличную ночь и хохотал, не в силах остановиться. Он мысленно уже погиб и видел всё со стороны: белого от страха Игоря, нелепого немецкого стюарда, что пытался прихватить тележку, когда она с грохотом проносилась мимо него, но вставать он не решался, сил удержать её не хватало, самолёт неожиданно задирает нос и она всякий раз уворачивалась. Ива находил бесконечно забавным, что сейчас они войдут в пике и всё — конец, хоть кричи, хоть впейся в колени. Вот и теперь прыщавые лбы с ветерком везут его по ночной Москве, а Лариса бежит сквозь мороз, чтобы побыстрее засесть за телефон и начать названивать подругам и родственницам, рассказывать о происшествии, внезапно разукрасившем её стародевичью жизнь.

Машина затормозила, повернула вправо, влево, въехала во двор и резко остановилась. Ива не удержался, наклонился вперёд и плюхнулся бы неуклюжим тюленем между передними сиденьями, если бы полицейский не обернулся и не толкнул его ладо-

ню в лоб, вернув на место. Один из оперативников выволок Иву из салона, процедив недовольно: «Давай, блядь, шевелись». Не снимая наручников, его ввели в четырёхэтажное советское здание. Смешно больше не было, стало страшно. Миновали сонного дежурного, поднялись по лестнице, зашли в одну из многочисленных дверей длинного жёлтого коридора, сняли наручники, усадили на стул. Офисный стол с компьютером, старинный коренастый сейф, на котором высилась стопка папок с бумагами, аляповатый календарь ФСКН на отделанной серыми пластиковыми панелями стене, грязное окно с белым бельмом решётки. Зашёл следователь — статный, красивый, голубоглазый мужчина, он был ещё молод и только начинал полнеть, Ива подумал, что лет через пять он превратится в борова, но пока был записным красавцем. Он хмуро поздоровался, сел за стол, откинулся на спинку чёрного стула, какие стоят в коридорах поликлиник, сложил на столе руки замком и надменно осмотрел Иву с высоты своего служебного положения и физического превосходства.

— А что, собственно?.. — заикнулся Ива, но следователь перебил его.

— Фамилия, имя, отчество — начал он, разбудив компьютер и принявшись выстукивать Ивины ответы.

— Иван Захарович, вас задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего Новожилова Максима Михайловича. Он рассказал нам, что вы похитили его в Петербурге, привезли в Москву, избивали и насиловали в течение двух недель.

Подросток в шоковом состоянии, сейчас проходит лечение. Вы подтверждаете данные факты?

— Нет. То есть, да... Максим жил у меня на самом деле, он из дома сбежал. Но никакой сексуальной связи не было!

— Это следствию решать, была связь или не было! — следователь помедлил и заговорил бюрократически-фамильярно. — Так, значит. Я тебе предлагаю оформить чистосердечное признание, тогда суд может проявить снисхождение. Пока что по статье сто тридцать второй, часть четвёртая, пункт Б тебе грозит до двенадцати лет лишения свободы. Если же будут доказаныотягчающие обстоятельства, то до двадцати лет лишения свободы. Так что я бы на твоём месте подумал и всё рассказал начистоту, — опять помолчал, глядя куда-то за голову Ивы. — Тебе в таком случае скостят срок минимум вдвое, а там выйдешь по УДО. Года три отмотаешь — и ту-ту. Так-то доказательств на тебя до хуя, мы тебя закроем на полжизни. Ну и вообще — на зоне таких как ты не любят... Мягко говоря. Когда узнают, что пидор, да и сатью, будешь жопой весь барак обслуживать — надо оно тебе? А мы можем посодействовать, чтобы ты попал в спокойное место, тихо отсидишь и выйдешь живым и здоровым. А может, вообще отделаешься условным. Положись на моё слово офицера. Если же откажешься сотрудничать, я за тебя не ручаюсь... Ну что, будем сознаваться? — Ива с ужасом посмотрел на него и мотнул головой, в горле пересохло, не было сил сказать, что сознаваться ему не в чем. Следователь вздохнул, вытащил сигарету, закурил. — Итак, когда и при каких обстоятельствах

вы познакомились с потерпевшим Новожиловым Максимом Михайловичем?

Ива сбивчиво рассказал историю знакомства с Джастином, стараясь вспомнить точные даты, хотя в голове всё перемешалось. Следовательно музыкально стучал по клавишам и то и дело неуютно смотрел на Иву.

— Вступали ли вы ранее в гомосексуальные связи?

— Нет. То есть, да. Я гей. Я в них вступаю постоянно, — неожиданно твёрдо ответил Ива. Следовательно глянул на него с некоторым отвращением.

— Вступали ли вы ранее в сексуальную связь с несовершеннолетним?

— Нет, никогда. И с Максимом никакой связи у меня не было.

— Ага, разумеется.

— Послушайте, это всё наговор его родителей и я...

— Говорю тут я, а ты отвечаешь на вопросы, ясно? Оказывал ли сопротивление Новожилов Максим Михайлович, когда вы впервые попытались вступить с ним в сексуальную связь?

— Да я же говорю, ничего не..! — отчаянно крикнул Ива, которому не хватило воздуха, чтобы выговорить последний глагол.

— Сколько раз, каким образом вы вступали в сексуальную связь с потерпевшим?

— Вы издеваетесь надо мной что ли? — тихо протянул Ива, следовательно треснул по столу холёным кулаком.

— Я тебе поиздеваюсь сейчас, ёбаное говно, отвечай на вопросы! Сколько раз, каким образом вы вступали в сексуальную связь с потерпевшим?

— Нисколько, никаким образом я с ним ни в какую связь не вступал, — почти проплакал Ива, готовый упасть на пол и забиться в судорогах, так абсурдно было всё, что происходило в этой душной серой комнате.

— Оказывал ли сопротивление потерпевший всякий раз, когда вы вступали с ним в сексуальную связь?

— Нет!

— Значит, не оказывал?

— Не оказывал, нет. Не было никакой связи.

Допрос длился несколько часов. Голубоглазый ходил кругами, возвращался к уже заданным вопросам, кричал, успокаивался внезапно, курил без конца, так что Ива перестал даже видеть его в клубах сигаретного дыма, и всё стучал, стучал. Ива выдохся. Он твёрдо решил не признаваться в том, чего не делал, но не был уверен, что же было на самом деле. Может, и была сексуальная связь? Вдруг он забыл? Где грань между правдой и вымыслом, в какой момент сказка становится былью?

— Вот протокол опроса, ознакомьтесь и подпишите, — сказал, наконец следователь.

Ива подмахнул бумаги, хотелось домой, к Харону и перуанскому пледу, и чтобы Заяц сопел на коленях. Двое стражников вывели его из здания, посадили в другую машину, один оперативник повёз его по пустынной Москве, Ива отключился и всю дорогу проспал. Когда приехали, полицейский ушёл, пристегнув Иву наручниками к ручке двери. Кого-то не было на месте, пришлось ждать, Ива снова закрыл глаза, стараясь отвлечься от страха, сжимавшего кишки. Его вывели наконец, завели в обшарпанные двери,

сдали сотрудникам в серой форме. Те подержали его немного в коридоре и отправили в продолговатую комнату с зарешённым окном, скамейками по периметру и школьной партой в центре. Старый лысый вохровец выверенными движениями прошёлся по Ивиным карманам, выложил на стол телефон, смятые деньги, кредитки, попросил Иву снять ремень и расшнуровать ботинки, переписал изъятое в протокол, Ива подписал его, не читая. Вывели, поднялись по грязной лестнице, втолкнули в большую камеру с деревянными двухъярусными нарами вдоль стен, на которых спали семеро мужчин, лишь один из них приподнял голову, сонно глянул на Иву и отвернулся к стенке.

Ива присел на свободную постель — шконку, забытое слово из гулаговских мемуаров вдруг всплыло в голове. В общем-то, это были голые доски, матраса Иве не выдали. Он скинул цинготные ботинки без шнурков, сел, прислонившись спиной к стене, поджал ноги под подбородок. Спать расхотелось.

«Наверное, так обычно и бывает. Они должны найти доказательства моей невиновности, — судорожно думал Ива. — Всё это враньё, что Джастин на меня заявил. Не мог он. Наверное, им поступил звонок от блядского генерала, меня допросили, теперь они поговорят с Джастином, тот подтвердит, что ничего не было, недоразумение станет очевидным, и меня отпустят. А если нет? Если они поверят не подростку, но папе? Но он же должен рассказать о каких-то физиологических особенностях, а он меня даже голым не видел. Или нет, видел — в трусах после ванной. Ну не будет же он давать ложные показания. А если

заставят? Впрочем, вряд ли», — решил Ива, вспомнив упрямого Джастина на диване в гостиной, упорствующего перед всемогущим отцовским перстом. Ива успокоился: опасаться нечего. Отсутствие состава преступления — так, вроде, это называется. Он ещё в суд подаст за клевету, и у них не прокатит сценарий, как у Оскара Уайльда. Вот только с работы придётся уволиться. Ива улыбнулся: вот бы теперь зачекиниться, жаль, телефон отобрали. Никогда бы он не подумал, что окажется в настоящей тюрьме, никогда он не нарушал закона и даже за рулём старался соблюдать правила: из чувства гражданской ответственности. Вот только разве трава, но это условное нарушение, к тому же не антисоциальное, во многих странах марихуана легализована. Ива задумался над этимологией слова «косяк». Изначально был дверной косяк. Его так называли, наверное, потому, что косяки в избах не были прямыми. Рыбы плавают косяком и журавли летают косяком — из тех же соображений. А потом появился «косяк» в смысле ошибки, когда кто-то «накосячил» — семантика та же: косо всё пошло, неправильно, вот и получился косяк. И вот вам закрученный в папиросную бумагу косяк с марихуаной, смешанной с табаком для экономии и вкуса — от него люди становятся косыми, накуренными. Когда Ива крутил косяки, он косячил, потому что руки из жопы, но после выкуренного косяка главное не удариться о косяк, иначе всё пойдёт наперекосяк. Его арест, безусловно, полицейский косяк — нельзя же без проверки хватать всех подряд.

Больше от осознания того, что пора спать, чем от усталости, Ива снял пиджак, свернул его трубочкой,

подложил под голову и лёг на бок, накрылся пальто, стиснул коленями холодные ладони. В голове шумело, жёсткие доски ломили спину, царапали корой кожу через одежду, листья в саду зловеще шуршали. Ива отпихнул ногой камень, резавший ступню, и ему стало спокойно и светло, как в детстве, когда сидел в тени берёз на даче, наблюдая за пасущимся на лугу библейским стадом деревенских коров. Вдруг подул восточный ветер, взлохматил Ивину шевелюру, сад заголосил, зазвенел калёным металлом, затопал сандалиями по сушняку. «Пришли», — подумал Ива, но не шелохнулся, решил чуть полежать напоследок. Огни приблизились к нему, ослепили, он ухватился за чью-то руку, поднялся. Появился Заяц. Ива обрадовался ему, поцеловал в губы без стеснения, не обращая внимания на людей вокруг. Он ждал, что тот стыдливо отшатнётся от него, но Заяц пристально всмотрелся ему в глаза и сказал беззвучно: «Линзы. Ты носишь линзы, слепенький ты мой». К ним подошли, расставили, разъединили, заломили больно руки, повели. Ива не понимал, зачем применять силу, он бы и сам пошёл. В глазах потемнело, громко прокукарекал петух, потом снова. Ива с трудом поднял веки, в камере стоял неприятно улыбающийся долговязый полицейский с телефоном в руках, из которого доносился петушиный крик: «Подъём, соколики. Жалобы, просьбы есть?» — бодро спросил он, жители камеры заворочались и по очереди сели на шконках. Жалоб не было.

Принесли завтрак — манную кашу, хлеб, сладкий чай. Иве казалось, что в тюрьме должны кормить плохо, но всё было сносно. Народ разговорился. Одно

парня привезли из ночного клуба, он с кем-то подрался, но ничего не помнил, говорил туго, с похмелья не стал даже есть, но хотя бы не блевал — не огороженный ничем туалет соседствовал с Ивиными нарами. Двое попались на наркотиках, оба божились, что не торговали, а много брали для себя. Похожий на попа бородатый пузач оказался бухгалтером, он не очень понимал, как его занесло в изолятор, сопел и глядел на остальных с опаской. В углу камеры лежал бездомный, от него сильно воняло, но его вывели сразу после подъёма и, наверное, выкинули на улицу. Ива отмалчивался, решив, что ему повезло: не попал в камеру к настоящим бандитам. Ива боялся зэков, но был уверен, что он здесь ненадолго, дали бы только матрас и одеяло, да и надо было связаться с братом. Он всё смотрел поверх нар, где серый потолок горизонтом смыкался с грязной стеной, на вопросы отвечал неразборчиво, сокамерники решили, верно, что он не совсем в себе и отстали от него. Все, как и Ива, были немного пришибленные, только барыги начали толкать байки о том, что с каждым случалось по обкурке, а после перешли на баб и тут уж не обошлось без шуток про пидоров, которые Ива, как обычно, пропускал мимо ушей. Всё это напоминало посиделки у костра на даче, не было только пива. Поп бухгалтер, не принимавший участия в беседе по наркотики, потихоньку ввязался в диалог про женщин, тоненько подхихикивая солдатским сальностям пацанов.

— Короче, мы с кентом трахали на двоих одну чикку, пока муж был на работе. Она, сука, ненасытная, ей чем больше вставишь, тем лучше, — пригогатывая рассказывал прыщавый, низкорослый, стриженный

ёжиком парень. — И прикиньте, у нас был один гондон на двоих, мы его юзали по очереди, а потом мой кент вынимает, а гондона нет. Ну, думаем, хуй с ним. Так оказалось, он у неё в пизде застрял, а муж потом нашёл! Во был скандал! Но она, сука, находчивая: соврала, что баловалась резиновой елдой, а в гигиенических, бля, целях, надевала на неё гондон. Ну муж спрашивает: где елда? В смысле резиновая. Она: подружке одолжила. Он: принеси покажи. Она, типа, хуё-моё, дозвониться не могу, короче, отправила подругу за резиновым хуем, та купила и они обоими семействами устроили, бля, симпозиум — что за еблiviцы такие озабоченные, что им мужиков не хватает. Ооо, бля, когда она мне это рассказала, я чуть не умер, блядь, сука.

Пришёл полицейский с петухами, вызвал Иву, снова отвезли его на допрос к тому же следователю — он выглядел выпавшимся и свежим, на мочке уха чернела засохшая капелька крови: бритвой что ли порезался? Следователь прозрачно поглядел на Иву и начал задавать те же вопросы: имя, место жительства, род занятий. Допрос он вёл ровно, не кричал, но с Ивы почему-то не сняли наручники. Ива решил, что следователь вежлив, потому что стала очевидна его невиновность, попросил расковать его — руки затекли, но следователь будто не услышал просьбы, Ива решил, что таков порядок.

— У тебя в холодильнике при обыске нашли десять грамм каннабиса — сказал следователь и выложил на стол полиэтиленовый пакет с жёлтым пластмассовым стаканчиком из-под детских мелков, в котором Ива хранил траву. Он герметично закрывался,

а крышку при необходимости можно было использовать в качестве пепельницы.

— Да. Это моё, — обречённо вздохнул Ива.

— У кого, при каких обстоятельствах ты приобрёл данные наркотические средства?

— На улице, — соврал Ива, чтобы не выдавать дилера.

— Когда, на какой улице?

— На Арбате, дня три назад, — ответил Ива, и рассказал, как выглядел воображаемый барыга.

— Данные наркотические средства были приобретены с целью последующей перепродажи или для личного пользования?

— Для пользования.

— Так и что же, когда пацана ебал, давал ему курнуть сначала что ли?

— Да нет же! — воскликнул Ива. — Он же ребёнок ещё! Никого я не ебал.

— Курил в его присутствии?

— Нет. Не помню. Не знаю.

— Так. Меня, блядь, заебали твои провалы в памяти, гондон! — заорал вдруг, поднялся, подошёл вплотную к Иве, навис угрожающе. Ива скукожился, вжался в стул, ждал, что ударит его, а и не закрыться скованными руками.

Следователь кричал, ругался, грозил, что Иву теперь же избыют, а на ночь кинут в камеру к уркам, и те пустят его по кругу, и так будет каждый день, пока не признается. Он то садился за компьютер и задавал ничего не значащие вопросы, Ива старался отвечать на них максимально подробно, то вскакивал и кружил по кабинету, становился за спину Ивы,

орал ему в ухо, но почти не притрагивался к нему, будто Ива был идолом, вокруг которого камлает шаман. Ива остолбенел, конечности затекли, он не чувствовал рук и ягодиц, он надеялся даже, что следователь ударит его, чтобы проверить, что жив — но это ожидание боли, унижения заставляло внутренне сжиматься каждый раз, когда следователь приближался к нему. Иве было страшно, очень страшно, хотя он до конца и не верил: всё же не 37-й год, всё же не Северная Корея, не может такого быть. Следователь резко успокоился, поправил китель, вышел. Зашли двое конвоиров, Ива решил, что допрос закончился, от сердца отлегло. Один из парней пнул его в бок ногой, Ива упал вместе со стулом, стукнулся головой о батарею, тут же второй больно ударил его в живот. Ива скрутился, его подняли за шкирку, посадили на стул, вмазали кулаком в ухо. «Чтобы синяков не было», — успел только подумать Ива, чуть не потеряв сознание, вспомнил, как в школе пацаны из параллельного класса мутузили его иногда после уроков, впрочем, тогда били для веселья, сейчас — для страха. Его ударили ещё пару раз, слякотно харкнули в лицо и оставили сидеть. Что-то злое говорили они при этом, но Ива не разобрал, не запомнил. Его тошнило, кружилась голова, он размяк на стуле, вздрагивал, слышав шаги в коридоре, боялся, что сейчас вернутся его мучители, а он не был уверен, что не сломается и не подпишет всё, что требуют от него, он не любил боли и даже в детстве, обсуждая на уроках подвиги советских героев, со стыдом сознавался себе, что под пытками раскрыл бы врагу любые тайны.

Вернулся следователь, ковыряясь во рту зубочисткой — пообедал. «Ну что, Иван Захарович, не надумали ничего?» Ива мотнул головой. Снова начался допрос, опять те же вопросы, снова он то кричал, то говорил подчёркнуто вежливо, то матерился, то обращался на вы и по отчеству. Ива думал об одном: исполнит ли вторую часть угроз про урок. Он всё подпишет, признается хоть в убийстве. От мысли, что будут насиловать его, больно сжималось анальное отверстие — будто уже кто-то на сухую впихивал туда немытый член. «Вот откуда глагол «очковать», — подумал вдруг, но отвлёкся, не успев улыбнуться.

Следователь вышел, вернулся через несколько минут с одним из избивавших Иву конвоиров. Тот снял с Ивы наручники, непривычно чужие руки повисли плетью. В кабинет зашёл худой мужчина в сером, будто снятом с чужого плеча помятом пиджаке. «Иван Захарович, по закону вам полагается адвокат, — сказал следователь. Если у вас нет своего адвоката, вы имеете право на государственного защитника». Адвокат кивнул головой и неприятно пожал Иве руку, сел в угол, следователь по новой начал задавать те же вопросы. «Это хорошо, что адвокат, — подумал Ива. — При нём, наверное, не будут бить, ему можно будет пожаловаться, он защитит и от уголовников». Допрос закончился поздно вечером, следователь распечатал протокол.

— Иван Захарович, вам инкриминируется статья сто тридцать четвёртая, часть третья, уголовного кодекса Российской Федерации — половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также статья двести двадцать восьмая,

часть первая — незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта. Завтра состоится суд, на котором вам изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте сроком на два месяца, необходимые для проведения следственных действий. Распишитесь вот здесь, что ознакомлены с протоколом и возражений не имеете. Если хотите заявить какие-то ходатайства, можете сделать это сейчас.

Ива не понял, что за ходатайства, тупо подписал бумаги. Два месяца ударили обухом. Его, конечно, могут выпустить и раньше, но могут и продержать в тюрьме. Что это такое будет — два месяца с бомжами и наркоманами? Какие будут у него соседи? Может, и прибьют его за то, что он гей.

Следователь вышел, Ива остался наедине с адвокатом. Он с завтрака ничего не ел, голова кружилась, адвокат начал говорить, немного заикаясь, Ива сначала не слушал его, но потом чуть пришёл в себя.

— Иван Захарович, у следствия на вас много всего, случай ваш очень сложный... Но не безнадёжный, — Иву коробил его официозный тон, но звучал он убедительно, сидел рядом, больше у Ивы никого в тюрьме не было, на него одного оставалась надежда. — Я уже тридцать пять лет в адвокатуре и таких дел вёл немало. Я думаю, удастся скостить вам срок.

— Но я же ничего не сделал!

— Я понимаю, голубчик, да. Но что же делать. Доказательства есть, с ними не поспоришь.

— И что же теперь?

— На сделку со следствием вы идти не хотите?

— Это что такое?

— Признательные показания.

— Нет.

— Тогда всё сложнее. Понимаете, я и в рамках госзащиты буду вам помогать, но было бы лучше заключить с вами соглашение, чтобы мне, как говорится, был резон заняться этим посерьёзнее... Нужно будет покопаться в доказательствах, в Питер, может, съездить, поискать свидетелей. На это всё надо время, мне государство это не будет оплачивать. Но вы не бойтесь, это вам недорого будет стоить. А эффект будет значительный. У вас родственники какие-то есть, родители?

Ива согласился на договор, пожаловался на побои, дал адвокату электронный адрес брата, почувствовал, что спасён, поблагодарил мысленно мудрых людей, написавших благодатную книжицу под названием Конституция.

В камеру его вернули ночью, все спали. Снова ему не досталось матраса и пришлось устраиваться на пиджаке. С утра бухгалтера увели, вывели всех на прогулку на крышу, после обеда подселили молодого парня, что уселся на скамейке в позе лотоса, жирок навис над джинсами, распирая узкую водолазку. Он долго молчал, ковыряясь в зубах кривым мизинцем с длинным жёлтым ногтем, потом посмотрел на Иву: «Какими судьбами, дядя?» Ива пожал плечами — не знаю, мол. «Надо отвечать, когда с тобой разговаривают, братан, ты что, вопроса не слышал?» — хрипло продолжил парень, выковыривая что-то между клыком и резцом. «Да я не знаю. Правда», — ответил Ива и снова устался в тёмный угол, где поблёскивала от флюоресцентной лампы сиротская ниточка паутины. Парень поднялся и сел рядом с Ивой: «Слуш, ну

что, барыжил? Да ты не стремайся, тут все барыжили и все не при делах, — сказал он тихо и заржал на всю камеру. — Или за что другое, а? Ну, выкладывай свою делюгу». Ива не отвечал, ему была неприятна близость парня, он не хотел врать ему, но и правды боялся. Парень легонько ткнул его в бок, заныла спина. «Началось», — подумал Ива, решив звать на помощь, если будет бить, но его спас полицейский, который вызвал его, надел наручники и сдал конвою — его вывели на улицу и погрузили в похожую на маршрутку Газель.

Машина медленно тащи­лась по московским пробкам, трое полицейских без остановки болтали, Ива глядел в законную морось. Приехали, часа два ждали чего-то, конвоиры курили на улице. Наконец, вернулся старший, один из оперативников пристегнул Иву наручником к своему запястью, двинулись к суду. Ива чувствовал ребром ладони шершавую кожу полицейского, вспомнил прикованного к постели Зайца, ему захотелось созорничать и нежно взять конвоира за руку, была в этом невысказанная метафора: скованные одной цепью вечные братья — стражники и преступники, палачи и мученики.

Заседание прошло очень быстро, совсем не так, как представлял себе Ива. Его не посадили в клетку, не было торжественного «Встать, суд идёт», выступления защитника и обвинителя свелись к зачитыванию формальностей. В маленькой комнате, вонявшей вокзальным туалетом, едва уместились следователь, адвокат, сам Ива и ещё пара людей в погонах. Вышла судья, худая крашеная блондинка в чёрном. Ива встал вместе со всеми, сел. Его накрыло

тупое равнодушие, он понимал, что от него больше ничего не зависит, он стал винтиком в лопасть немолчаливой машины, приказали бы ему сейчас раздеться догола и идти в газовую камеру, он покорно пошёл бы: надо, так надо. Судья поворошила бумаги на столе, достала одну и затараторила. Слов от неожиданности Ива не разобрал, но вердикт был ясен: арест на два месяца.

Судья удалилась, цокая каблуками. Иву вывели и повезли обратно на той же маршрутке. Закатное зимнее солнце нагло светило пурпурными лучами, за окнами Газели гудела Москва, волновалось и двигалось человеческое мясо, ехало с работы, на свидания, в рестораны, к семьям, детям, любовникам. Кто-то забивал стрелки в Хорнете, кто-то трахался, громко кончал, курил в постели, глядя на уставшее потное тело рядом. Ничего не изменилось, когда Иву, пузатого бухгалтера и наркоманских гопников выдернули из этой жизни, отправив в параллельный мир тюрьмы. Ива мог умереть, покончить с собой, уйти в монастырь. Грустно. Он думал иногда, зачем нужны миллионы созданий, живущих для того, чтобы жить. Существование ради существования. И вот теперь он остро почувствовал, что и он лишний, ненужный, ничто не пошло наперекосяк из-за того, что его вдруг не стало. Вечная память стёрлась через час после ареста.

На следующий день Иве принесли передачу от брата, с которым связался адвокат: спортивную сумку с тренировочными штанами, футболками, трусами, туалетными принадлежностями, сухой вермишелью и чаем. Его перевели в другую камеру с тремя металлическими кроватями, выдали матрас, подуш-

ку и бельё, но матрас был таким тонким, что спать было неудобно. День он провёл с очередным юным наркодилером и чеченцем, что попался с незарегистрированным пистолетом. Его никто не трогал: чеченец считал ниже своего достоинства разговаривать с русскими, а барыга был подавлен и молчалив, лишь время от времени риторически вопрошал, что же будет дальше и страшно ли в тюрьме. Ива в ответ пожимал плечами. Ему стало безразлично: два месяца, так два месяца, всё равно ведь разберутся и выпустят. Главное, чтобы никто не пытал, а так можно и пожить в этой камере, к тому же и кормили неплохо. Вот только азиатская дыра туалета и здесь бесстыдно зияла, ничем не прикрытая, Ива долго терпел, решившись присесть только после того, как громко кряхтя опорожнился чеченец. В обед чеченца увели на допрос, вечером он вернулся, а после ужина вертухай отодвинул заслонку на смотровом окошке и прокурено проскрипел: «Безымянный. С вещами на выход».

Всю ночь дул ветер. Он был несильным, но низким, поднимал в воздух песок, стелил его по земле, наматал бураны, разбрасывал их в разные стороны, чтобы собрать снова. Все спали плохо: песок забирался за хитоны, засыпался в уши, скрёб глаза. Казалось, всё тело было облеплено им, как соты мёдом. Песок сушил кожу, выпивал остатки влаги из уставших, изжаждавшихся пор. Все спали плохо, даже Назарянин, легко переносивший всякую непогоду. Он поднялся не в духе, отчитал младшего Зеведеева, которого любил и обычно не порицал, хотя было за что. Иуда проснулся раньше всех, но глаз не открывал, не желал смотреть в лицо новому дню. Он слушал, как собирались вокруг, Кифа неразборчиво брюзжал, Назарянин отошёл в сторону, наверное, помочиться, остальные неторопливо шебуршали.

Ничего хорошего не ждал Иуда. Возвращались в Кафарнаум, переход до него был длинным, денег не осталось, а эти голодранцы питались вовсе не святым духом. Он и сам бы не смог ответить, как получилось, что пошёл за ними, как оказался ответственным за то, чтобы кормить их, да ещё раздавать милостыню. Если бы они хоть иногда были довольны! Нет. Когда удавалось собрать много и раздать не всё, как хотел Назарянин (или делал вид, что хотел, потому что и сам кушал неплохо), когда ломились ковры от еды, все уминали за милую душу, но считали, что так и должно быть. Никто не понимал или, скорее, не хотел понимать, чего стоило ему, Иуде, сэкономить несколько

динариев, чтобы не всё ушло в грязные лапы нищих. Зато если, как сегодня, последние деньги были истрачены ещё вчера, предстояли же долгие часы хода по песчаной буре, все косились на него и ворчали, даже и в присутствии Назарянина. Ну а когда его не было, могли дать волю рыбацким рукам.

Иуде не нравилась его жизнь, но выбора у него не было. Работать он не любил. Он пошёл бы, может, в мытари, но отец проклял бы его, да и вообще работёнка была та ещё. Можно было попытаться счастья в Иерусалиме: с его родом он мог попасть в Храм или в услужение к Первосвященнику. Но и прислуживать Иуда не хотел, хотя любил мечтать, как ходил бы по просторным комнатам дворца, трогал руками разные ценные вещи, ел вдоволь... Рассказывали о тайных комнатах Первосвященника, куда допускались только избранные, в том числе римский префект и прочие знатные граждане. При мысли о том, что он мог хотя бы мельком взглянуть на то, что там происходило, узнать, правда то или нет, в груди у него собирался ком, казалось, что взлетит от запретного блаженства. Он лежал и думал, что теперь уже поздно, к приличным домам его и близко не подпустят. Зря он пошёл за Назарянином: ничего кроме бесцельных скитаний это ему не приносит, а что ещё будет впереди... Кто-то проходя пнул Иуду в бок.

— Прости, брат Иуда, — без тени извинения буркнул подлиза Кифа, — все встали и ждут только тебя.

«Ждут, — жрать хотят, вот и ждут», — подумал Иуда но вслух сказал:

— Да, брат Кифа, прости меня, — Иуда старался выглядеть униженным: не слышал, рядом ли был

Назарянин, не время было объявлять, что выходить придётся с пустыми желудками.

Он откинул со лба полу хитона, наглое солнце ударило в глаза. На зубах хрустел песок, Иуда кряхтя поднялся и запил его водой, всю ночь простоявшей в закрытом кувшине и оттого вонявшей болотом. Все уже, и правда, проснулись, хотя некоторые сидели на земле вокруг вчерашнего кострища, будто и не ложились. Иуда виновато окинул взглядом утреннее сборище и отвернулся, чтобы помочиться. Песок больно царапал, но Иуда привык к этому, знал, что неприятные ощущения скоро пройдут, тем более, что по пути была река и в ней можно омыться.

Иуда тянул время, заправлялся нарочно долго. Он знал: всем понятно, что сумы пусты, но они не ведали, что и в ближайшей деревне им делать нечего, проповедовать там было опасно. Он обернулся и мельком перехватил Его взгляд. Как и всегда, внутри захолонуло, но Иуда научился справляться с собой, он поприветствовал Назарянина и отвёл глаза. Ожидали указаний главного, но тот медлил, нуждался в совете Иуды: стоит ли заходить в деревню, чтобы купить продовольствие. Виду никто не подавал, жаловаться на житейский дискомфорт считалось достойным порицания. Все смотрели в землю, кроме Кифы и братьев Зеведеевых, сверливших Иуду глазами — если бы не Назарянин, они уже, наверное, надавали бы ему тумачков. Сам же задумался о чём-то, глядел в сторону, пока Иуда ходил вокруг кострища, делая вид, что собирает остатки вчерашнего ужина. Кифа не выдержал, наконец:

— Учитель, будем ли заходить в селение или прямо пойдём в Кафарнаум?

Назарянин посмотрел на Кифу, на Иуду, который никак не отреагировал на вопрос, будто не слышал его, и сказал в своей причудливой манере:

— Прямо пойдём, братья, ибо только прямо идущий познает истину.

Иуда лопатками почувствовал ненавидящие взгляды, пожалел снова, что пошёл за Назарянином. Живот противно урчал, хотелось зарыться в одежды, забыться, чтобы хоть во сне не думать о еде. Впрочем, и там спасения нет: только закроешь глаза, вырастают перед тобой пиршественные столы первосвященника.

Шли молча. Назарянин во главе, сразу за ним Ионовы сыновья и Зеведеевы, готовые ловить любое слово их Учителя, немного поодаль от них Филипп со своим дружкой: шептались о чём-то, хихикали. К ним пристроился красавчик Фома, за ним шагали угрюмые братья Алфеевы и в самом хвосте плёлся Иуда. В коробе было пусто, в желудке тоже, идти не хотелось, он ждал только реки, чтобы напиться свежего.

Дошли к пятому часу. В лучшие свои времена поток был полноводным и весёлым, но теперь в самой стремнине скучная вода еле доходила до пояса. Иуда отошёл немного в сторону, чтобы не купаться с остальными. Голые тела были противны ему, их животность раздражала. Мясистое брюхо обжоры Кифы, густые чёрные волосы на его груди и в паху, вечные прыщи на спине у Алфеева мытаря, плоский зад Фомы близнеца, по которому хотелось надавать хороших пинков — от всего этого на лопатки набегали гадкие мурашки. Но Иуда знал за собой, что глаза его тянулись к этой плоти. Главная же неприятность

была в Назарянине. Худосочный, болезненный, он не походил на остальных. Иуда удивлялся, как он мог столько лет работать с отчимом, впрочем, работником он был никудышным, ярма его ломались, плуги возвращали ему в починку. За двадцать лет он вырос, но не возмужал, только разве борода отросла, но и она была жидкая, отроческая. Фигура его в хитоне была почти девической, а в наготе — казалось, что когда зачали тесать его, задумка была правильной, но плотник бросил работу на полпути, так что из красивого тонкого подростка так и не вышел мужчина. Талией обладал узкой, но плечи не развились и остался он трепетным, как тростник, вот дунет ветер, и он согнётся, наклонится. Неестественно белая по сравнению с другими кожа даже летом меняла оттенок лишь слегка. И не было у него ни на груди, ни на спине, ни на животе ни одного волоска, только внизу кудрявился юношеский куст, из которого свисало то, мужское, достаточно крупное, чтобы осчастливить любую блудницу галилейскую. На фоне прочих — волосатых, потных, мускулистых, Назарянин казался лебедем в гусиной стае. И это тоже не любил Иуда, даже ещё больше, чем остальных, всякий раз, когда смотрел на Назарянина, что-то вскипало внутри, как в тот день 30 лет назад. И хоть с тех пор больше не было приступов, и он сам, неверующий, стал доказательством неземной силы этого ребёнка, его страшило желание дотронуться, впиться, раскровить эту безволосую белизну.

Вода была слишком тёплая, но освежала. Иуда присел на валун спиной к течению и осмотрелся. Его окружала всё та же земля. Холмистая, скупая земля

его предков, его народа. Он один был настоящим сыном израилевым, остальные — так себе, птичья кровь. Он знал, что они завидовали ему, но происхождением не кичился, да и что в нём — сказки для стариков и младенцев. Но несмотря на безразличие к своему иудиному роду, ему нравилось ощущать принадлежность к этой пустыне, усеянной редкими сухими кустами. Иуда во всех пределах представлял себе родную землю, что распростёрлась от моря и до моря, что славится своими царями и пророками, и великим Городом своим. Пусть управляют ею ныне поганные распутники римляне, а древний трон разделили кровосмесители и братоубийцы, пусть скоро умоется она кровью и позором, пусть блудницы языческие воссядут на святом месте, а народ Израиля унижится и распылится, как при нашествии вавилонском, но Иуда знал: как птица Феникс, возродится однажды он из слежавшегося в камень пепла, восстанет великой страной, нерушимым Храмом и грозными правителями. Он, Иуда, не увидит этого возрождения, но будет стоять у истоков его. И если даже и не его, Иуды, руками будет заложен первый камень нового царства, то при его непосредственном участии. Он подготовит почву для горчичного зерна, а его Йешуа восставит народ на великую смуту, и полетят головы язычников, и воссияет звезда Давида над землёй сынов его, и возродится Израиль, чтобы не пасть вовеки.

Иуда перевёл взгляд на остальных: он просидел в воде слишком долго, все уже оделись и окружили Назарянина. Возвращаться к ним не хотелось, слишком голодны они были, но Иуда не мог долго оставаться в стороне.

—... и охватил город огонь небесный, и стоял плач и стон по всей стране, — вещал Назарянин. Рассеянно, немного потерянно смотрел он перед собой в такие моменты. Иуде казалось порой, что смотрит он на него, Иуда искал, пытался поймать его взгляд, но Назарянин смотрел сквозь Иуду, сквозь холмы, как будто там, вдали, на горизонте кто-то писал на полуденном небе и ему ничего не оставалось, как читать. И был в том городе купец, плакавший о товарах своих, ибо суждено им было погибнуть от огня. И был у того купца раб, сказавший ему: «Хозяин, беги сквозь огонь, чтобы спастись и спасти семью твою». Но купец плакал сильно о доме своём. Тогда возопил раб: «Если сейчас не бежать, то сгорит дом вместе с нами. Если бежать, то дом сгорит без нас, а мы спасёмся». Купец же отвечал: «Страшно бежать теперь, потому что через огонь и узкие улицы лежит путь, сможем ли выйти из города в такое пламя?» Ответил тогда раб: «Если бежать сейчас через улицы, то, может, не суждено нам спастись, потому что силён огонь. Но Бог Израилев с нами и, если есть на то его воля, выведет нас из огня. Если же останемся в доме, то погибнем». Но купцу страшно было бежать через улицы, а к дому огонь ещё только подбирался. Тогда собрался раб и ринулся сквозь огонь и узкие улицы к воротам города. И Бог Израилев был с ним, потому что Он помогает смелым. И спасся раб, пробежав через огонь и узкие улицы, а купец сгорел вместе с домом и домашними своими и товарами».

«Опять про огонь. Придётся идти в деревню», — грустно подумал Иуда.

— Что хотел ты сказать нам этой притчей, учитель? — потупив глаза, спросил Кифа.

— Истинно говорю, что слеп ты, Пётр, — раздражённо бросил Назарянин, не любивший, когда его прерывали, — объясняю народу притчи свои, но вы, идущие со мной, не должны ли сразу видеть скрытое? — он строго посмотрел на Кифу и вернулся к гипнотическому тону, — Огонь, охвативший город — это наказание Господне за грехи народа нашего. Как ниспроверг он на Содом и Гоморру дождём серу и огонь, так и сегодня плавится земля Израилева. Но тот, кто пойдёт за мной сквозь огонь и опасности, тот обретёт Царство Небесное. Кто же останется на месте из страха ли, или из жалости к дому своему, тот сгорит в геенне огненной, где плач и скрежет зубов.

Иуда топтался за широкой спиной Андрея Ионина. Он понял смысл притчи с первых слов: нечего бояться идти в деревню, откуда их погнали камнями несколько месяцев назад, такой длинный переход невозможно сделать не евши, к тому же и неизвестно, накормят ли их в Кафарнауме, приди они туда затемно. Отправляться за продовольствием всей толпой было бесполезно, но и одному Иуде рисковать не хотелось. Кого взять, он не знал. Филипп и Фома Иуду не обижали, но и толку от них было мало. Разве только Филипп приглянётся какой сердобольной женщине: он умел очаровывать крестьянок. Лучше было идти с Кифой или его братом: с ними было не так страшно, но они могли поколотить Иуду, когда их Учителя не будет рядом. Остановился-таки на Кифе: свои тумачи легче чужих камней и палок. Надо было решить всё скоро, пока не рассеется дурман проповеди.

— Брат Кифа, — униженно проблеял Иуда из-за спины Андрея, — в суммах наших пусто, в коробе моём ветер, желудки наши поют, будто ангелы небесные, но добрые селяне в соседней деревне не должны отказать в помощи путникам. Вот только что один слабый Иуда может принести на тринадцать человек?

Кифа развернулся и посмотрел с раздражением: «Что же ты, брат Иуда, только о хлебе насущном радеешь?» «Ага, — подумал Иуда, — попробуй доползи до своего Царства Небесного не жрамши», — но промолчал, уставившись в пол, ожидая реакции Главного. Назарянин выдохся и к новой притче был не готов. Он молчал, задумчиво всматриваясь поверх голов. Кифа украдкой бросил взгляд на Учителя, поглядел на брата, крикнул и, ни слова не говоря, размашисто зашагал в сторону деревни. Андрей нагнал его, а Иуда засеменял сзади, чтобы при необходимости увернуться от тяжёлых кулаков Иониных сыновей.

Деревня оказалась дальше, чем думал Иуда, идти пришлось почти час. Воздух будто звенел цикадами, но Иуда знал, что никаких цикад в это время не было и звенел зной. Речная свежесть испарилась, Иуда вспотел, ему приходилось то и дело догонять братьев, что шли впереди, важно переговариваясь о чём-то. Другие вдали от Назарянина могли позволить себе пошутить и подурачиться. Да даже и при нём. Фома то и дело задирали Филиппа, но по-дружески, так что никто не обращал внимания. Кифа же с братом гордились своей перевозванностью, держались с достоинством людей, которым раньше откроются врата Царствия.

Показались первые дворы. Иуда нагнал братьев, чтобы не идти одному. Улицы были пустынные и тихи,

даже куры попрятались в тень. Иуда не слушал, о чём говорили Ионины сыновья, он был голоден, злился на себя за то, что раньше не позаботился о наполнении короба, и ещё на Назарянина, снова раздавшего бóльшую часть собранных денег. Первые дома они прошли, по опыту знали, что на окраине дают мало: слишком многие нищие постоянно стучатся сюда.

В нос ударил ячменный запах свежих лепёшек. Иуда посмотрел на двор, источавший его, и решил попробовать. Дом был не слишком большой, но и не слишком маленький, стоял почти посреди деревни, с крыши выглядывали причудливо украшенные перила, но голосов слышно не было, что заставляло думать, что мужчины в отлучке. Иуда редко ошибался, так было и в этот раз. Он подошёл к воротам, толкнул створку плечом и осторожно заглянул в щель. В пыли двора копались трое голых детей, четвёртый мальчик постарше с очень чумазым лицом стоял в стороне и выстругивал что-то из чурки.

— Мир дому сему, — сказал Иуда торжественно-униженно. Дети встрепнулись и убежали, мальчик с болванкой не шелохнулся. Иуда немного потоптался во дворе, оставив Иониных сыновей на пороге, и осторожно продвинулся к крыльцу. Ему не хотелось заходить внутрь без приглашения, но он не знал, как привлечь внимание: ведь хозяйки могли находиться в задней части дома, закрытой для чужих.

Наконец из двери вышла женщина. Иуда сперва решил, что в этот раз ошибся и здесь ему ничего не дадут. Слишком строги были её рубленые черты, слишком презрительны чёрные глаза. Она была полна, загородила собой вход, будто хотела защитить

жилище от непрошенных гостей. Одета была просто: в синюю тунику и серую холщовую накидку, но из ушей свисали массивные золотые серьги, золотая брошь с жёлтым камнем скрепляла накидку на голове. Было в её осанке, манере стоять, подперев бока, что-то воинственное, свидетельство долгих лет борьбы за своё место. «Служанка, — подумал Иуда, — но, верно, на специальных правах у хозяина».

— Мир дому твоему, благочестивая хозяйка, — произнёс Иуда с подчёркнутым почтением, будто говорил с самой Иродиадой, — по стати твоей царственной вижу, что многими достоинствами может гордиться владелица этих чертогов. По глазам твоим читаю, что место им во дворце тиверианском, а не в деревне, но радуюсь за это благословенное селение и возношу хвалу Господу, что не забывает он ни один уголок царства своего и каждый наделяет благочестием и процветанием. В сердце твоём вижу, что, как и добрые царицы, не откажешь ты скитальцам за истиной в лепёшке и кувшине молока, ибо сострадание — удел великих, а милостыня обогащает дающего, поднимая его в глазах страждущих.

Свою тираду Иуда произнёс, потупив взгляд, но от него не ускользнуло удовлетворение, с которым женщина слушала его, понемногу опьяняясь лестью. Закончив, он молча стоял перед ней, ожидая ответа. Ушло минутное замешательство, вызванное её угрожающим видом, Иуда только спрашивал себя, даст ли она ему довольно, чтобы можно было вернуться, или придётся идти по другим дворам.

— И сколько же вас скитальцев? — презрительно спросила служанка.

— Десять, матушка, — соврал Иуда, не желая пугать её толпой.

Женщина развернулась и, качнув дородными бёдрами, тяжело ушла за полог.

Иуда оглядел двор, не поворачивая головы. Усталые пустые кувшины стояли на земле, один, расколотый, лежал на боку: видно, задели его ногой, да и бросили. Рядом с крыльцом валялся динарий. Иуда поднял бы его, но за спиной всё строгал свой чурбан мальчишка, Иуда не видел его, но слышал шуршание металла о дерево, так что постеснялся и остался стоять недвижимый. Голод никогда так сильно не мучил, как в предвкушении еды. Когда идешь по пустыне или пытаешься уснуть, завернувшись в шерстяной плащ, можно думать о будущем переходе, о дворце первосвященника в Иерусалиме, о Кифе, что изошёлся злобой, когда Назарянин осадил его за намёки на Иудину нечестность... Но когда стоишь перед чужой дверью и ждёшь, что незнакомая женщина вынесет хлеб, ничто другое в голову не идёт. Вкус размякшей лепёшки отбирал силы, хотелось прислониться к стене, будто надышался дурного дыма.

Она вышла с объёмной котомкой и двумя мехами. Иуда протянул руки, стараясь, чтобы они немного дрожали: так ценность её дара значительно увеличивалась.

— Бог не забудет тебя, добрая хозяйка. Дом твой будет процветать в веках, дети твои расплодятся что песок и будут царями, — заговорил Иуда, всё так же смотря в пол.

Он взял еду и попятился к воротам. Женщина собралась было уходить, но неожиданно развернулась:

— Эй, погоди. Вот, возьми ещё, — и рука служанки, соприкоснувшись с Иудиной рукой, пересыпала ему несколько сиклей. Монеты были тёплые, а рука холодная и сухая. Иуду передёрнуло, он не любил касаться людей, тем более женщин.

— Благодарствую, добрая царица. Великих отличает щедрость, нищие живут милостью царей.

— Ладно, ладно, — замахала. Но Иуда видел, что его слова миром льются в служанкины уши, и она останавливает его, чтобы больше ничего не давать.

Иуда вышел из ворот. Сыновья Ионины стояли, привалившись к стене дома напротив, и всё так же важно беседовали. Они даже не посмотрели на Иуду, затрусившего в обратном направлении: еды было достаточно на всех.

На этот раз Иву перевозили в настоящем автозаке, защёлкнув наручники спереди, чтобы сподручней было держать сумку. Вместе с Ивой ехал здоровый белобрысый детина, он всю дорогу молчал, Ива тоже не проронил ни слова.

Узик остановился. Иву со вторым арестантом вывели из машины, провели по тёмному двору, ввели в обшарпанный коридор. В нос ударил запах волглых стен, невымытых тел, ржавых труб, нестиранной лежальной одежды. Дежурный расписался за Иву и его спутника. Ива стал объектом для перемещения, вещью, строчкой в накладной. Его отгружали в одном месте и принимали в другом, решётками защищали его от него самого, всех желаний у него осталось — поесть, добыть матрас, сесть подальше от окна, чтобы не дуло. Наручники сняли, проводили в большое серое помещение с лавками и зарешёченными окнами, где несколько сотрудников тюрьмы в тёмно-синей форме окружили голого костлявого старика с отвисшим морщинистым животом. «Здрасьте», — пробормотал Ива в пустоту, никто не ответил ему. «Раздеваемся», — вальяжно протянул один из мужчин и жадно поглядел на Иву, который начал стягивать с себя свитер и футболку. Было холодно и стыдно. Детина из автозака тоже разделся, но он вовсе не смущался — стоял себе, растопырив руки. Ива старался не смотреть на его толстый красивый член под пышным кустом рыжеватых курчавых волос. Где-то это было уже с ним — унижительная нагота перед людьми в форме. Ива пытался

вспомнить, это отвлекало его, и нужная картинка всплыла, наконец, перед глазами. Военкомат, конечно. Ему тогда было лет 16, полуголые ребята из разных школ ходили вокруг, и в кабинете у хирурга так же стоял обнажённый бесстыжий красавец, у Ивы набух член, и все заметили, и Иве хотелось умереть, и чтобы все вокруг тоже умерли, и не осталось бы ни одного свидетеля этого бесконечного, вселенского позора.

Обыск не возбуждал, вызывал омерзение. Вохровец взъерошил заскорузлыми пальцами волосы, отогнул уши, попросил присесть, другой проверил его одежду, прощупал каждый шов тренировочных штанов, резинку багрово-красных боксеров Abercrombie&Fitch, расправил их в руках, продемонстрировав комнате, ослабил и бросил Иве, он поймал их на лету, они отозвались резким запахом мочи и пота — Ива хоть и сменил бельё, но не мылся с момента задержания. Ива вспомнил, как однажды стянул у Зайца грязные трусы и потом неделю мастурбировал на них, внюхиваясь. Улыбнулся: они так и лежали у него в шкафу, Заяц не заметил пропажи.

После обыска Иву оставили ждать в большой, полной народа камере, потом водили по врачам, те взвешивали его, измеряли, стучали по коленке, медсёстры брали кровь, делали флюорографию, фотографировали, обкатывали пальцы. Всё это длилось бесконечно долго, постоянно приходилось переходить из камеры в камеру, всякий раз в сопровождении охранников, всякий раз заходя за скрипучие двери-решётки, что открывались перед Ивой и захлопывались за Ивой, и каждая всё больше отдаляла Иву от того, что называлось волей. Ива сбился со счёта, сколько

таких дверей встало между ним и свободой, и уныло отмечал про себя: вот, ещё одна.

Его втокнули в тесную прокуренную комнату, где помещался только железный шкаф с папками, стол и два стула, с серой стены Джокондой улыбался президент, за решёткой окна плясали в свете фонаря проворные снежинки. Лицом к двери сидел горой грузный, похожий на дядюшку Уфсиновец, он заполнил собой всё пространство, казалось, его привинтили к бетонному полу вместе со столом, когда тюрьма только строилась. Ива устало плюхнулся на стул.

— Так, хм-мр-хр-кха, — забулькал дядюшка У сломанным приёмником, заплевался, зачмокал толстыми губами. — Ну. Что тут у нас? Ты кто по жизни вообще? — уставился вопросительно на Иву заплывшими жиром щёлочками глаз.

— В смысле? — не понял Ива.

— Кто по жизни, говорю? Блатной? Мужик? Может, обиженный или что?

Ива растерянно огляделся, будто надеясь найти поддержку у железного шкафа и бумажного президента, но они торжественно молчали, будучи в заговоре с толстяком. «Кто же я по жизни?» — подумал Ива, не в силах ответить на этот вопрос даже самому себе.

— Я не понимаю, — робко проговорил он.

— Ну что тебе непонятно? Тут у нас тебе всё объяснят, ха-ха. Тут тебя быстро научат. Статья какая?

— Сто тридцать четвёртая и двести двадцать восьмая.

— Ого, ха-ха-ха. Сто тридцать четвёртая? Ммм-мр-кр-xxx. И как? Симпатичная была, ха-ха? Пышечка? Ну, расскажи, как ты её? В извращённой форме или

так отпиздошил? — Дядюшка У заелозил на стуле, струйка пота протянулась от острого уха вниз по лоснящейся шее. — Или, может, в зад её, а? Прямо в говнянскую дырочку, так чтобы кричала и маму звала? О-о-о. Это хорошо-о-о. Сто тридцать четвёртая. А то «не понима-а-а-ю». Ха-ха. Ну. Скажи мне, тут тебе не сеновал, знаешь. У нас ребята серьёзные. Вести себя будешь хорошо? Чтобы без выебонов, да?

— Да, — кивнул головой Ива, хотя ничего не понял.

— Ну, бывай, казак, — плюнул толстяк напоследок и мотнул подбородками в сторону двери. Аудиенция закончилась.

По ощущениям было часа три ночи, Ива измаялся. В хозблоке ему выдали жиденький матрас, картонную коробку с банными принадлежностями, сухпаёк, миску, кружку и ложку, проводили вместе с другими новичками в просторную камеру с высокими арочными потолками и такими же деревянными нарами, как в первую ночь в изоляторе. Толпа вымотанных мужчин тут же завалилась спать, уснул и Ива. От завтрака камера отказалась, а когда проснулись часам к десяти, оказалось, что единственная розетка не работает, так что невозможно ни развести суп из пайка, ни заварить чаю, без которого, как начал понимать Ива, тюрьма не жила. Два худых лохматых мужика принялись стучать ногами в дверь, на зов открылась створка — кормушка по-здешнему:

— Что, блядь, такое, что за кипеш? — прогрохотало окошко.

— Розетка не работает.

— Идите, блядь, на хуй со своей розеткой, я что вам, сука, электрик? Вечером разведут по камерам,

там будете с розетками. Завтрак надо было брать, а недохнуть.

Зэки, впрочем, не стушевались, разодрали картонные коробки и устроили под окном костёр — стёкол, несмотря на позднюю осень, не было. По очереди на живом огне вскипятили несколько мисок с водой, разлили её по кружкам. Досталось и Иве.

В камере сидело всего 12 человек, но столько было шума, чада от костра, сигаретного дыма, туалетного смрада, что казалось, Ива попал в цыганский табор. Он забился в угол шконки и старался не показываться на свет, чтобы не пришлось ни с кем разговаривать. Его не замечали. Все постоянно были чем-то заняты: кипятили воду, заваривали вермишель, играли в нарды, болтали. Когда принесли обед, от него все отказались, как и от завтрака. Ива хотел было взять, но вылезти постеснялся и остался голодным — не до конца заварившийся, хрустящий на зубах суп он съел ещё утром. Вечером Иву вызвали вместе с тремя другими зэками и снова повели по тёмным холодным коридорам через зубастые заслонки дверей.

До Кафарнаума дошли к первой страже. Заночевать решили в поле, а утром идти в синагогу. У Иониных и Зеведеевых жили в Кафарнауме родственники, но с родными дозволялось сношаться, только если те внимали слову Его. Еды оставалось мало. Иуда предпочёл бы вовсе не есть, но другие настояли на том, что Кафарнаум — свой город, их точно накормят. Остатки хлеба и вина быстро разошлись по здоровым голодным желудкам. В полудрёме-полубоддрствовании расселись вокруг костра. Поднявшийся ветер разогнал память о зное, пахло рыбой, усталостью и звёздами.

Назарянин заворожённо смотрел в огонь, чуть кивая головой, все молчали: когда Учитель парил в других сферах, о мирском не говорили. Иногда он так надолго уходил в себя, что у остальных не доставало сил ждать и один за другим они укладывались спать. Порой он не отпускал их, останавливая грозным взглядом, они, утомлённые, повиновались, рассаживались по-новой, готовые внимать. Учитель добился беспрекословного подчинения, хотя вот ессеев недолюбливал за жёсткую дисциплину. Он не распространялся об этом, но Иуда навёл справки: его изгнали из общины Нового Завета за своеволие и склонность перечить по любому поводу — качества, которыми не мог бы обладать ни один из его учеников.

Сегодня ждать пришлось недолго.

— Свободны ли рыбы в море? — чуть слышно спросил Назарянин у костра и тот ответил сухим треском. Другие встрепенулись, очнулись от дрёмы, посмотре-

ли на Учителя, придвинулись к нему ближе, чтобы слышать.

— И я говорю вам, несвободны. Скажете: рыба в море плывёт, куда хочет, на мель ли, на глубину, только берега могут остановить её, но она не ведает берегов, ибо не может выйти и пойти по песку. И если море большое, то может рыба приплыть из Иудеи до самого Рима, и ничто не остановит её.

Назарянин замолчал, всё так же глядя перед собой. Казалось, он не замечает остальных и лишь огню обращает свои слова. Покачавшись немного, начал снова:

— Но ответчу вам: не сама плывёт рыба в море, но Господь управляет ею и каждым плавником её. Захочет, поплывёт на мель, захочет, поплывёт на глубину. Если укажет Господь рыбе плыть из Иудеи в Рим, поплывёт из Иудеи в Рим. Но если укажет Господь поплыть в сети рыбака, чтобы прокормить семью его, то поплывёт в сети рыбака и прокормит семью его. Ибо вездесущ Господь и не доступен замысел его ни рыбе, ни рыбаку, но повинуются замыслу его и рыба, и рыбак.

Прогорающая тишина повисла над костром. Назарянин окончил притчу, но ожидал, что попросят разъяснить её. Кифа, всегда помогавший глупым вопросом, то ли задумался о чём-то, то ли так умутился долгим переходом, что только глаза его были открыты, а сам он спал, уставившись в тлеющее полено. Иуда почувствовал, что и его голова более не способна ни думать, ни внимать Назарянину, огонь трещал в самой его макушке, сжигая остатки разума. Иуда посмотрел на него затуманенными глазами,

но ответного взгляда не поймал. Тот опять заговорил, тихо, размеренно, слова его раскачивались, как лодка при слабом ветерке, но Иуда уже не слышал его, а только видел рыб, много свободных блестящих рыб, сверкающих чешуёй в залитых солнцем волнах, плывущих из Иудеи в Рим, но почему-то попадающих в Царствие Небесное. Иуда пытался возмутиться, ведь рыбам не место в Царствии Небесном, он почти проснулся от волнения, но после решил, что попали они туда по ошибке и кому нужно, тот выдворит их.

В Кафарнаум вошли во втором часу. Зной ещё не поднялся, улицы заполонила сутолока, рыбаки отправлялись в море, юркие греки торопились к границе, дети путались под ногами, женщины судачили на перекрёстках. Иуда проснулся рано и с утра успел побродить за городскими стенами, возле которых мальчишки пасли тощих коз. Пастухи сделали своё дело: разболтали всем, в городе их ждали, народ собрался на площади у синагоги, будто готовился большой базар, хотя никакого базара не было.

Назарянин уверенно зашёл в центральную дверь прямоугольного серого здания, пока ученики сдерживали толпу, грозившую задавить хлипкого равви. В синагоге было прохладно, пахло сырым камнем, бесцеремонные солнечные лучи улеглись на стенах. Он встал на возвышении между двумя рядами дорических колонн, его окружили, но места на всех не хватило, народ столпился на площади, через головы выглядывая худого белого юношу под охраной грозных бородатых мужчин. Он, как обычно, смотрел куда-то вдаль, сквозь стены, будто был один в этой синагоге, да и во всей земле. Люди шумели, болтая

о чём-то неважном и минутном, он поначалу молчал, словно не хотел начинать, пока всё не успокоится. Но дожидаться тишины не стал, да это было и невозможно, заговорил, покачивая головой, тихо, медленно, отчётливо произнося слова на старомодном арамейском, будто факир из далёкой Индии, что за неимением флейты гипнотизирует кобру проповедью. Народ некоторое время продолжал волноваться, как вода в плошке, в которую бросили камень. Рябь расходилась от центра и затихала на периферии, но распространялась неравномерно, так что порой одна сторона успокаивалась, тогда как с другой смятение нарастало, а когда унималась эта, по-новому начинала трепетать противоположная. Первые слова Назарянина утонули в общем гомоне, но мало-помалу шум стихал, люди замолкали на полуслове, забывали, о чём только что спорили, над чем смеялись, всё становилось далёким, ненужным. И вот в синагоге и над площадью воцарилось безмолвие, даже собаки перестали лаять, а дети скулить. Лишь ясный голос Назарянина разносился над городом, ложась на залитые солнцем улицы, каменные стены, огороженные перилами крыши, проникая в затянутые паутиной закоулки, в закопчённые кухни, во внутренние комнаты, в хлева, в уши, в сердца взрослых, детей, женщин, очаровывая, обволакивая, заставляя забыть свою сущность, загинуть в напевных ровных звуках. Казалось, народ даже не понимает смысла, но, успокоенный, умиротворённый этой заунывной песней, укутывается в его монолог.

Одиннадцать сопровождающих сгрудились вокруг Назарянина, как буйволы, защищающие стадо.

И только Иуда исполнял свою извечную работу: шнырял с коробкой в толпе.

— Господь да спасёт вас, добрые цари, господь да спасёт вас, — бормотал чуть слышно, чтобы не перебивать стелившегося над головами голоса.

И сыпались монеты в его короб, женщины снимали серьги и заколки с головных платков и совали Иуде в руки, не отводя глаз от Пророка. Попадались даже и золотые украшения. Иуда знал: важно собрать как можно больше до исцелений, потому что в давке потом переломают кости. Улов был хорошим. Короб приятно отяжелел. Даже после милостыни должно остаться достаточно, чтобы ещё долго не бедствовать.

Нищие. Он чуял их сразу. Одетые в рванину, промытые дождями, продутые ветрами галилейских пустынь. У заросших лиц не было возраста, сбитые в колтун длинные волосы скрывали траченные лишаём или проказой шеи, бугристые чёрные руки с приплюснутыми пальцами жадно тянулись за Иудиными монетами. Он не любил смотреть на них. Он боялся, что и его руки станут когда-то такими, если ещё не стали. Он-то себя нищим не считал, хотя они с Назарянином и жили на подаяния, не хотел признаться себе, что недалеко отстоит от них, не понимал, где проходит незримая грань между бродяжничеством и паломничеством, шарлатанством и пророчеством. Он ненавидел нищих за то, что они были так похожи на него самого, но знал, что они нужны им, как огороду перегной.

Они тоже это понимали, хоть и не умом, а босяцкой интуицией, которая вела их к меди, как собаку к хозяйке, что никогда не откажет в кости. Иуда

всегда задавался вопросом, как они догадывались, что нужно делать, кто объяснял им правила игры? Сам он никогда ничем таким не занимался. Ну или почти никогда. Остальные точно побрезговали бы приложить к этому руку. А Назарянин... Тот верил.

Он закончил говорить и поднял правую руку. Как по условленному знаку Иуда быстро выпутался из лабиринта ног, животов, женских отвисших грудей, спрятанных в многослойных одеждах.

Что-то нарушилось в толпе. Она всё стояла, недвижимая, безмолвная, но оцепенение спало, уступив место чему-то более глубокому, жутковатому. Прокатилась новая волна, разбудив народ, и все одновременно прильнули к центру, сжав кольцо вокруг Назарянина. Все же в один голос вдруг заголосили, особенно женщины, и каждый старался пробиться к нему как можно ближе.

Самые яркие исцеления происходили среди нищих. Они преподносили гноящиеся раны, кровавые культы с расчёсанными ссадинами, язвы проказы на грязных впалых животах, подёрнутые бельмами глаза. Народ брезгливо расступался, жадно ожидая чудес. Всякий раз калека, истошно вопя, подходил к Назарянину, но не слишком близко, будто сам боялся заразиться от исцеляющего. Тот простирал над ним руки, шевелил губами: «Иди с миром и помни обо мне», — произносил чуть слышно. И слепые прозревали, одержимые избавлялись от бесов, язвы зарубцовывались, хромы уходили прямо, вот только на месте отрубленных конечностей ничего не отрастало, хотя раны на них и заживлялись от одного приближения к Назарянину. Бродяги гремели о своём счастье

на весь город, представляя доказательства каждому встречному. Не забывали они пройти и мимо Иуды, который совал в их хищные руки медные монеты из короба. Иуде было жалко расставаться с деньгами, но чудеса стоили дорого. Иуда старался быть справедливым, но часто получалось, что кричащим громче доставалось больше. Совсем крохи перепадали тем, кто исцелялся повторно: Иуда боялся, что их уличат в сговоре. Попрошайки быстро усваивали и это правило и больше трёх раз не приходили, выбирая других пророков.

После крикливых бродяжьих концертов подходил черёд горожан. Они нескромно обступали Назарянина, тянули края его одежд, прикладывали их к изъеденным жизнью лицам, к изуродованным работой рукам, к животам своим, слишком слабым, чтобы родить, к стиснутым грудям, разучившимся дышать. Они подносили к нему драгоценности, чтобы напитать их его живительной силой. Они пытались коснуться, хоть на мгновение, руки его, чтобы благословить оставшихся дома. Женщины пробивались к нему с младенцами, но толкучка была такая сильная, что Иуда знал — не все они останутся живыми. Впрочем, матерям это было неважно. Они верили, что если он не спас больного ребёнка, значит ничто не могло сохранить ему жизнь, но зато народится теперь новое, здоровое потомство. И жалко было детей, и готовы были жертвовать ими ради будущего.

Это продолжалось недолго, Назарянин быстро уставал от исцеления. Кифа с братом принялись пробивать коридор к выходу, попутно благословляя народ, остальные прикрывали Учителя сзади. Тактика

эта была отработана давно, так что Назарянину удалось легко вырваться из синагоги и укрыться в доме Кифовой тёщи, что стоял тут же на площади.

Конвойные ввели Иву в продолговатую грязно-жёлтую камеру, молча захлопнули дверь. Слева вдоль стены стояли двухуровневые нары — серое бельё на синих матрасах. Справа — ещё двое нар, посередине накрытый наполовину клеёнкой деревянный стол с лавками по обеим сторонам. Под потолком приютилось небольшое зарешёченное окно, справа от него висел кинескопный телевизор на кронштейне, слева стоял потрёпанный двухкамерный холодильник. Полногрудые выцветшие блондинки из женских журналов кокетничали со стены возле умывальника, из угла напротив на них с укором смотрели вырванные из других журналов святые. Блондинки улыбались, святые осуждающе закатывали византийские глаза. Четверо мужчин приподнялись и поглядели на Иву, справа раздалось кряхтение, запахло калом, из-за служившей шторкой простыни покашливая вышел пятый — голый по пояс худощавый зэк без возраста с вытянутым волчьим лицом. Ива подумал, что он, наверное, был красавцем лет пятнадцать назад, но от тюремной жизни захирел, кожа пошла пятнами, неправильной формы череп был покрыт белёсым пухом, такие же светлые волосы торчали из-под мышек, приятно пахнуло потом. Он был сухой, но с неразвитой мускулатурой, угловатыми плечами и маленькими, почти невидимыми сосками на впалой груди, украшенной почерневшей от времени татуировкой укутанной в платок Богородицы с нимбом. В разведённых по-рублёвски руках Мария держала книгу

и лилию, похожую на цветок лотоса из учебника по биологии.

Ива смущённо поздоровался и застыл у двери. Вышедший из-за шторы оказался смотрящим по камере, он с усердием вымыл руки в умывальнике рядом с туалетом, смочил подмышки, вытерся свисавшим с шеи полотенцем, надел футболку и свитер и внимательно поглядел Иве между бровей, будто приносиваясь к нему:

— Ну? Молчать будем? — спросил с издёвкой политрука в армейской роте.

— Здрасьте, — сказал Ива.

— Ты за моё здоровье не волнуйся, — ответил зло. — При входе в камеру надо представиться и назвать статью, а если осужден, то срок.

— Нет. Не осуждён пока. И не буду. Это недоразумение, понимаете, наговор...

— Тут все по наговорам, — перебил. Была в его тоне ржавая жестокость, будто пилил старой ножовкой по живому мясу. Ива зябко повёл плечами, почувствовал себя виноватым.

— А... Да? Какой ужас.

— Зовут как?

— Ива. Иван. Ваня. Но друзья зовут Ива.

— Ива. Дерево, значит, ха-ха. Что наговорили-то на тебя, Дерево?

— Сто тридцать четвёртая и двести двадцать восьмая.

— В камере повисла тишина. Ива решил, что сейчас его будут бить и надо срочно сказать что-то в свою защиту.

— Наркотики у меня на самом деле были, а всё остальное — заказуха. Там папа генерал, понимаете.

Мальчик убежал из дому и ко мне прибился. И он решил посадить меня, хотя ничего не было.

— Ах ты, падла. Мальчик, значит?

— Ну да. Мальчик, — заикаясь прошептал Ива, ему стало страшно, ноги отяжелели, он смотрел вниз, боясь безжалостных глаз смотрящего, спину холодила металлическая дверь, пути к отступлению не было.

— Так ты по мальчикам чи шо? — наострился старший, остальные тоже напряглись, принялись с интересом рассматривать Иву.

— Устроили тут гей клуб, черти, — сказал похожий на Тараса Бульбу толстяк с усами в тренировочных штанах и толстовке с надписью Rolling Stones.

— Ха-ха. Сдрейфил, посмотрите, петушок. А? Давай, не молчи, ласкун. Если гомосек, никто тебя чморить зазря не будет. А если прогонишь, а потом узнается, башку открutum.

«Откуда они могут узнать? — судорожно думал Ива. — Я ведь новенький в тюрьме. Что они делают с геями? Бьют? Окунают головой в парашу и насилуют всей камерой? У них у всех тут СПИД, наверное». Ива в смятении озирался по сторонам, избегая ненасытных взглядов, скользил по нарам, по стенам, пока не уткнулся в хиленького пацанёнка с детскими грустными глазами. Он сидел у стены на шконке рядом с умывальником, подобрал ноги, уткнувшись в них покрытым нежным пушком подбородком. «Не темни лучше, Дерево, Палыч дело говорит», — еле слышно сказал он, на что Палыч рыкнул: «Ты что рога суёшь, когда смотрящий травит?!» Мальчик дёрнул головой, как Джастин, и спрятался за коленями, продолжая смотреть на Иву добрыми водянистыми глазами.

Как Джастин. Ива вспомнил полуголового подростка, выросшего в диван, беспомощного перед генеральской шинелью, но твёрдого, готового бороться за своё я. «Да, — полушёпотом сказал Ива. — Я больше по мальчикам». Сердце захолонуло, сжался внутренне, а ну как ударит сейчас, что делать? Дать сдачи? Никогда в жизни Ива не дрался, от этой мысли мутило, он бы лучше дал избить себя до полусмерти, но защищаться не смог бы. «От ведь суки, насовали в хату гомосятины! Порядки знаешь?» — спросил Палыч. Ива мотнул головой. «До мужиков не касаться, чужие шлёмки не трогать, на чужих шконках не сидеть. Что сможешь с дачек — в общак. Будешь Малому в помощь. Вон сюда залазь, — и Палыч кивнул на шконку, где сидел Малой. — Стояа-ать, педрила, куда пошёл? Старшему сперва дорогу! — Ива пропустил Палыча, задвинул сумку вниз, подтянулся, расстелил матрас, который лишь для виду прикрывал жёсткую металлическую основу. — Про делюгу твою загоним маляву. Если спорол косяка, накажем».

Ночью камера не спала. У окна по соседству с Ивой сидел молодой жирный парень, Женёк. По продетым в форточку капроновым нитям он вытягивал закрученные в трубочки и запаянные в пластик письма. Большинство из них он отправлял дальше, делая пометки в небольшом блокнотике, а часть разворачивал и зачитывал. «Один три восемь сообщает о большом шмоне, надо готовиться. Пять девять просят курёхи, если у кого есть, и готовы поделиться чаем. Макарыч из сорок восьмой ушёл на дальняк, остались одни мужики». Палыч комментировал эти новости с видом оракула: «Про шмон поблагодари и пошли дальше.

Курёхи нет. Про Дерево закинь коня, что за делюга». Ива испугался мысли, что его будет обсуждать вся тюрьма — вдруг перепутают и запишут в педофилы. Читка продолжалась чуть не до утра, пока Палыч не объявил, что «порадохнуть» и мгновенно засопел. Женёк ещё какое-то время работал, потом долго ворочался, укладывая тяжёлое тело на узкие нары, остальные заснули ещё раньше.

Ива положил согнутую в локте руку на глаза, но уснуть не получалось, было жёстко, зябко и светло — свет в камере не гасили. Он повернулся на бок и долго лежал, глядя перед собой, вспоминал каждый день, проведённый с Джастиним. Может, он дал ему повод думать, что он интересен ему как любовник? В Питере, когда Джастин признался ему, что он гей, он смотрел на него так зазывающе... Ива тогда не обратил внимание, но может, промелькнуло что-то между ними и Джастин вообразил, что Ива хотел переспать с ним? Ну и что с того, ничего ведь не случилось, ничего даже и в мыслях не было! Сможет ли он упорствовать со следователями, адвокатами, психологами и вездесущим отцом? Впрочем, и тогда в гостиной он поддался в итоге, карандаш гнулся, гнулся и сломался с лёгким треском сухой щепки в разгоревшемся костре. Ива представил обыск дома. Ходили в грязных ботинках по коврам, рылись в секрете, в белье. Понятые, прицениваясь, разглядывали философов и Харона. Рассуждали: вот, педофилы какие богатые — купят картин и давай совращать ими малолетних. Менты обрадовались, когда открыли холодильник, кинулись фиксировать, описывать. Что с компьютером, интересно? И с телефоном. На Иву накатило

отчаянье, он почувствовал себя одинокой кометой, по неумолимой орбите приближающейся к солнцу. Оно уничтожит комету, оставит от неё лишь пар, но у неё нет выбора, так же, как и у Ивы — если запустил тебя кто-то невидимый и всесильный, лети, тай, исчезни в бесконечных, никому не нужных просторах. Вечная память.

С утра Палыч с Бульбой засели за маленькие карманные шахматы, которые булавками вставлялись в доску и были настолько старыми, что почти сравнялись в цветах. Игравший чёрными Бульба чаще проигрывал, то и дело вскрикивая: «Черти! Вот черти!», Палыч облизывался и довольно урчал. Женёк долго спал после ночной почты, а днём увлечённо читал любовные романы в мягкой обложке, шевеля губами, как ребёнок в начальной школе. Под Женёком расположился одетый в грязные треники и свитер таджик. Таджик ничего не читал и с ненавистью поглядывал на Иву и Малого. Последний почти не слезал с нар, сидел бездвижно и, казалось, разговаривал сам с собой, но только не шевелил губами, как Женёк, а весь диалог происходил у него в голове. Ива не понял, что значит «быть Малому в помощь», но спросить не решался. Все постоянно курили.

Подъём в шесть, проверка, завтрак, прогулка по узкому тюремному двору на крыше, стены которого сливались с серым зимним небом, растворявшим даже решётки над головой, возвращение в камеру, обед, ужин, отбой. Впрочем, спали сколько хотели и ели постоянно, без согласия с официальным распорядком. В первые дни Ива не получил передачи и понял, почему все отказывались от тюремного

питания — есть его было невозможно. Только хлеб был похож на что-то съедобное, хотя Ива никогда не видел такого хлеба в магазине — с каменной коркой и клейким мякишем, он напоминал блокадную горбушку в музее Дороги Жизни недалеко от Ивиной дачи. Баланда же представляла собой вонючую жижу, в которой плавали неопределённые ошмётки. Щи без капусты. Питались в основном присланными с воли растворимыми супами и вермишелью, которую заваривали прямо в мисках, нагревая воду кипятивником. Палыч и Бульба получали спецпитание — творог и яйца, но за них надо было платить взятку. Ива тоже решил договориться, а вот у Малого и таджика денег не было. С утра до вечера не умолкал телевизор — сериалы, шоу, тупой народный юмор, который, впрочем, нравился Ивиным сокамерникам, голосисто ржавшим над вымученными репризами. Ива научился отключаться и не слушать, как не слышишь трамваев за окном. Ещё всей камерой смотрели новости. В основном показывали президента — его поездки по стране и за границу, бесконечные заседания с премьером и министрами, встречи с народом. Иве он был неприятен, остальные же, напротив, были в него влюблены, особенно Палыч, защитник теории, почему именно он и никто другой. «Американцы — гады, — обстоятельно объяснял он, когда находился в хорошем настроении. — Они хотят, чтобы Россия была слабой, как при пьянице Ельцине. Соки из нас хотят тянуть, нашли себе, бл, страну третьего мира, — Палыч матом не ругался, но в речи его проскальзывали абсценные рудименты. — А он мужик. Настоящий. Все его ссут — и в Европе, и америкосы. Всех

он раком, бл, поставил. России нужен царь. У нас это в крови — рабство. Тёмен русский народ, ничего-то он сам сделать не может, как дитя малое. Нужен ему поводырь, чтобы наставлял, вёл за собой. Сталин вот был хорошим царём, а потом так — чушканы одни. И теперь вот он. Что бы мы делали без него, сука?» — заключал Палыч, обводя слушателей умными звериными глазами, те одобрительно кивали головами, Ива пялился в стену.

Сначала Иву допрашивали по два-три раза в неделю. Следователь приезжал один или с адвокатом, кричал, ругался, угрожал или, наоборот, был вежлив и предлагал всё устроить и во всём помочь. Адвокат тоже советовал подписать признательные показания, но Ива твёрдо решил, что наговаривать на себя не будет.

Надо было что-то читать, чем-то заниматься, но Ива как-то отупел. В передачах книги не разрешались, он попросил принести ему что-нибудь из тюремной библиотеки — всё равно, классику — выдали «Воскресенье» с оторванным форзацем. Было скучно, менторский тон Толстого не ложился на сегодняшние тюремные ощущения.

Ива слушал. Палыч оказался бывалым ээком, начал с малолетки и всю жизнь провёл по колониям: грабежи, кражи. Скромно потупив взор, он хвастался даже одним убийством. Он выходил на свободу на пару лет и садился снова. Ни семьи, ни детей у него не было. Списался однажды с вдовой из Костромы, дождавшейся, пока он откинется в очередной раз, вышел, женился, прожил с ней год: она работала, он за хозяйством следил — был у вдовы дом и козы.

Но поманила его босяцкая тоска, встретился со старыми подельниками, ограбил ювелирный магазин, тут же всех поймали с поличным, вдова подала на развод. Он с увлечением рассказывал о прошлых сидках, о том, что колонии за последнее время изменились, не делятся они больше на красные и чёрные, всё сравнялось, вохра повсюду прессует зэков, но жить можно. Казалось, Палычу нравится такая жизнь, без тюрьмы он, наверное, не смог бы, не знал бы, куда себя деть. По новой статье ему грозило до восьми лет, он собирался выйти по УДО и отправиться на покой: «Не хочу окачуриться на зоне», — пояснял, но Ива не верил ему. Палыч был по-народному религиозен. Он не знал Библии, да и вообще вряд ли прочитал хоть какую-нибудь книгу, но жизнь его была подчинена обрядам: он крестился перед принятием пищи и перед сном, ежедневно кланялся камерному иконостасу, но не молился — не знал, наверное, текстов. Один раз за взятку допустили его до тюремной церкви, он вернулся со службы в особенном просветлённом настроении, весь день шептал что-то и крестился, а когда однажды в камеру зашёл священник в сопровождении начальника тюрьмы, первым кинулся целовать ему руку, за что получил благословение вместе с причмокиванием жирных губ, червиво шевелящихся в окладистой чернозёмной бороде. Он любил шахматы, перед каждой партией объявлял, что играет «без интереса», и литрами пил чифирь, который заваривал в большой жестяной кружке, называвшейся чифирь-бак. Компанию ему в этом составлял только Малой: Палыч отливал ему за работу. Палыч не то чтобы гордился своим привелигированным положе-

нием, но следил за соблюдением тюремного этикета. Он приблизил к себе Казака, которого уважал за умные разговоры и шахматы, держал в вассальном подчинении Женька, позволяя ему подначивать Малого и таджика, которого все называли Дикарём. Эти двое да Ива были для Палыча мусором, который он замечал только в случае необходимости. Малой ждал таких моментов и лебезил перед старшим, исполняя нехитрые поручения по уборке и стирке.

Казак был аудитором, его заказали клиенты: он не хотел покрыть одну афёру, а они решили упечь его за решётку. Домохозяйка жена и трое детей остались без кормильца. Родители помогали, а жена искала работу, но никто не брал её, ведь всю жизнь просидела она дома. Он был уверен в оправдании, к тому же его знакомые начали поднимать шум в прессе. Ива раньше не понимал суеты вокруг отдельных личностей, нет дыма без огня, казалось ему, если украл, то уж посиди, чего кричать про кровавый режим. Но слушая шахматные диалоги, он переменял мнение: если невиновен, все средства хороши, чтобы отбрехаться от срока. Казак был солидарен с Палычем в политических вопросах: поносил систему, при которой коррумпированная шантрапа окружила мудрого президента, а у того не осталось ни одного грамотного и честного специалиста. Они расходились лишь в отношении к премьер-министру: Палыч уважал его за откровенность и современность, а Казак называл гномом при Белоснежке, реморой, прилипшей к сильному лидеру. «Это старая наша проблема, — рассуждал он. — Вот Николая II возьмём. Хороший же был царь, но все вокруг воровали, а что

один человек может сделать против целой страны? Хотел вешать, но всех же не перевешаешь. К тому же одних казнишь, а другие примутся воровать, да ещё пуще. Я читал, что он запустил однажды в народ какого-то доверенного человека, чтобы тот рассказал, как на самом деле обстоят дела. И что же? И его подкупили! Так и сейчас. Трагедия земли русской!» — восклицал он. Палыч в целом соглашался, вставляя пару слов в защиту премьера.

Толстого Женька судили за наркотики: купил для себя, а барыга его же и сдал. Мама передавала Женьку печенье и конфеты, он поглощал их за романами, сладкое иногда заменяло ему обед. «Ну вот смотри, — говорил он. — Если я съем эти макароны, мне всё равно захочется шоколада. А так я и удовольствие получил, и наелся, а от макарон у меня колики». Женёк звонил матери по камерному телефону и просил денег, надеясь разжиться травой, но маму научили, что денег давать не надо, и она лишь немного переводила на его счёт, чтобы хватало на сигареты и мелочёвку из тюремного ларька. Женёк плакался, что его не любят девушки: и на воле-то не хватало секса, а уж в тюрьме тем более. Ива глядел на него и думал, что ему бы неплохо сесть на диету и заняться бегом, тогда, глядишь, и девушки полюбят, но молчал — разговаривать с мужиками на равных не полагалось. В Женьке угадывался неплохой парень — добрый балагур, с которым Ива вполне мог выпить в общей компании на воле, но казалось, что он усердно прячет всё человеческое, что было в нём, стараясь казаться более взрослым, крутым, сильным. Он, впрочем, то и дело попадал впросак, нарываясь

на грубость жожака. Однажды заврался, рассказывая про свои сексуальные приключения (плач по поводу невнимания со стороны женского пола сменялся постельным бахвальством), и не заметил, как заявил, что никто не знает лучше него, как нужно ублажить женщину, чтобы ей «память, сука, отшибло».

— Ого. Так ты, бл, у нас главный по этому делу? Ну. И как? — спросил Палыч, глянув с недоброй хитрецей. Женёк покраснел, почуяв неладное, но остановиться не мог.

— Ну как же Палыч, неужто вам вдова не рассказала? Ха-ха. Клитор там у них, вот за него надо браться.

— Да чем браться? Лизал что ли котлован бабе своей?

— Лизал? Н-нет. Не лизал, — совсем уже испугался Женёк.

— Ну-ну. Признайся, лизал. А там до того чужой хер был. Вот так-то и зашкварился, парниша. Да ты на правильной стороне хаты, по ходу.

— Да нет же, Палыч, не лизал, ничего я не лизал, — оправдывался Женёк, и Палыч прощал ему: опускать Женька он не хотел, так — проучить, чтобы «фильтровал базар».

Женёк то и дело задира Малого, таджика и Иву, говорил с ними демонстративно грубо, называл не по именам, а пидорами и чуркой. «Вонища какая в хате, эй, чурбан горный, почему мы вчера мылись, а ты уже весь воздух испортил?» Таджик обычно молчал, но иногда взрывался, вскакивал, начинал кричать неразборчиво. Палыч умирал его взглядом или пихал ногой, будто отмахивался от назойливого пса. Женёк не дрался, но мог при случае пнуть Малого или Иву, отвечать ему не полагалось, Ива терпел.

Таджика Хаджимурата прораб на стройке обвинил в краже, к тому же вскрылось, что он жил по поддельному паспорту, который купил за три тысячи долларов как настоящий. Впрочем, сам Хаджимурат уверял, что прораб просто не хотел платить ему и другим таджикам. Товарищи его, понутив головы, ушли искать новую шабашку, а Хаджимурат закобенился, подрался с начальником, добавив себе статью за причинение вреда здоровью. Он тихо сидел в углу, пять раз в день совершал намаз между столом и дверью (тормозами), к этому привыкли, хотя порой шутили: «Опять аллахакбар теракт, сука, готовит, ложись, кто может!» Иногда его прорывало и он в который раз на ломаном русском принимался рассказывать свою историю: «Он говорит: плохо работаль, деньги не будет. Мой весь таджик пошумель и ушёль. А я не ушёль. Нечестно, говорю, нехорошо таджик обманывать! Мы хорошо работаль, плати! Он сам первый сначала меня биль по лицу. Нехорошо бить по лицу», — восклицал Хаджимурат и драматично разводил руками, призывая всех проникнуться глубиной несправедливости. На него не реагировали, лишь Женёк иногда начинал передразнивать его акцент, да Палыч мог обернуться и одёрнуть: «Дикарь, заглохни, и так жбан долбит».

И наконец, Малой, второй петух в хате. Сам он про своё дело молчал, Ива ухватил из разговоров, что проходил он по сто пятой — убийство, но детали были неизвестны. Зато Женёк выведал, каким образом Малого записали в обиженные. Это была вторая его сидка, первый срок он получил за кражу, но склонности свои от братвы скрывал. На зоне Малой закрутил роман со своим «семейником» — зэком, с которым

делил передачи, вообще вёл совместное лагерное хозяйство. И так им было невтерпёж, что сексом они стали заниматься прямо в бараке после отбоя. Ива представил ровные ряды нар, мужчин, храпящих в луче от фонаря, что лениво скользит по светлым простыням... И вот один из них просыпается от неуместного звука — соседняя койка будто бы мерно поскрипывает. Он приподнимается, моргает спросонья, вглядывается и видит две босые пятки, вскинутые на чьи-то плечи. Так их и застучали, перевели в опущенные, администрация развела их по разным отрядам, но Малой и его возлюбленный заявили, что порежут себе вены, если их не сведут обратно. Им пошли навстречу, запретив нарушать режим. Чем закончилась эта история, информаторы Женька не знали, Ива жалел Малого — одиноко ему, наверное, грустно: найти любовь, да не где-нибудь, а в лагере, и потерять её из-за неумолимой системы. С утра Малой подметал камеру облезлым веником, мыл парашу и забирался на шконку, заводя свою безмолвную беседу. Ему платили за это сигаретами и иногда «Роллтоном», если долго не заходила дачка. Когда он не успевал что-то или Палычу не нравился результат, он кричал на него и мог пнуть с такой силой, что Малой падал, вставал, отряхивался и выполнял свои обязанности. Уже на второй день Палыч поглядел на Иву и распорядился: «Дерево, ты шо кантуешься? Давай к Малому, шо он за двоих горбит». Ива встал, растерянно оглянулся, Малой глазами указал на парашу, Ива неуклюже отодвинул шторку, она плащаницей легла ему на плечи, он долго не мог выпутаться, смутился, покраснелся. Шторка состояла из двух простыней. Одна была

свёрнута в жгут и крепились к изготовленным из расплавленных одноразовых бритвенных станков штырям, что вставлялись в выдолбленные в стене углубления. Через неё перекидывалась вторая. Конструкция была хлипкой — крошащийся бетон плохо держал горячую пластмассу. Ива неумело пытался вставить выскочивший крючок, но тот всё выпадал под весом простыней. «Дерево, у ты в школе труд был? Или ты с трудовиком киянку в жопу пихал?» — заржал Женёк. «Ха-ха-ха. Киянку», — пробасил ему в ответ Казак. Выручил Малой — поджёт крюк зажигалкой, поплавил немного, воткнул на место. Ива залил металлическую парашу моющим средством и слишком усердно, как и полагается новичку, принялся вытирать её сырой вонючей тряпкой, когда-то бывшей махровым полотенцем, вспоминая унитазаы «Невского паласа». Он был не брезглив, чужих отправлений не гнушался: в порыве страсти вольной жизни не всегда успеваешь послать любовника в ванную, чтобы тот сделал клизму душевым шлангом. Отскабливая засохший коричневым нарост, Ива вспомнил, как однажды на кухне трахал стоя одного пацана, вынул член, чтобы сменить позицию, а парень не сдержал сфинктеры и уронил на кафель жидкую коровью плюшку. Мальчик сконфузился, бросился извиняться, божился, что никогда такого с ним не случилось, Ива же молча выдал ему половую тряпку, а когда он убрался и подмылся, продолжил заниматься сексом. «Жизнь и так говно. Лишний грамм ничего не изменит. Надо заказать резиновые перчатки», — подумал Ива, оглядев вымытый дальняк, и улыбнулся сам себе, догадавшись о чём беседует сам с собой Малой.

Мыть толчок оказалось не самым страшным, гораздо неприятнее было им пользоваться. От тюремной еды у Ивы случилось расстройство желудка. Он никогда не задумывался об этом, но с удивлением понял, что мог бы выйти голым на улицу, не раз занимался сексом в общих помещениях гей-саун и европейских секс-клубов, он вообще мало чего стеснялся, но испражняться при всех было мукой. Поначалу он терпел, старался накопить побольше, живот угрожающе рычал, он спрыгивал, наконец, со шконки, бежал к параше, звучно извергал вонючую жижу, ощущая приятную лёгкость, свободу, стараясь не думать о соседях. Последние вовсе не проявляли такта, в камере повисала тишина, выдержав театральную паузу, Палыч нарочито громко шутил: «Чтой-то у Дерева от сексуальных утех жопа простудилась. Хоть, бл, вату жги, аж глаза режет». Казак с Женьком заливисто хохотали, кто-нибудь поджигал клочок газеты, от которого камера пахла зимним дачным домом, невынесенным с утра ведром с помоями, что стоит у печки. Красный от стыда Ива выскальзывал из-за простыни, мыл руки и ждал новых судорог.

Через пару дней после заселения Иве принесли вторую передачу от брата. В тряпочной авоське помимо лапши, чая, печенья и копчёной колбасы лежала груда сигарет и новогодних открыток. Ива сигарет не курил, сладкое старался не есть и не понял, зачем ему такая прорва чая, к тому же он привык к чаю по-английски, с молоком. Вспомнив наставления Палыча, он вывалил всё на незастеленную клеёнкой «обитую» часть стола. «Я ведь не курю, зачем мне это?» — протянул удивлённо, на что Казак отечески

усмехнулся: «Да ты дебил что ли? Твоих-то правильно надоумили, адвокат, верно. С хатой делиться надо, они на всех передали». Ива пододвинул прозрачный пластиковый пакет с сигаретами к Казaku: «Пожалуйста, курите», — сказал он. «Дерево, бл, ты порядок забыл? Очумел совсем? Законтачил, бл, своё петушиное курево», — глядя исподлобья на Иву лязгнул зубами Палыч, ударил по столу кулаками, приподялся, Ива сжался в ожидании удара, Казак одёрнул руку: «Повезло Малому, скурится теперь».

Если неделю не мыться, начинаешь вонять, независимо от того, сколько у тебя дипломов о высшем образовании. В тюрьме душ раз в неделю. Зэки моют руки после туалета, подмывают зад из пластиковой бутылки, можно даже протереть подмышки, но полностью в камере не помыться, да и нет горячей воды. Для бритья кипятим, но это такая морока, что я решил отрастить бороду, она получается разноцветная и лезет в разные стороны. От запаха же курятника не скрыться, потому что курятник — это ты сам. Не могу сказать, что это главное, что меня напрягает. Я и в летнем метро любил принюхаться к чужой подмышке, и любовников просил ограничиться в душе самым необходимым, хотя не чувствую влечения ни к одному из сокамерников, так что и запахи их не слишком приятны. То же и со стиркой. Раз в неделю баландер забирает грязное бельё, но постельный комплект всего один, и если кому не передали второго из дома, приходится спать на голом матрасе. Малой вот бельё не сдаёт, когда садишься на его шконку, оно ломается под тобой засохшим армянским лавашом. Носки и трусы стираем в раковине и развешиваем по хате, мы с Малым обстирываем мужиков, Хаджимурат не стирает вовсе. Камера похожа на двор в бомбейских трущобах, руки покрываются брезгливыми цыпками. Родная блоковская азиатчина.

Вчера вывели в первый раз на помывку. Небольшое помещение, белый кафель, достаточно чисто, пахнет хлоркой. Разделись в предбаннике, оставили вещи,

взяли, как они говорят, мыльно-рыльное. Малой бос и наг — у него один только кусок мыла, я потом в камере подарил ему зубную щётку и тюбик пасты. Он указал мне наши петушинные места, все ссутулились под мрачными металлическими лейками, высунутыми, как языки у повешенных. Вода нормальной температуры, включается где-то снаружи, времени 15 минут. В принципе, это много, в следующий раз возьму бритву. У Палыча очень маленький член. У Женька тоже, к тому же и потерялся в волосатых жирах. У остальных не разглядел. Боялся возбудиться, хотя во всём этом так мало секса, что опасности нет.

Здесь на всё нужны деньги, иногда их эрзацем служат сигареты, впрочем, это тоже деньги, причём деньги брата — у меня есть какие-то сбережения в банке, но доступа к ним нет, карты мои изъяли при обыске, я уже трижды писал просьбы оформить доверенность на доступ к счёту, но администрация их игнорирует. Нужно платить за творог и яйца — взятки баландеру, на неразрешённую в передачах колбасу — взятки администрации, нужно платить за телефон, иногда телефоны конфискуют и надо затягивать новые, последний покупал я. Нужно постоянно переводить деньги на общак, иначе могут побить. Переводят «кто сколько может», а по факту, кто на сколько расколется и кто как подружится со смотрящим. Женёк вот в какой-то момент перестал участвовать, требовать с него напрямую не стали, но Палыч несколько дней докапывался до каждого его движения: не так сел, не туда шлёмку поставил, дрыхнешь, когда коней надо закидывать... Закончилось тем, что огрел его кастрюлей по голове, наорал

и дал понять, что пропускать членские взносы нельзя. Женёк тут же позвонил маме, она перевела бабло на Яндекс кошелёк. Деньги эти никто не контролирует, сколько реально тратится на общие нужды, а сколько Палыч оставляет себе — известно только ему. Коррупцированные робингуды.

Здесь нужно следить за каждым словом, в головах у эзков выбит неписанный тюремный кодекс, криминальная Тора. Выучить её сразу невозможно, познаётся она пробами и ошибками. Лучше вообще молчать, если не получается — думать над каждым словом, чтобы никого не обидеть. Сидевшего в тюрьме человека можно сразу распознать по слегка заторможенной речи: он говорит, зафиксировав взгляд, безэмоционально, неторопливо, будто вспоминает зазубренный много лет назад параграф из учебника — но это не потому, что ему на зоне мозги вышибли, а просто он по привычке подбирает слова, боится ошибиться. Нельзя ругаться матом, нельзя ставить под сомнение авторитет старших, а лучше вообще чей бы то ни было (особенно мне), нельзя слишком много рассказывать о себе, о жизни на воле, особенно о деньгах и связях, нельзя слишком откровенно говорить о сексе, про женщин можно только уничижительно, либо же про большую любовь, если кто расколется, что, скажем, поцеловал женщину ниже пупка (куннилингус вообще сродни смертному греху), рискует быть опущенным, при этом надо казаться мужиком, крутым, сильным, которому палец в рот не клади. Слава богу, меня это не касается, не перед Малым же мне выпендриваться. Зато все дружно ненавидят пидоров, хачей, жидов, ментов, пиндосов, хохлов, пиздоглазых,

чурок, вообще всех. Хаджимурату достаётся больше, чем мне, хотя он выше меня тюремным рангом. Интересно, что если ты таджик, то ты не терпишь всех по тому же списку, включая хохлов и азиатов, но за исключением таджиков. Если ты пидорёнок, как Малой, ты такой же расист и антисемит, но делаешь поправку на себя самого. Если ты опущенный натурал, ты гомофоб, пусть даже и трахаешь кого-то из своей петушиной стаи. Самоутверждение в квадрате. Ничего нового в этом нет, на воле мы поступаем так же, но делаем это более галантно и с поправкой на нормы приличия, в тюрьме все чувства на поверхности, примат первобытного над социальным.

Здесь привыкаешь к унижению. С тобой обращаются, как с говном, но ты свыкаешься с этим, тебе даже кажется, что это нормально, ну а как ещё — они же мужики, а ты пидор. Хорошо, что не бьют. А когда бьют, хорошо, что не сильно. А когда сильно, хорошо, что не избивают, а пинают только, да и то за дело: Палыч же сказал не подходить к холодильнику, когда он сидит рядом. Учишься изворачиваться, изгаляться. Как слизень, принимаешь форму листа.

Вообще всё ужасно скучно. Стоит попасть за решётку, чтобы понять, что жизнь вообще — тюрьма. Я не видел этого раньше, но постепенно доходит до меня: пусть за стенами хаты больше пространства, можно летать на самолёте, кататься в метро и трахаться, а здесь — лежать, есть, гулять, играть в шахматы и болтать о разной ерунде, но... Вот я — строил карьеру, ездил несколько раз в год за границу, напивался до полумрака на вечеринках, читал стихи. Я мечтал смыться на год в Латинскую Америку пу-

тешествовать с рюкзаком, но боялся оставить работу, боялся, что не проживу без комфорта, боялся одиночества чужой страны, боялся, что не справлюсь, не смогу. Я не признавался себе в этом, но на самом деле мне ведь не нравилась моя жизнь, моё агентство, беспорядочные связи, бессмысленные разговоры. Да-да, я обманывал себя напускным счастьем. Все так делают. Главное достоинство тюрьмы в том, что здесь можно быть откровенным с самим собой, сознаться в том, что меня раздражала необходимость скрываться, лгать, придумывать самому себе свою якобы свободную жизнь, где я был героем чьей-то чужой истории, неумело втиснутым в фабулу карманного романа — минутного развлечения целлюлитной бухгалтерши на израильском пляже. Я может и мечтал быть самим собой, но боялся, боялся, боялся. Жизнь — страх. Мы делаем вид, что не замечаем его, что его нет, но он здесь, рядом, как смерть, он преследует нас и то и дело напоминает о себе, на мгновение приоткрывая обрамлённый в мрамор чёрный металлический люк, веющий архетипическим ужасом небытия. Может, истинная свобода в том, чтобы перестать бояться? Но жизнь без страха невозможна. Где же отличие от тюрьмы? Что воля, что неволя — нет разницы.

Я не фаталист, я жил иллюзией того, что от нас зависит, в какую сторону двигаться, ну или по крайней мере, если многое и предопределено социальным классом, семьёй, воспитанием, образованием, врождёнными физическими и умственными способностями, приоткрывается всё же время от времени окно возможности, и главное не упустить момент, чтобы на десятилетия, если не на всю жизнь, дать заряд

центробежным силам, превращающим человека в то, что он есть. Когда нет таланта к музыке, не станешь великим пианистом, хотя можешь быть тапёром на свадьбах, но если уж сел за рояль, сложно переменить решение и заняться атомной физикой — в этом и есть промысел. Но мы хоть и вольны определить, винтиком какой машины желаем стать (впрочем, и здесь ассортимент ограничен), пойдя по своему пути не застрахованы от того, что фатум не подкинет нам сбежавшего из дому подростка или ВИЧ-положительного любовника. Судьба — последняя из оков, разорвать их невозможно.

Думать о смысле жизни нелепо, жизнь — есть смысл. Есть, дышать, наслаждаться прохладой воды, лучами солнца, запахом соснового бора, чужим телом. Говорят, что это есть счастье, эндорфины, так и надо, в этом смысл. И пусть прошлое вызывает раздражение, будущее — страх, но главное ведь — настоящее, здесь и сейчас. Экзистенциализм, мать его. А что если здесь и сейчас — обманка, отчаянная попытка замаскировать показным удовлетворением ужас перед очевидным: человек не может быть счастлив, ибо его существование — ошибка. Природы ли, или Творца. Счастье — для аборигенов с самосознанием инфузории из забытой богом деревни на экваторе без газет и телевидения, они на самом деле и не представляют, что это такое, живут от обеда до оргазма, но стоит им вкусить от современного древа познания, как они теряют этот рай, превращаются в таких же, как я, как Палыч, как Женёк, их тюрьма, ограниченная раньше лужами родной улицы, становится ещё теснее. Эволюция — вот корень несчастья. Человек

был создан природой, но вырос из природы, пошёл против неё, решил, что он — Бог, что он свободен, но свободу эту он неминуемо использует, чтобы уничтожать природу и, как следствие, самого себя. Выбора на самом деле нет, мы обречены на самоистребление, на исправление ошибки. Может быть, в каком-то доисторическом раю хвостатые Адам и Ева ходили на четвереньках, щипали траву, не поднимая глаз к небу, и были счастливы, не задумываясь о сути счастья, сегодня же о тех днях напоминает лишь кобчик, человек задрал голову к звёздам, но стал ли он счастливее? Душа и вечная жизнь, разумеется, сказки для тех, кто хочет верить, что после смерти они вернуться, но возвращаться-то некуда, на месте Эдема бетонные развалины. Человек приходит к развалинам снова и снова, но они от этого не становятся домами, а остаются метафорой. Но люди не замечают, что живут на развалинах. Они строят так называемые карьеры (или роют для себя карьеры), поднимаются по служебной лестнице, всю жизнь карабкаются вверх, усиленно преодолевая ступень за ступенью, пролёт за пролётом. Глаза им застит пыль, на зубах скрипит цемент, они стараются не дышать слишком глубоко, не смотреть по сторонам, лишний раз не оглядываться, останавливаться как можно реже — ведь можешь не успеть и сойти с дистанции раньше времени. С них градом льёт пот, они поначалу вытирают его предплечьем и тыльной стороной ладони, но и руки мокры, и они перестают, испарина разъедает их кожу, покрывает лицо морщинами, сердце бешено бьётся, мышцы икр дрожат от усталости, они становятся уродливыми и обрюзгшими, но идут, карабкаются в надежде, что



кими же, как я, но администрация недавно распределила петушинные хаты по всему заведению — в них издеательства были ещё круче, отверженные ненавидят отверженных. Палыч ворчит из-за этого, но не сильно — помнит, как при советской власти все делили переполненные общаки, где обиженным отводился угол возле параша. Моя койка и тут рядом с дальняком, край моей эмалевой миски и ложка пробиты отвёрткой — чтобы никто из мужиков случайно ими не воспользовался, такие же дырки в посуде Малого. Мы обслуживаем камеру, мы на положении не крепостных даже, но рабов. Мне нельзя подать руки, сидеть со мной на одной шконке, я — неприкасаемый. Бить меня разрешается только ногами. Ещё, в теории, меня можно изнасиловать — членом до меня тоже дозволено дотрагиваться. При этом я хоть и нахожусь на низшей ступени тюремной иерархии, моё положение лучше, чем у «опущенных», которых приговорили к этому понижению. У нас в камере таких нет, но их жизнь за решёткой незавидна, их презирают и стоняются, тогда как со мной лишь придерживаются годами устоявшихся традиций. Я, к примеру, могу говорить, хоть и с оглядкой на настроение собеседника — тоже некоторая свобода. Впрочем, разве что-то изменилось? На воле я был таким же поражённым в правах петухом, только без права голоса — добровольно вставленный кляп заставлял жить по чужим лекалам. Здесь меня в лицо называют гомосеком, там — называли при мне гомосеками других, но я-то относил это и на свой счёт.

Мценская тоска. Нет сил ни читать, ни гулять, ни думать, ни играть в шахматы, даже если бы было

с кем. Самое страшное в тюрьме — абсолютное безделье. Долгие, пустые часы, жизнь высыпается песком из зазора между железными панелями грузового вагона, истекает ржавой бесполезной струйкой в унитазе со сломанным бачком. Хорошо хоть можно писать, заказав тетрадь и ручку в тюремном ларьке. Вот и пробило на дешёвую философию. Что происходит со следствием, я не знаю, следовательно ко мне приходит редко. Сколько прошло времени со дня ареста, я не помню, перестал следить за днями, за временем, знаю только, что подъём в шесть, обед в час, ужин в шесть и отбой в десять. Они упекут меня, конечно, лет на пятнадцать, но это неважно: просто из большой тюрьмы я теперь попал в маленькую, а потом поеду в лагерь, что тоже суть тюрьма. Какая разница, где и чего бояться, всё — лишь разновидность страха. Смерти я тоже боюсь.

С Ивой и Малым никто особенно не разговаривал. Палыч обращался к ним только по делу и походя, таджик глядел неприятно и лишь Женёк отпуская в адрес «гей клуба» сальные шуточки. Ива поначалу не реагировал на них, но мало-помалу начал отвечать в той же шутливой манере, поняв, где находится черта, за которой шутка превращалась в оскорбление, а также и с кем дозволено шутить: к Палычу Ива не обращался никогда.

— А что, пидарки, всё-таки не пойму, ведь елдак в жопу — это больно. — съехидничал в очередной раз Женёк, положив роман на выпуклый живот.

— Да почему же больно? — ответил Ива вопросом на вопрос.

— Ну хуй большой же. Или вы только с маленькими?

— Да нет, отчего же, с большими-то приятнее.

— Ну так и я о том. Как вы терпите?

— Да ты откуда знаешь, что больно? Пробовал что ли? — Казак громко усмехнулся на это, пошевелив усами, Малой вышел из транса и заёрзал под Ивой, даже Палыч одобрительно наморщил нос и лишь таджик покривился с отвращением.

— Ты чо, Дерево, самый умный? — набычился Женёк и привстал, как шимпанзе, решивший испугать противника.

— Да ладно, ладно, я пошутил, извини.

— За такие шуточки, сука, спрашивают не по-детски, — Женёк горячился, хотя Ива знал, что драться он не будет: когда бьют, не предупреждают.

— Видите ли Евгений, природа устроила человеческое тело таким образом, что вокруг анального отверстия располагаются эрогенные зоны. Сделано это для того, чтобы мы не забывали испражняться, чтобы этот процесс приносил нам удовольствие. — по-профессорски начал Ива. — Во-вторых, у мужчин, как вам известно, есть предстательная железа, ответственная за выработку специального секрета, который выбрасывается при семяизвержении. Так вот, при искусственной стимуляции простаты тем же членом, она начинает работать активнее, увеличивая возбуждение и, следовательно, удовольствие. Не обязательно быть геем, чтобы стимулировать простату, при половом контакте с женщиной можно делать то же самое.

Женёк не знал, злиться или нет, не мог понять, была ли лекция Ивы оскорбительна для него, покраснел, посмотрел на мужиков, оставил последнее слово за собой:

— Слышь ты, пидор, ты у меня нафонаришься. Учёный, сука, нашёлся. — Ива смолчал, решив не накалять обстановку, улыбнувшись про себя на неуклюжие потуги Женька «ботать по фене».

Иве казалось, что остальные увлечённо слушали его в такие моменты, хоть и молчали. Им явно было интересно, к тому же и безопасно, сами они в диалог не вступали, лишним контактом с опущенным не марались. Ему было неловко поднимать эти темы с гетеросексуальными мужчинами, с которыми его связывали лишь 15 квадратных метров камеры. Если не считать того случая в ресторане, никогда он не обсуждал свою ориентацию за пределами потусто-

ронного мира Хорнета. Мужики не понимали его, считали, наверное, немного тронутым, но Иву после таких разговоров захлёстывало чувство необозримой свободы, как если бы он долгие годы сидел в тёмной закопчённой юрте, а тут вдруг вышел на улицу, обнаружив за пологом бескрайнюю степь. Можно, можно говорить, отстаивать свою точку зрения, пусть осторожно, чтобы не побили, ерунда всё про бисер и свиней, нужно разбрасывать знание, если есть хоть малейшая надежда, что среди закосневших в серости существ затерялась одна живая душа. Ива всё больше замечал, что его речи не остаются без внимания, даже Палыч посматривал на него с любопытством, но по-прежнему не разговаривал с ним, хотя и получил по тюремной почте подтверждение того, что дело Ивы сфабриковано. Малой смотрел с восхищением и больше не подпускал Иву к параше. Иве было известно, он отбирал у Малого веник и подметал пол, но чаще тот оказывался проворнее и убирался быстрее, чем Ива успевал опомниться. Стирка, впрочем, осталась на обоих.

Тема гомосексуальности витала в воздухе, об этом постоянно говорили по телевизору. Особенно жестокий спор разгорелся из-за дебатов, в которых принимали участие дебиловатый депутат Госдумы, отданный ему на заклятие американский журналист, певицы, психологи и загадочные эксперты. Якобы имел место плюрализм мнений, но ведущий вовсе не был арбитром, нападал на американца, чаще давал слово депутату, выставляя защитников толерантности идиотами и пособниками западного империализма, а сторонников традиционных ценностей —

оплотом земли русской. Смотрели всей камерой, сидя за столом, комментировали, Палыч с Казакom даже прервали шахматную партию.

— Ну. Нравится тебе долбиться в зад, долбись дома, зачем трубить об этом на публике? — согласился Казак с одним из героев программы.

— Ну почему же? Почему люди должны скрывать свою природу, почему мы не можем жить, как все? Вы же ни от кого не скрываете, что у вас жена и дети, — проблеял вдруг из своего угла Ива, который с Казакom обычно не заговаривал. На него удивлённо посмотрели: как осмелился.

— Потому что природой так устроено, что у человека должна быть жена и дети. — решил отчего-то продолжить дискуссию Казак, хотя мог и не отвечать.

— Но природа создала и геев. Это врождённое качество. Как цвет глаз. Генетически обусловлено. — Ива говорил отрывисто, преодолевая робость: спорить со вторым человеком в камере — не шутить с Женьком.

— Всё равно отклонение.

— В рамках нормы. Международная организация здравоохранения ещё в конце 80-х исключила гомосексуализм из списка заболеваний. — Ива глянул на Палыча, засосало под ложечкой. Палычу это не нравилось, но он наблюдал с любопытством, может, хотел, чтобы Казак вышел из себя и повёл себя как подobaет в разговоре с зарвавшимся обиженным. Но Казак сам увлёкся, тема задевала его, хотелось поговорить, не видел он, наверное, до того ни одного живого гея.

— Ну а почему у животных нет этого?

— Как же нет? Есть! И у животных, и у птиц — в интернете посмотрите.

— Ха-ха, да пидоры сами животные, — усмехнулся Женёк.

— В интернете что угодно напишут. Да я ведь не против — живите на здоровье, как птицы, но я бы не хотел, чтобы мои дети это видели.

— Почему?

— А зачем им это? Пусть смотрят на нормальную семью. Мало ли что.

— Да говорю же вам, это врождённое качество. Если у вас дети родились натуралами, ничто их не изменит. А если кто-то из них гей? Представляете, как будет страдать от вашей традиционной семьи.

— Чо-т петушок раскукарекался, что ты знаешь про семью-то? — выступил снова Женёк, но Казак не отреагировал на него.

— Не надо! У меня дети нормальные! Но вон в Америке это модно сейчас. По телевизору говорили. Все мальчики обязательно должны спать с другими мальчиками, чтобы попробовать.

— Ну это же ерунда... Никто ничего не должен. А знаете, что согласно исследованиям, у 70% мужчин был хотя бы один гомосексуальный контакт. Если кто-то в подростковом возрасте попробовал из любопытства, а потом понял, что это не его, то так же он женится и заводит детей. Или вы боитесь геенны огненной?

— Хорошо, что мы из других тридцати! — опять встрял Женёк и снова вхолостую.

— Ну а хоть бы и геенны?

— Ну допустим, она существует, ваша геенна. Ну а кто тут без греха? — и распалившийся Ива очумело оглядел камеру.

— Ну хорошо, а гей-парады зачем? Мне, может, неприятно смотреть на голых мужиков на каблуках.

— Гей-парад вовсе не про голых мужиков. Гей-парады начались в Нью-Йорке, когда геи в 70-х стали бороться за свои права. И сегодня в Америке нет никаких голых мужиков, а идут демонстрацией с транспарантами про толерантность и солидарность. А в Европе это средневековая традиция — устраивать карнавал с переодеваниями. Сегодня же перемешалось всё, вот и получилось, что гей-парад стал карнавалом.

— Не, ну даже и марш зачем? Что вам нужно? Статью же отменили, какие ещё права?

— Право оформлять брак, право судиться за дискриминацию по признаку сексуальности...

— А зачем вам брак?

— А вам зачем?

— Ну как. Детей воспитывать и вообще.

— Ну и нам детей воспитывать и вообще. Всякие вопросы наследства. Или вот право не давать показания против родственников.

— Ну детей-то уж оставьте.

— Отчего же?

— Ну что это за семья с двумя папами?

— Или двумя мамами. Или одной мамой. Обычная такая семья. Ребёнку главное, чтобы его любили, а не чтобы у него были мама и папа.

— Ну и что, объяснять детям, что быть пидором это нормально?

— Именно. Так же, как это объясняют в школах в Европе — что ко всем надо относиться одинаково толерантно.

— Ага. И к зоофилам, и к некрофилам. Пусть детки балуются, ха-ха, — вновь Женёк.

— Есть разница между этими отклонениями и гомосексуальностью.

— Какая?

— Во-первых, гомосексуальность — это норма, кроме того, это союз, отношения двух половозрелых людей, в который они вступают по взаимному согласию. У козы, трупа или ребёнка никто согласия не спрашивает.

— Нет, это ерунда какая-то. Семья должна оставаться семьёй, — обстоятельно подытожил Казак, — Иначе куда мы скатимся? Не по-христиански это, не по-божески.

— Товарищи, позвольте, — Ива забылся, вскочил с лавки, встал посреди камеры между двух рядов шконок, святые и блудницы на стенах притаились в предвкушении. Ему было страшно, он нарушал все мыслимые правила, он мог поплатиться за это, знал это, но остановиться не мог. Он вперился в тусклое окно и заговорил на одном дыхании, сначала тихо, опасно, потом всё громче, увереннее, будто повторяя заученный текст наставления. — Иисус завещал любить ближнего своего, как самого себя. Нигде он не упоминал о геях. Только у апостола Павла в посланиях к Коринфянам и к Римлянам написано, что они не наследуют царствие небесное. Но как специалист по ранним христианам могу сказать, что этому есть историческое объяснение. В некоторых общинах люди были уверены, что раз они уверовали в Христа, то спаслись и все грехи им отпустятся, к тому же тогда ожидали скорого конца света, так что думали — если

погрешить напоследок, ничего за это не будет. В таких общинах царил разврат невиданных масштабов, свальный грех показался бы самобичеванием. Апостол Павел этого не одобрял, потому и писал, чтобы они знали меру, к тому же клеймил и язычников, которые, по его мнению упорствовали в пороке. Но он ведь не только по мужеложникам проходил, а и вообще по всем, кто предавался похоти. Вот ты, Женя, всё говоришь о девушках и сексе, а с апостольской точки зрения мы с тобой на одной греховной доске, царствия небесного не видать ни мне, ни тебе. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своём. Это ваш Иисус сказал. Почему же ты считаешь, что твоя похоть законна, а моя нет? Не потому ли, что эти заветы были писаны две тысячи лет назад и сегодня нормы морали изменились? Две тысячи лет, понимаете?! Не было тогда ни Всемирной организации здравоохранения, никого, кто разъяснил бы им, что быть геем — это естество человеческое, как и желание заниматься сексом. Но вы почему-то признаёте за собой право спать с женщинами до и вне брака, а как речь заходит о геях, вспоминаете Священное Писание. Лицемеры! Выньте сперва брёвна из своих глаз, прежде чем указывать нам на наши сучья! Да чем вообще вам мешают геи? Вот вы лично со многими геями знакомы, кроме меня и Малого? Много вы знаете конкретных историй, так чтобы не из телека, а от соседей или родственников, чтобы геи кого-то изнасиловали, совратили, приучили к наркотикам, взорвали поезд из-за того, что они геи? Какой вам урон от нас кроме гипотетического вреда вашим детям, в сексуальности которых

никто не может быть уверен, кроме них самих? Да вы знаете ли, что восемьдесят процентов случаев педофилии — гетеросексуальные, причём, кажется, те же восемьдесят процентов — это не какие-то чужие дяди, которые завлекают девочек конфетками, а ближайšie родственники, друзья родителей, если не сами родители! Запрещают им после этого жениться и рожать детей? Нет! Эта статистика вам неизвестна! Но вы всё же не любите геев и лишаете их нормальной жизни, которой сами беззастенчиво пользуетесь! Вот в тюрьме, к примеру, вы придерживаетесь всех этих нелепых правил, что не можете коснуться моей миски. Мне это хоть и странно, но я не обижаюсь, я понимаю ваш страх перед неизвестным. Но вы думаете, вы по каким законам поступаете? По божеским? Иисус Христос где-то запрещал есть с геем из одной миски и садиться на его койку? Нет, он говорил, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. А ещё говорил «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою мерите, такой и вам будут мерить»! А ведь тюремные порядки — лишь отражение того, что происходит на воле. Когда человека увольняют с работы за то, что он гей — это то же, что заставлять его мыть парашу из-за того, что он гей. Когда нам не разрешают оформить брак, это то же, что не здороваться с нами за руку. Самим фактом своего бытия мы заслужили ненависть и порицание, хотя мы не можем контролировать это, ведь такими нас создала природа или бог, если угодно! Мы — отверженные, поносимые вами, как ученики Иисуса были гонимы иудейскими фарисеями и римскими префектами.

Нас вешают в мусульманских странах, нас сжигают заживо в Африке, о самом существовании нашем принято упоминать лишь в дурацких анекдотах, это про нас говорил Иисус «блаженны плачущие, ибо они утешатся» и «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Мы — посланное вам испытание, диктат providения, цель которого сделать так, чтобы люди приняли братьев своих такими, какие они есть! Проснитесь, друзья, имеющий уши, да услышит, в толерантности спасение ваше и ваших детей, а не в гомофобии. Только когда все будут равны со всеми, наступит если не царствие небесное, то по крайней мере царствие добра и понимания. Мы — мученики, страдающие за человечество, наша жертва в том, что люди должны принять нас и спастись, ибо пока не примут, будут жить во тьме неведения и не спасутся. Я не верю в бога, но если исходить из вашей терминологии, мы — истинные помазанники божии, что должны открыть вам глаза. Мы здесь для того, чтобы...

— Харэ с проповедью, козёл, — цыкнул Палыч, и метнул в Иву жестяной миской. Миска гулко стукнула по лбу, рикошетом отскочила от стола и юлой зазвенела по полу. — Оборзел совсем, бл, бога не трогай, пидор поганый! — Ива осёкся, схватился за лоб. — Ещё и шлёмку об тебя законтачил, мразь, новую затянешь.

Сегодня вызвали с утра, повели по коридорам к выходу, свернули во двор с безголовым тюремным храмом. В советское время ему снесли купола и превратили в медпункт, сейчас отремонтировали, правда молиться в церкви могут от силы человек двадцать, попадают сюда за взятку — в основном авторитеты или бизнесмены. Я не понял, с какого ляду меня привели на службу, я такого желания не выказывал, но конвоир был молчалив, завёл меня внутрь, передал старосте — юркому мужичку в потёртой косухе поверх рясы. Тот поздоровался, мы прошли в подсобку без окон, где на стеллажах лежали новые Библии и старая церковная утварь. Минут через пять в комнату зашёл брат.

Свидания мне не разрешает следователь, но брату приспичило со мной встретиться, он заплатил баснословные деньги и пробрался в тюрьму под видом певчего. В тёмной душной кладовке негде было и присесть, его глаза зловеще блестели в отражённом от золотых кадил блеклом свете, за стеной гундосил батюшка, хор напевно повторял аллилуйи. Брат поначалу смущался, запинаясь, нёс чепуху — тучный, небритый, одетый в мешковатый балахон, набрякший от уличной сырости. Я совсем не знал его, а теперь уже, наверное, и не узнаю. Я-то был плохим братом. В детстве мы постоянно дрались, вернее, я колотил его, заставляя работать на меня. Мы проходили в школе Древний Рим, и я записал брата в рабы, он брал на себя часть моей домашней барщины (подметал, утюжил школьную форму, мыл унитаз — вот

мне и откликнулась та эксплуатация), исполнял различные поручения, вроде отварить яйцо всмятку или нарезать бутеров к завтраку. Если он отказывался или саботировал, я придумывал наказания — приказывал ему дефилировать голым по квартире или гладить мне спину. Обычно он всё исполнял беспрекословно — боялся моих кулаков, но иногда бунтовал и тогда я нещадно бил его, пока он не просил прощения и не обещал исполнить любое моё желание. Любое. Фантазии не хватало, я завёл специальную тетрадку для учёта взысканий и доставал её всякий раз, когда мне становилось скучно. Недоимок было много, если отыскать сейчас ту тетрадку, брат должен был бы служить мне до конца жизни. Лет в 12 я пару раз заставил его подрошить мне, получилось неумело, мне не понравилось, к тому же я боялся, что он проговорится маме. Потом я потерял к нему интерес, забыл о нём, мы жили под одной крышей, ходили в одну школу, но что он делал, чем интересовался, с кем дружил — я понятия не имел, я даже не помню, как он выглядел в те годы, будто его и не было вовсе. Ну и после школы я уехал в Москву, за много лет мы не перекинулись и парой слов, даже на Новый год и день рождения я ограничивался скучными смс.

И вот однажды он тоже перебрался в столицу, мы встретились с ним на кофе. О, это пугающее чувство, когда родной по крови человек оказывается совершенно чужим. С ним было не о чем говорить. Он казался представителем аморфного большинства, всегда готового услужливо подбросить хвороста в костёр с отступником от внутреннего распорядка их тюрьмы. Он был близок с мамой, часто ездил домой,

помогал ей по хозяйству, в то время как меня накрывало от одного имени родного города. Собрался как-то жениться на преподавательнице психологии из своего вуза, даже представил её прихуевшей от такого возрастного мезальянса маме, но брак отчего-то расстроился, и брат жил бирюком в съёмной однокомнатной квартире на окраине, занимался непонятным бизнесом, никуда не ходил, ни с кем не общался. Мне так думалось. Я ошибался. Мне было любопытно: трахается ли он с кем-нибудь, казалось, секс неинтересен ему, как некоторые спокойно обходятся без сладкого или не любят фрукты. Никогда мы не говорили с ним по душам, да и вообще почти не разговаривали, мысль о том, чтобы сесть с ним за обеденный стол вызывала дрожь. Впрочем, я был уверен, что я ему так же безразличен, да он и не знал ничего о моей жизни. До последних событий, разумеется. Я смотрел на него и задавался вопросом: что он думает теперь обо мне — пидорасе, и, возможно, педофиле? Верит ли следствию? Неприятно ему, наверное, что его старший брат — гей. Или обиделся, что я не признался раньше? Хотя он ведь и не спрашивал. «И человеку врагами будут его домочадцы» — это про меня.

Он сумбурно рассказывал, что нотариус нашёл завещание, написанное мамой четыре года назад. Забавная она всё же была: заливала всем, что умрёт в 77 (ей было видение), но подготовилась к этому сильно заранее. Она всё отписала брату. Движимое и недвижимое. Я-то ни на что и не рассчитывал, но для маминого мужа это оказалось шоком, он испугался на старости лет остаться на улице, грозил брату судом. «Слава, это. Заявился сам к нотариусу один,

а ему говорят: мы вас не знаем, ничего вам не дадим, приходите с Безымянным. Когда пришли вместе, он уже там был с адвокатом», — запинаясь говорил брат. Смешно. Я представил старого лиса Славу, который провёл никчемную жизнь в постоянной борьбе за существование и за кусок хлеба, он никогда никому не доверял, везде ждал подставы, ничего-то он так и не нажил, не заработал, не купил, нашёл под конец жизни женщину, пригревшую его в трёхкомнатной норе с пропиской и российским паспортом, но и она его наебала: мало того, что рано умерла, так и ещё и оставила на бобах. «Он уверен, что я знал о завещании, но молчал, — вздохнул брат. — Принёс к нотариусу договор. Они, это, контракт подписали. Ну, типа, это — брачный. Что он не будет пить, изменять ей и будет хорошо себя вести, а если нарушит, то она его выпишет. Нотариус удивился, сказал, что договор силы не имеет». И вот вам мама. Она тоже провела никчемную жизнь в борьбе за существование и за кусок хлеба, никогда никому не доверяла, везде ждала подставы, но ничего так и не нажила, не заработала, если не считать оставшихся от бабули квартиры и дачи. И под конец жизни, разочаровавшись в тысяче и одном мужчине и тысяче и одной диете, нашла наконец-то работающего мужика, готового сюсюкаться с ней, носить ей кофе в постель и терпеть её капризы. Но как бы ни любила его (если она вообще была способна любить), всё же заставила его расписаться под обещанием «хорошо себя вести», а и на всякий случай не включила в завещание — боялась, что он зарежет её что ли? Нельзя их в этом винить, конечно, так уж сложились обстоя-

тельства. Пожалеть разве. Обыкновенная история. Вечная память.

«Ты, это. Тоже со мной будешь судиться?» — спросил меня брат, я посмотрел на него, как на идиота, и рассмеялся. Даже будь я на свободе, тяжбы с родственниками не по моей части. Брат, впрочем, решил поступить благородно и разделить наследство на троих, хотя по закону мамин муж ни на что претендовать не мог даже со своим злосчастным контрактом.

Служба подходила к концу, ничего существенного мы так и не обсудили, я заскучал, захотелось вернуться в камеру. Брат вдруг заёрзал, покосился вбок, покраснел и пробормотал под нос: «Это. Мой бойфренд работает в правозащитной организации. И адвокаты там у них есть какие-то. Может, я спрошу его и они возьмутся за твоё дело?»

Иногда на море идёшь по подводной каменной плите, не замечаешь, как она заканчивается, и с головой проваливаешься в холодную бездну, не успев набрать воздуха. Что? Бойфренда? У моего мужиковатого нечёсанного брата есть бойфренд?! Мы, значит, могли столкнуться с ним в гей клубе или, чего пуще, в сауне? «Привет, о, а ты какими судьбами?» Впрочем, он наверняка нигде не был. А как же эти вздорные матримониальные планы с великовозрастной психологиней, детьми и прочей белибердой? И почему он мне ничего не рассказывал? Мог хотя бы познакомить с парнем...

Я старался не выказать удивления, не спугнуть его, но все же вскрикнул, не в силах совладать с собой: «Какой ещё бойфренд? Ты тоже что ли гей?» — в дверь постучали: пора было закругляться. Брат улыбнулся

с облегчением и кивнул головой. Мне захотелось обнять его, прижать к себе по-родному, по-семейному, но телячьи нежности не приняты между нами. Вошёл пахнувший ладаном староста, смачно шмыгнул носом, я сказал брату, что может делать, что считает нужным, пожал ему руку и вышел из храма.

Дело Казака передали в суд. Он долго готовился, читал копии материалов, вытаскивая их из-под матраса, куда сложил по совету Палыча: так спать было мягче. Следствие, казалось, ничего не смыслило не только в профессии аудитора, но и в уголовном кодексе. Казак с подчинёнными уличил руководство одной инвестиционной компании в том, что оно в течение нескольких лет обворовывало клиентов, оставляя себе чужие доходы. Речь шла о нескольких миллиардах рублей, дырой висевших в отчётности, которые не смог бы не заметить даже студент бухгалтерского колледжа. Ему предложили написать липовый отчёт, предлагали деньги, но Казак оказался честным: «Это было бы преступление, — говорил он. — Меня бы точно посадили. А у меня семья, дети». Казака всё же арестовали, обвинив в том, что это он вывел миллиарды на неустановленные счета. «Да как же аудитор может что-то украсть? Мы же только с документами работаем! Нонсенс!» — восклицал Казак и сочно смеялся, уверенный в том, что ни один судья не поверит такой околесице. На суд он вставал раньше подъёма, долго прихорашивался перед контрабандным карманным зеркальцем, причёсывал усы, надевал переданный женой дорогой костюм в полоску и только сокрушался, что администрация не разрешила галстука. «На суде важно предстать не жалким отребьем, а профессионалом. Им должно быть стыдно отправить меня за решётку, хотя при собранных доказательствах они и так не смогут этого

сделать», — обстоятельно объяснял он, царственно возвышаясь посреди камеры. Палыч посматривал на Казака с сомнением и качал головой — он не верил в магию костюмов. Ива тоже хотел, чтобы Казак вернулся к жене и детям, кроме того, оправдательный приговор давал надежду и ему, Иве, что и в его случае суд увидит несостоятельность следствия и освободит в зале суда.

Казака с интересом расспрашивали о ходе процесса, Женёк время от времени мечтательно спрашивал:

— А как думаешь, Палыч, отпустят его?

— На всё божья воля, — отвечал, поведя носом, Палыч.

— Ну ведь всё крыто белыми нитками.

— Ха, у нас, бл, половина братвы на белых нитках. Я на прошлой зоне сидел с енералом (Палыч слово генерал произносил без буквы г). Того енерала посадили за ствол — 222-я. А ствол был наградной. Сам подарил. Министр чи шо. И дали три года. Вот тебе и нитки.

— Да ладно! За наградной ствол? Кто же донёс на него?

— Эту телегу я толкать не буду — не знаю. Нашлись гады.

— Слушайте, ну вот даже если посмотреть на статистику по нашей камере — у нас как минимум половина задержана без оснований, — вступал Ива. — Я никого не растлевал, Хаджимурат ничего не воровал, ты, Женёк, хоть и с наркотой, но торговать не собирался. Странное у нас правосудие.

— Сталина не хватает. Ох не хватает батюшки, — подводил итог Палыч. Ему не возражали.

По ходу процесса мужество Казака испарялось. Совершалось невозможное: суд не удовлетворял ходатайств защиты, отводил свидетелей Казака, не слышал их доводов, во всём полагаясь на следствие. Казак нервно ходил по камере, разговаривал сам с собой, полоумно жестикулировал. В день оглашения приговора он вернулся, как обычно, после ужина: взлохмаченный, апоплексически-красный, смятый пиджак держал в руках, как авоську, потная рубашка прилипла к груди и животу, будто только что он пробежал кросс. Не поздоровавшись, он лёг на шконку, отвернулся к стене и полночи шумно вздыхал.

С утра Казак не двинулся, так и лежал, уткнувшись в стену. Палыч его поначалу не трогал, но шахматы сиротливо стояли на столе, манили.

— Ну шо, братан, горевать будешь? Надо оставаться мужиком, бл, хоть бы хны. Вот у меня был один кент, хотел откинуться по УДО, а его кинули, бл. Он огорчился, заскучал. Лежал вот так, с пацанами не общался, провонял, прогнил. Его за человека перестали держать, на зоне это не уважают. Мог бы досидеть три года нормально, а проваландался у параша. Не дело это.

— Да что ты заладил, Палыч, провонял, прогнил, — повернулся вдруг Казак. — Одно дело УДО, а мне семь с половиной лет впаяли ни за что. То есть, в другом бы месте премию выписали, а тут — лагерь. Семь с половиной! Прокуратура просила семь, суд назначил семь с половиной — где это видано? Я не провоняю, я повешусь на хер.

— Хм. Да кто ж тебе даст? Вынем же. И малые тебя ждут.

— Малые вырастут и женятся, пока я буду там ва-режки вязать. Забудут, как я выгляжу. Стесняться будут — кому нужен отец уголовник.

— Дак ведь липа же, бл. Гордиться будут батеи. Ты держи, бл, хвост колесом. О воле не думай, а думай о сегодняшнем дне. Вот как с утра продерёшь глаза, улыбнись. Новому дню улыбнись, который тебе дал господь, улыбнись, что можешь видеть солнце, дышать, ходить, что жив вообще, втыкаешь? И как только с самого, бл, раннего утра улыбнёшься, то и мир тебе обрадуется и день пройдёт ладом. Так-то, — урезонил Палыч, Ива изумлённо посмотрел на него, удивлённый экзистенциальной лиричностью смотрящего.

Ночью Ива улыбался. Повода для веселья не было, но он усилием воли растягивал губы — до судорог в мышцах, до нервного тика. День вовсе не радовался ему, зло жёг палящим полуденным солнцем. Ива старался держать голову прямо, но она заваливалась на бок, шею тянуло, слепила щемящая желтизна песка, слившегося с оловянным небом. Стоило закрыть глаза, яблоки начинали больно пульсировать, Ива сухо смаргивал, сквозь пелену ресниц чернели внизу игрушечные фигурки солдат. Надо улыбаться, твердил он себе, улыбаться хоть бы хны, пусть гвозди в ладонях, пусть укус на губах, но улыбаться до конца. Стражники смеялись, балагурили о чём-то, один подошёл с копьём, поиграл наконечником перед Ивиным носом, изловчился и ткнул его в шею. Ива вскрикнул от острой боли, схватился за горло. В липкой от крови руке осталась маленькая фигурка — белый шахматный король. Спросонья он раз-

глядел лишь серый абрис спины, что метнулся по хате и юркнул под шконку Женька. Хаджимурат. Ива тяжело дышал, зажимая рану пальцем, но кровь не останавливалась. Сонная артерия была совсем рядом, таджик, верно, целился в неё. Убить он хотел его что ли? Зачем? «Бля, что это? Дерево зарезали!» — заголосил приподнявшийся заспанный Женёк. Палыч деловито встал, мимоходом глянул на Иву и принялся стучать ногой по двери. Никто не отзывался. Из соседней камеры прокричали через окно, спросили, что происходит, Женёк ответил, что стучат за врачом. Через пять минут тюрьма сотрясалась от грохота десятков ног, колотивших со всей мочи по тормозам. Пришёл недовольный вохровец, окинул взглядом камеру: «Что за хуйня тут у вас? Идти можешь?» — Ива кивнул, поднялся и пошёл за охранныком в медпункт. Врача на месте не было, тот же дежурный матюгаясь залил рану йодом и перебинтовал Иве горло, проводил его обратно, вышел, громко хлопнув дверью. Шея ныла, кровь неприятно свернулась на вороте футболки и царапала кожу коростой, было обидно и жутко. Ива долго лежал на спине с открытыми глазами, сжимая в кулаке белого короля, готовый отразить новое нападение, но потом забылся, задремал.

Утром появился какой-то тюремный начальник с врачом и двумя фсиновцами. «Так, что тут за пиздец, совсем охуели? Кто это, бл, сделал? Кто это сделал, я, блядь, вас спрашиваю? В карцере, сука, давно не были, захотели попробовать, бл? Так я вам устрою, бл. Так, ты, блядь, на выход». — обратился он к Иве, мотнув головой в сторону двери.

В прокуренном кабинете пахло растворимым кофе, грязные рюмки окружили початую бутылку армянского коньяка, блюдечко Ленинградского фарфорового завода (кобальтовая клетка) с обветренными дольками лимона венчало стопку папок с бумагами, которых много ещё лежало на столе и на полу. Начальник указал Иве на стул, сел сам, брюзгло отдышался.

— Ну рассказывай, бл.

— Да я не знаю. Спал, проснулся — и вот.

— Упал, очнулся, гипс, блядь, это я знаю. Что, бл, как бы не видел, кто тебя пырнул?

— Нет.

— С кем ругался в камере, бл?

— Ни с кем.

— Что там происходит у вас вообще, блядь? — рявкнул.

— Да ничего особенного. Они все милые люди, мне с ними хорошо, — начал оправдываться Ива. — Может, не ведают, что творят, но вы не наказывайте их за меня. Они не виноваты.

— А, понабрали к ебени матери интеллигентов. Милые люди, — издевательски протянул тюремщик. — Мне по хер, какие они, блядь, милые, мне тут мокруха не нужна, понял? Сам что ли в карцер захотел? Так это мы быстро. Давай колись, кто тебя пырнул.

— Да я правда не знаю. Честно. Не успел заметить. Я же без очков.

Когда Ива вернулся в хату, там уже прошёл шмон. Личные вещи приказали вынести в коридор, обыскали камеру, отдельно досмотрели сумки. За Ивиным баулом следил Малой. После обыска всех отправили на прогулку и в назидание заставили делать оленей —

прыгать впрыска по двору с растопыренными над головой руками. Все сидели злые, багровый Палыч сопел и с ненавистью посматривал на Хаджимурата. Матрасы и одежда валялись на полу, шторка с дальняка была сдёрнута, изъяли шахматы и камерный телефон. Ива молча сел на койку Малого, прислонившись плечом к металлической трубе, стараясь не шевелить головой. Посидел немного, встал и вместе с Малым принялся прибираться. «Эй, пидор, — окрикнул Палыч, Малой с Ивой одновременно подняли головы, как натренированные овчарки. — Да, Дерево, ты. Шо зыришь? Мобилу новую затынешь на хату и шахматы. Шо встал? Давай, не кантуйся».

Пару дней всё было спокойно за исключением обычных стычек между Хаджимуратом и Женьком, да ещё Малой получил пинка за то, что не постирал вовремя бельё Палыча. Иве показалось, что инцидент исчерпан, однако в тюрьме не забывается ничего.

Одно из главных правил камерной жизни — не ходить в туалет, когда кто-нибудь ест. Даже если не за столом, даже если бутерброд в руках. Оно неукоснительно соблюдается, если нарушить по неопытности, над тобой поиздеваются, но простят, во второй раз могут опустить. Хаджимурат, конечно, усвоил его и когда пошёл помочиться, глянул, что на столе нет еды и никто не собирается доставать её из шкафчиков рядом с телевизором. Но не успел он зайти за шторку, как Палыч открыл холодильник и вытащил оттуда палку копчёной колбасы, положил её на стол, взял в руки нож. Таджик взялся за простынь, шагнул к параше, Палыч, посмотрел ему в спину, окрикнул:

— Эй, Дикарь, — Хаджимурат остановился, обернулся, не выпуская простыни. — Ты уважение потерял? Не видишь, шо мы кушаем?

— Я... Эээ... — испуганно замычал Хаджимурат.

— Ты, сука, шо делаешь, а? Ты, мурло черножопое, срать будешь, когда мы едим?

Палыч вышел из-за стола и, не выпуская ножа, подошёл к отступившему к двери Хаджимурату, встал перед ним, широко расставив ноги. Камера молчала, невидимый паук сучил лапками в углу, стучал метроном протёкшего крана. Таджик шурился приговорённым телёнком, Палыч молчал, набираясь ярости. «Ну. Что ссышь? Пера захотел, падла?» — спросил Палыч, принялся, почесал промежность, чуть наклонил таджика вперёд, приобнял и со всей силы ударил коленом в живот. Хаджимурат согнулся, упал на колени, заскулил. Палыч по-футбольному пнул его в бок, потом ещё раз. Хаджимурат валялся по полу и хрипел, Палыч смотрел на него сверху с любопытством ребёнка, наблюдающего за потугами мухи с оторванными крыльями. Поставил ногу на лицо, прокрутил её, раздавив невидимый окурок на щеке, сплюнул и вернулся к колбасе: поскольку в туалет Хаджимурат зайти не успел, её можно было есть.

Казак подал апелляцию и надеется на смягчение приговора, дело Малого передали в суд, мне переквалифицировали 134-ю на более серьёзную 132-ю — всё то же, только с насилием, Палыч пока под следствием, Хаджимурата перевели в другую хату, по всей тюрьме прошёл шмон: в соседней камере кто-то умер от передоза — вот все новости.

Что, интересно, с Зайцем? Что он делает с ВИЧем, зарегистрировался ли в СПИД-центре, назначили ли ему лечение? Нет, наверное, молодой слишком. Он же совсем один, кроме этой глупой подружки ему и поговорить не с кем. Что с родителями? Ему же надо по месту прописки ехать, город маленький, всё быстро вскроется. Он не пишет мне, а я и телефона его не помню. Я всё думаю о нашем последнем вечере — солгал ли я, когда сказал, что люблю его. Это такое чудное слово «любовь». Мне понятны ненависть, безразличие, зависть, жалость, привязанность, умиление, сострадание. А любовь... Её придумали христиане, забыв приложить руководство по эксплуатации. Мне представлялось, что я люблю людей, человечество в целом — мусульман, натуралов, заключённых, депутатов Госдумы. Ну, может, не люблю, но не имею ничего против того, чтобы делить с ними планету. Но вот любить кого-то конкретно... Это невнятно описанное в романах чувство мне всегда было странно. Как это вообще? Внутренне дрожать в ожидании встречи, просыпаться в неге одной постели, радоваться глупостям, держаться за руки

на холме с видом на ночной город и думать, что вот оно, счастье, которого так долго ждал? Я пережил это по отдельности и вместе, но не называл бы это любовью. To have a crash on someone, как говорят ангlosаксы, и это так верно — столкнуться с кем-то, попасть в аварию. Это шок, это неожиданно, необъяснимо, но молниеносно: р-р-раз и всё, ты собираешь обломки бампера на асфальте или мчишься в реанимобиле и в коме — зависит от силы удара, но в любом случае, этот crash — лишь мгновение, короткий жизненный эпизод. Если бы можно было застыть на том холме навсегда, хотелось бы, чтобы меня нашли оставшимся навек в твоих объятьях — вот была бы любовь. А так это страсть, нежность, а чаще просто потребность быть с кем-то, соответствовать кутюмам. Считается, что человек должен любить, найти себе пару и быть счастливым, если кто одинок, на него смотрят с сожалением и он сам начинает страдать от того, что не соответствует — значит, что-то не выходит, какой-то он ущербный, дефектный. Но ведь так было не всегда, это моногамные придумки последнего тысячелетия. В Древнем Риме был институт брака, но не было института вечной любви, евреи могли иметь несколько жён, в Библии вообще нет ни слова про любовь, а древние племена и вовсе не знали, откуда берутся дети: не прослеживая связи между коитусом и беременностью, они молились богам, чтобы послали женщине чадо. И вот я признаюсь в любви какому-то Зайцу. Мне нравится спать с ним в обнимку, я волнуюсь за него, сердце приятно холодит, когда думаю о нём, но какой подобрать для этого номинатив?

Заяц всего боится, ибо и он, и его окружение живут в серости и невежестве. Не может сказать о себе родителям, потому что они не в курсе, что такое гомосексуальность и понятия не имеют о ВИЧ. Избрал себе одну доверенную подругу, но хранит свои секреты ото всех остальных — прямо, как я. И он не пользуется презервативами, потому что о них не говорили в школе, и никто не сказал ему, что он в группе риска. Да и сама эта группа риска стала для него тайным обществом, экклесией Хорнета, куда нет доступа непосвящённым. Здесь все — братья и любовники, здесь он в безопасности, может быть самим собой, не думать о походке, хабалить, говорить о себе в женском роде, играть травести диву, и все поймут его, никто не осудит. А если здесь он свой, то к чему думать о болезнях — братьям надо доверять. Кто же в ответе? Он сам — безусловно, но и родители, и школа, и депутаты, и журналисты, и... я. Да, я тоже виноват — в собственном страхе, в том, что не пытался разрушить стены нашего общего каземата, потому что и мне было в нём комфортно и тепло, так зачем куда-то рваться — отчизне мы не судьи, так, кажется, говорил Славичка в зиндане питерской гей-сауны.

Но пришло, пришло время показать, что община иллюзорна, а люди равны и в счастье, и в болезнях. Заяццы должны понять, что они вовсе не избранные и не отверженные, или нет, они отверженные, пока сами считают себя такими. Я сделаю это. Умру, но сделаю.

Женёк влюбился. В тюрьме был женский корпус, с которым установилось почтовое сообщение. Он долго перекидывался «малявами» с какой-то Таней, проходившей сообщницей по делу об ограблении магазина, была надежда, что они откинутся примерно в одно время. Он забросил свои романы, целыми днями грыз печенье и строчил письма, сосал в задумчивости шариковую ручку, но не со стороны колпачка, а стержень. Облизывая синие губы, он комментировал написанное, и зачитывал отдельные цитаты из Таниных ответов. Отдельные, потому что большая часть её посланий была настолько интимна, что Женёк краснел, ёрзал на матрасе, а на исходе ночи после разбора корреспонденции, дождавшись патриаршего сопения Палыча, тихонечко слезал и крался к дальняку: закрывавшая туалет простынь колыхалась минуты три, было слышно, как Женёк пытается сдерживать дыхание, чтобы не шуметь. Ива, спавший чуток после демарша Хаджимурата, просыпался, глядел из-под прищуренных глаз на шторку, возбуждался от мысли, что Женёк дрожит сейчас над ржавой парашей, и принимался под одеялом массировать одним пальцем уздечку, доводя себя до оргазма. Кончали обычно вместе.

Женёк с Таней строили планы по обустройству квартиры, полу детей и их именам, собирались непременно купить дачу и проводить там лето. «Она согласна на сад, представляете! Я боялся, что она будет настаивать на картошке, а она готова всё засадить

крыжовником и вишнями!» — восторженно восклицал Женёк, радуясь, что попал в тюрьму, ведь на свободе он никому был не нужен. Палыч на это снисходительно улыбался, справедливо замечая, что Женёк не видел свою невесту, как и она его.

— Вы думаете, я ей не понравлюсь? — с отчаяньем спрашивал Женёк. — Я предупредил, что у меня есть немного лишнего веса, но пообещал до конца срока сбросить. Я в лагере спортом займусь! — говорил он, хотя на тюремных харчах и так худел на глазах.

— Да ты-то ваще пацан шо надо, но на бабу погляди, пока лимузин не выкрутишь, — усмехался Палыч.

— Я полюбил её душу, внешность мне не важна, — высокопарно отвечал Женёк. Камера хохотала, Женёк краснел и принимался за письмо.

Администрация уважала Палыча — в хате у него всегда был порядок, никаких эксцессов, если не считать инцидента с Ивой. Он договорился с охраной, что перед прогулкой их колонну сведут с женской и дадут влюблённым пару минут для знакомства. Встреча была назначена через неделю. Женёк нервно метался по камере, писал вдвое больше, ел вдвое меньше, по одной из дорог ему передали тоненькое серебряное кольцо с огранённым под бриллиант хризолитом. Женёк переживал, подойдёт ли по размеру, сокамерники утешали его тем, что всегда можно подогнать. Наконец день X наступил. Их повели на прогулку в новый двор, находившийся, очевидно, недалеко от женщин, и вот на развилке тюремных коридоров столкнулись две группы: камера Ивы с одной стороны и семеро женщин с другой. Ива вглядывался в них, пытаясь угадать, кто же покорило сердце

Женька: чалая крашенная блондинка в домашнем халате под пуховиком или коротко стриженная сухопарая девица с мужскими чертами лица, каких много бывает в лесбийских клубах. Женёк робко шагнул по направлению к женщинам, конвоиры, стиснув челюсти, глядели в пол, делая вид, что ничего не замечают. Из-за спин стоящих впереди девушек на авансцену вышла вымястая ярко накрашенная испитая бабёха в леопардовых лосинах и салатовой кофте с блёстками, обтягивающей тяжёлую грудь и складки жира на животе. Улыбаясь редкими жёлтыми зубами она начала придурочно сюсюкать, раскрыв для объятий пухлые зелёные руки: «У-тю-тю-у. Так вот он, мой суженый. Женёчек, милый, поди сюда, я же ж поцелую тебя, соколика. Ах, какой милашка, додик, детки от тебя будут красивые». Женёк сперва остолбенел, а потом кузнечиком скакнул назад, толкнул Иву и спрятался за широкой спиной Казака. Зрители включая конвойных схватились за животы, Иве казалось, что от смеха у него разом заболели все мышцы, ноги стали ватные, но прислониться было не к чему, он думал, что упадёт, и смеялся уже над этой слабостью, чуть успокаивался, снова заводился, посмотрев на Таню, что громоподобно ржала на весь коридор, ухватившись за бока, приговаривая сквозь приступы: «О-о-й, люди добрые, умру. Котик мой, куда ж ты убёг от меня? Вернись, ведь жениться обещал». Женёк молчал, упёршись лбом в стену, охрана прекратила аутодафе, разведя всех по камерам — на прогулку в тот день так и не вышли.

Мучения Женька на этом не прекратились, сокамерники смеялись над ним до конца вечера, то ути-

хая, то раззадориваясь снова. «А лосины, ух-ха-ха-ха, — ухал вдруг Казак. — Лосины напялила на свидание! Ой, господи!» — и камера вторила ему гренадёрским хохотом.

Ива долго не мог уснуть, всё вспоминал зелёную невесту, улыбался сам себе, будто покурил травы. Он осторожно лёг на спину и привстал на локтях, посмотрев на шконку у окна. Там высилась гиппопотамья спина Женька, укрытая одеялом. Удав, который съел слона. Спина дёргалась серым кленовым листом на порывистом осеннем ветру. Женёк тихо плакал. Потом вдруг перестал, затих, повернулся на бок, шмыгнул носом и свесился вниз. Ива лёг, но продолжил подсматривать за Женьком, который слез с постели, осторожно достал упаковку с шоколадным печеньем, вытащил пластиковый контейнер из обёртки и забрался обратно. Улыбаться расхотелось.

Тринадцать не скитались больше в одиночестве, тьмы людей следовали за ними. Иуда радовался. Иоанн Учитель никогда не собирал столько народу на свои омовения. Он чувствовал конкуренцию и когда был ещё жив, отправил посольство — уговориться, чтобы не ходил Назарянин в Заиорданье. Когда же отрубил ему голову распутный Ирод, обёрнутые в овечьи шкуры растерянные ученики его разбрелись по стране. Некоторые слушали теперь проповеди Назарянина, другие при случае нападали на него, обвиняя, что не держит поста, не чтит Закона. Назарянин не слушал их, но и на конфликт не шёл: велика была в народе слава Иоаннова.

Кроме бродяг ходило за Назарянином много обычных иудеев и галилеян. Иные снаряжали младшего сына или брата, без которых можно было обойтись в хозяйстве, и те плелись шумной толпой в ожидании благословения. Приближаться им разрешалось только во время проповедей, но некоторые оставались рядом с молчаливого согласия Назарянина и к ревности учеников. Появились среди них даже и женщины.

В Кане пригласил Учителя в свой дом местный равви, пытливый старый фарисей, ему любопытен был новый пророк галилейский. Назарянин возлёт с хозяином возле обеденного стола, ученики сгрудились в углу. Иуда осматривал богатое убранство комнаты, рассчитывая получить хорошую мзду, если старику понравится беседа. И тут вошла она: рыжая, простоволосая, красивая, очумелые зелёные глаза

блуждали по стенам, молодая упругая грудь вздымалась под накинутым на плечи расшитым цветастым платком. Назарянин замолк на полуслове, остальные тоже оцепенели, фарисей дёрнулся было, чтобы выгнать гостью, но Назарянин остановил его движением руки. Девушка качнулась в дверном проёме, ухватилась за стену, чтобы не упасть, прислонилась.

— Ну, — хохотнула она. — Кто здесь царь иудейский? Я буду твоей царицей!

Хозяин хлопнул в ладоши, из внутренних комнат вышли двое дородных парней, готовые вышвырнуть скандалистку, но Назарянин снова поднял руку, фарисей отослал слуг обратно, те отступили, но притаились подглядывать у входа.

— Ну, что же ты, равви, собак на меня травишь? — зло прокричала женщина. — Греха в доме боишься? Когда я во тьме прихожу, не зовёшь собак-то, и грех уже не грех.

Фарисей вскочил и бросился к рыжей, но Назарянин и в третий раз удержал его.

— Что привело тебя сюда, женщина? — спокойно спросил он.

Она безумно поглядела на него и соскользнула на пол, наглый запал иссяк.

— Что привело меня? Боль моя привела меня, — забормотала она в одержимом припадке. — Сызмальства служу я жрицей порока у иудеев и римлян, и греков. Самому Ироду танцевала я, когда проезжал в Иерусалим, а он хвалил меня, обещал взять во дворец, но взошла заря и забыл. Золотой динарий — господь мой и повелитель. При звёздах поклоняются мне, а днём бегут меня, как прокажённой. Я — царица

ночи, ты — царь света, спаси меня и последую за тобой, куда прикажешь. — прорыдала блудница и, пугаясь в платье, подползла на коленях к Учителю, уткнувшись в его ступни.

— Прощаю тебе грехи твои, женщина, — проговорил Назарянин. — Не соблазняйся же больше и вина не пей, и будешь спасена.

— Не буду, не буду. Грешить не буду, и к зелью не притронусь, — затараторила она, подняв голову. — За тобой пойду повсюду, буду рабой твоей, сестрой твоей, женой твоей, равви.

— Все мы рабы Господа нашего и брата в Царствии Небесном, женщина. Умойся слезами своими, замаливай грехи свои, и будет отпущено тебе.

Иуда поглядел на возмущённого фарисея. Тот сидел задубелый, напряжённый, не знающий, как прекратить скандальную сцену без ущерба. Назарянин посмотрел на него и спросил:

— Один человек должен был ростовщику 50 динариев, а другой пятьсот. Но ни у одного не было денег, чтобы заплатить, и он простил обоим. Скажи, который возлюбит более его?

— Думаю, которому более простил, — ответил озадаченный фарисей, не понимавший, к чему клонит Назарянин.

— Верно говоришь. Вот и тут. Посмотри на эту женщину. Велики грехи её, но велика любовь её. Сын Господень пришёл в дом твой, а ты даже и воды на ноги не дал ему, а она умыла их слезами своими. Потому простится ей многое, за то, что любит много, а кто мало любит, тому мало прощается. Или вот скажи ещё, — добавил, чуть помолчав Назарянин. —

Один кузнец ковал клинки, а многие покупали их и убили братьев своих. Кто же из них больше согрешил — ковавший или убившие?

— Убившие. — смущённо пролепетал фарисей.

— Правильно ты рассудил. Так и здесь. Она торговала телом своим, а многие покупали, неся погибель душе своей. Или ты сам без греха? — повернулся Назарянин к фарисею. Тот покраснел и забился бы в угол, если бы не сидел посреди комнаты. — Иди с миром женщина и помни обо мне. Прощаются тебе грехи твои.

Учитель поднялся, встали и одиннадцать, важно вышли из дома. Иуда один остался в уголку — прикрыл глаза, будто уснул, фарисей сидел истуканом против него. «Без греха, без греха. Кто тут без греха?» — бубнил Иуда, подглядывая за хозяином из-под полуприкрытых век. Тот дёрнулся, боязливо обошёл распростёртую на каменном полу блудницу, отвязал от пояса тугой кошелёк, сунул его Иуде и поспешно ретировался в задние комнаты.

Рыжая с миром не ушла. Догнала Иуду за воротами, поплелась за ним, пока оба не настигли Назарянина и остальных. По пути Иуда недоверчиво озирался, боялся, что начнёт трогать его или ухватится за хитон, но она тихо шагала, пошатываясь, уставившись вперёд, как шалая корова, что бредёт за вечерним стадом. Иуда думал, Назарянин отправит её: зачем нужна женщина, но он весь день не замечал ни её, ни гневных перешёптываний братьев Иониных, ни заискивающе-похотливых взглядов Фомы и Филиппа.

Заночевали в заброшенном хлеву у дороги, что пах лошадиной мочой, сеном и пауками. Мария ловко

приготовила похлёбку, порхая над разведённым у входа костром, будто то был домашний очаг, сама доела остатки, а после, не произнеся ни слова, не поднимая глаз, омыла ноги Назарянину неизвестно откуда взявшимся миром, наполнившим пустыню ароматом роскоши и довольства.

Иуда спал плохо, маялся. Что как возляжет рыжая с Назарянином, тут и конец их евангелию — как объявишь народу, разбившему лагерь неподалёку, что у пророка появилась наложница. «Да что там у пророка, у сына господня», — с сарказмом подумал Иуда, вспомнив сцену у фарисея: так себя Назарянин до сих пор не называл, это граничило с опасным богохульством. Иуде послышался шорох. Он поднял голову, вслушался в ночную мглу. Вдали взвизгнула и захохотала женщина, рядом же было спокойно. Вот снова прошебуршало. Может, мышь или птица, или ночной зверь? Или то, страшное? Поганая блудница, змеиное отродье. Иуда осторожно поднялся, выбрался из-под одежд, на цыпочках пересёк хлев и навис над спящим Назарянином. Тот лежал на спине, закинув правую руку за голову, так, что обнажился локоть, сверкавший в пробившемся через крышу лунном свете. Его сон охраняли прижавшиеся широкими спинами друг к другу Кифа с братом, не потревоженные опасливыми шагами Иуды. Рыжая свернулась клубком в ногах Назарянина, её богатые кудри укрыли его ступни. Как бы хотел Иуда быть на её месте, лобызать стопы его, прикасаться к одеждам его, быть его рабом, его вечным спутником. С детства он прилепился к нему, отказался от мира, от семьи, от сытой жизни в Иерусалиме или Кесарии, и вот пер-

вая попавшая девка заняла его место, поставив под угрозу не только любовь Иудину, но и мечту о строительстве нового царства. Только языческие боги опускаются до смертных, иудейские пророки не мараются о блудниц. Надо убить её. Донести, обвинив в колдовстве, чтобы судили и повесили как беспутную шаманку. Пусть изопьёт воды обличения, покажет, что она такое на самом деле. Она продавала тело своё язычникам, стонала под римскими солдатами, извергавшими в неё прогорклое семя. Какое было бы совпадение, почти знамение, ибо другую грешницу, мать Назарянина, тоже испытывали водой, но Иосиф на старости лет не хотел скандала и подкупил первосвященника, чтобы налили ей вина вместо грязи, от того и повелось, будто зачала она от души святой, но это смех! Душа ведь тоже женщина, а где это видано, чтобы жена зачала от жены? Эта же Мария не ускользнёт, уж Иуда позаботится. Если же не выйдет, если не отпустит от себя Назарянин блудницу, Иуда уйдёт от него. Сдаст короб Левию мытарю, он умеет управляться с деньгами, и оставит их. Иуда с горечью подумал, что идти-то ему некуда, нигде его теперь не примут, везде он незваный гость. «Удавлюсь, — осенило Иуду. — Так просто! Скроюсь подальше, да удавлюсь, и вороны выключают лицо моё, и никто не узнает меня. Или блудница будет висеть на дереве, или я», — решил. Кифа заворочался, перевернулся на спину и громко испустил ветры. Иуда вернулся в свой угол, лёг и уснул мёртвым сном.

Таскают по врачам. Сначала отвезли в психушку, завели в зал с экзаменационными столами, доктор покопался в бумагах, не поднимая глаз спросил, как зовут нашего премьер-министра и на каком континенте находится Марокко. Видимо, этого довольно, чтобы признать меня вменяемым.

Через неделю осмотр был интереснее. Доставили в больницу, привели в кабинет к похожей на колхозного ветеринара грудастой бабе в халате и с размаляванным лицом: алые губы центросильно соперничали с фиолетовыми тенями. Она расспрашивала про болезни, операции, общее состояние здоровья, половую жизнь, когда начал заниматься сексом, поллюции, мастурбации, количество партнёров (явно не поверила моему ответу), нет ли проблем в половой сфере. Спасибо, всё хорошо. Велела раздеться догола. Вертела меня, крутила, трогала холодными латексными пальцами яйца и член, поставила раком, покопалась в заднице, потрогала за хуй, не вынимая пальцев из очка — если бы был мужик, я бы давно возбуждился, а так чувствовал себя ишаком на ярмарке. Унизительно, конечно, но после того, как тебя пиздят менты и орёт матом следак, к таким осмотрам относишься с юмором, ну и вообще — вроде как доктор. «Мне нужно проверить вашу способность к эрекции», — заявляет вдруг. «Чего?» — спрашиваю. «Я, — говорит, — могу сейчас выйти, чтобы вам не мешать, вы помастурбируйте, а я вернусь». Это меня взбесило. Ни одна женщина никогда не видела моей

эрекции. Хотя это, положим, и не смертельно, но это пахло инцестом, надругательством над моим телом. Я сказал, что ничего этого делать не буду, она пригрозила позвать конвоиров. Я представил себе, как вохровцы схватят меня, голого, а она снимет перчатки и примется драть мне жирными наманикюренными пальцами в дешёвых золотых кольцах, привыкшими к ручной стирке и пельменному тесту. Стало гадко и обидно — всё-то они отняли у меня: свободу, человеческое достоинство, а теперь ещё и право распоряжаться собственным членом, который должен подниматься и опускаться по их приказу. Я сказал, что вряд ли смогу возбудиться. «Ничего», — ответила она невозмутимо и включила компьютер, на котором долго искала нужный файл — какую-то винтажную порнуху с усатыми американскими качками. Мне довольно было взгляда на монитор, член вскочил, я стоял посреди кабинета, глядя на своё отражение в стекле шкафа с пробирками и инструментами — обнажённый косматый мальчишка с бессовестным стояком. Ничто не может побороть природу, человек — животное, остаётся или принять это, или бесконечно страдать. Я готов был затопать ногами, закричать, заплакать от злости на себя и на ветеринаршу, которая поглядела на меня канцелярски, записала что-то и бросила: «Одевайтесь». Победила она меня. Меня теперь все побеждают.

Иву неожиданно перевели в другой, недавно отремонтированный корпус. Оказалось, что в тюрьме можно жить с уютом. В небольшой светлой камере на четверых были заняты только две шконки, в больших окнах вставлены стеклопакеты с форточкой, параша огорожена вполне официальной шторкой с ветками сирени, а из крана текла горячая вода, причём заключённые прикрутили кухонный смеситель с длинным шлангом — он дотягивался до туалета и мыться можно было сколько угодно. Сидельцы бизнесмены были похожи на близнецов: крупные, краснощёкие, с шарпейными загривками и добродушными подбородками. Они проходили по разным делам, но были знакомы с воли и чувствовали себя, как в санатории. Когда Ива зашёл, они оканчивали завтрак — пахнущий парижским отелем омлет с беконом, джем, сливочное масло: дежурный доставлял еду из ближайшего ресторана, взяв таксу за хлопоты. Ива поздоровался, рассказал в двух словах о своём деле, залез вместе с сумкой на свободную шконку. С бизнесменами он говорить стеснялся, да они и не приставали, после завтрака по очереди приняли душ и засели читать. В обед зашёл другой фсиновец, осмотрел камеру, попросил спрятать книги и выставить на стол продукты из холодильника: «Сегодня гости будут, ведите себя хорошо», — распорядился. Когда дежурный вышел, Ива вопросительно поглядел на новых сокамерников, один из них объявил, мясисто усмехнувшись: «Добро пожаловать в Потёмкинские

камеры, уважаемый. Правозащитники придут, не иначе. Или какая комиссия. Если хотите жаловаться на жизнь, самое время. Яблочка не желаете?»

Они зашли втроем в сопровождении замначальника тюрьмы. Профессорского вида толстяк в потёртом пиджаке поверх свитера, древняя седовласая старушка с клюкой и моложавая женщина лет пятидесяти в длинной цыганской юбке и цветастой кофте. «Ну, господа заключённые, как поживаете?» — бравурно спросил Профессор. «Не жалуемся, спасибо», — ответили близнецы-бизнесмены. Цветастая юбка назвалась Зоей, пояснила, что они правозащитники, узнали об Ивином деле и пришли посмотреть, в каких условиях он содержится, если есть у него жалобы на эти условия, можно рассказать им, чтобы они приняли меры. Ива покачал головой: жаловаться ему пока было не на что.

— А что у вас с шеей? — спросила Зоя, старомодно растягивая гласные.

— Так просто. Поранился. Ничего страшного. Зажило уже, — отрывисто ответил отчего-то разволнованный Ива.

— Не обижают вас тут?

— Нет-нет, я вообще-то из другой камеры, но мы и там дружно живём.

— А когда сюда перевели?

— Сегодня.

— Понятно. Как всегда, — грустно вздохнула Зоя. — Но вы говорите, что и там сносно?

— Да-да. То есть, как сказать. Меня допрашивают, раньше чаще допрашивали, сейчас реже, больше не бьют. Но мне нормально. Никто меня не трогает.

Мне тут нравится даже. Всё равно. Без разницы. Везде тюрьма. Но если можно что-то сделать, чтобы, ну, понимаете... Я боюсь, они мучают Джастина. То есть, Максима — потерпевшего. Заставляют давать на меня показания, лгать, а он не умеет, он честный. Если меня посадят из-за него, он будет переживать.

— Послушайте, вам нужен другой адвокат. Не по назначению. Вам надо написать заявление на смену, — затараторила Зоя, которую тут же прервал вохровец: об уголовных делах говорить было нельзя.

Иве было безразлично, кто будет вести его дело, адвоката он видел только на допросах и несмотря на подписанный договор особой поддержки с его стороны не чувствовал. Зоя пришла к нему ещё раз, сообщила фамилию нового защитника, Ива написал нужное заявление, и адвокат появился дней через десять. Иву провели не в залу с пуленепробиваемыми стёклами и телефонами, как он её себе представлял, а в обычный кабинет, похожий на те, где проходили допросы. Впрочем, заключённых было много, помещений мало, так что придя к 9 утра, адвокат прождал до четырёх вечера, в пять тюрьма закрывалась и времени оставалось немного. Широкоплечий лысый бородач, похожий на кавказского князя, нарядившегося в европейский костюм, представился Алиханом Семёновичем, долго мял руку Ивы в рыхлой тёплой ладони, опустил на застонавший под его весом стул, пытливо оглядел подзащитного поверх узких очков в модной оправе цвета вороньего крыла, лязгнув замком портфеля и вытащил оттуда кипу бумаг, журналы и газеты. Он заговорил, немного причмокивая полными губами, тщательно артикулируя, как актёр или проповедник.

— Ну что, Иван Захарович, дела наши не то чтобы хороши, но и не совсем отчаянны. Сложно сказать с точностью, что у них на вас есть, но чтобы отправить человека за решётку, суду в наши дни много и не требуется. Вы сами-то как? Чувствуете за собой вину? Нет? Тогда я предлагаю добиваться полного оправдания за отсутствием состава преступления. Согласны? Итак, давайте подумаем, чем может располагать следствие. Есть заявление отца, Новожилова Михаила Михайловича о сексуальных контактах с его несовершеннолетним сыном Новожиловым Максимом Михайловичем, имевших место по адресу вашего проживания. Изначально дело было заведено по статье 134-й — половые сношения с несовершеннолетними, но они его переквалифицировали на более серьёзную статью — 132, часть 4, пункт Б «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», также вам инкриминируют статьи 127, часть 2, пункт Д «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего», ну и в результате обыска в вашей квартире были обнаружены десять грамм марихуаны, так что добавляется статья 228.1, пункт 1 «Хранение и сбыт наркотических средств», хотя им будет сложно доказать, что вы собирались их продавать. Травка-то ваша? Ну что ж вы так? Да, и до кучи вам ещё повесили 151 статью, часть 1 «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление одурманивающих веществ». Итого, максимум, что вы можете получить — это 25 лет лишения свободы в лагере строгого режима, если суд сочтёт, что преступления были совершены при

отягчающих обстоятельствах. Я предполагаю, что у следствия на руках должно быть заявление отца потерпевшего, заявление самого потерпевшего, результаты психолого-психиатрической и медицинской экспертиз, свидетельства каких-нибудь соседей или ваших друзей, которые видели его в вашем подъезде. У вас, очевидно, изъяли телефон... Что-то ещё?

— Нет. Ничего больше. Шнурки и кредитки.

— Ну, ха-ха, шнурки нас мало интересуют. Дома вы пользовались компьютером?

— Угу.

— И что там?

— Да ничего особенного, вроде...

— Вы ваши отношения с Джастином обсуждали с кем-то в Фейсбуке или ещё где?

— Нет.

— Может, у вас ещё какие-то вещи есть, которые вас компрометируют? Детское порно, к примеру?

— Да нет ничего такого! Обычное порно.

— У вас были контакты с другими подростками?

— Да нет же!

— Вы с кем-то состояли в отношениях?

— Нет. То есть, да. С Зайцем... С Сергеем. Но ему, кажется, 22.

— А вообще-то вели активную сексуальную жизнь? Вы не подумайте, я это не из любопытства, просто такая информация может помочь вам или, наоборот, следствию, чтобы, так ска-ать, составить психологический портрет...

— Ну вообще-то, да, у меня было много партнёров... Два-три в неделю... Я с ними в Хорнете знакомился.

— Где?

— В Хорнете. Ну. Это приложение такое в телефоне.

— И это приложение сейчас, конечно, читают в СК...

— Наверное, — усмехнулся Ива, ему это показалось забавным.

— Зря вы смеётесь, я убеждён, что они это подошьют к делу. Вы уверены, что там нет молодых людей младше шестнадцати?

— Абсолютно.

— Это хорошо.

— И что же теперь?

— Что теперь. Мои ребята сгоняли в Питер, мы сделали адвокатский опрос, я буду ходатайствовать о том, чтобы его приложили к делу. Нашли одноклассников Максима, готовых показать, что он часто убегал из дому из-за конфликтов с родителями и грозился уехать в Москву. Кроме того, вызывают вопросы его показания — я буду настаивать на том, что они написаны под давлением, а то и вовсе сфабрикованы, но всё зависит от того, как он поведёт себя на суде. Есть положительные характеристики с вашей работы, свидетельства ваших коллег, отсутствие склонности к асоциальному поведению. Таким образом защита будет добиваться признания вашей полной невиновности в указанных преступлениях, кроме, разве, хранения наркотических средств без цели сбыта, за что, при хорошем раскладе, можно отделаться и штрафом, благо, у вас там не весь холодильник был забит травой. Более того, на нашей стороне общественное мнение. Зоя проделала отличную работу. Вот я принёс тут вам — «Нью Таймс», «Новая», даже «Коммерсант» и плюс куча интернет сайтов, я всё распечатал. Только в камеру вы это забрать не сможете — запрещено.

Но ваш брат по почте вам отправит, я объясню ему как. Отец потерпевшего — подполковник полиции в отставке. Работал в главке в Питере, его начальника погнали со скандалом за коррупцию лет десять назад, он ушёл вместе с ним. Какое-то время оставался не у дел, потом его назначили в московский главк, откуда он ушёл на пенсию по состоянию здоровья, но подозреваю, что причиной стали какие-то закулисные дрязги. Сам он ни в каких скандалах не замечен, к большим деньгам его не подпускали, но знакомства остались. Получится ли у него посадить вас, я не знаю, но знаменитостью вы уже стали. Брат ваш развёл активную деятельность. Посмотрите вот, в газетах. Подключил активистов, митинги собирает. Один позволили провести, другой разогнали, но главное, что о вас говорят. Вы мне должны, впрочем, сказать, хотите ли такой публичности и даёте ли мне карт-бланш на общение с прессой, потому что к вашей персоне у них доступ будет затруднён, а процесс будет вестись в закрытом режиме.

— Мне всё равно.

— Я думаю, это полезно. Практика показывает, что общественное давление оказывает влияние на суд, а вы не какой-то там политик, так что в репутационном смысле вам терять нечего. Скажите, хм, ваша ориентация — вообще-то секрет или можно говорить об этом?

— Ну она была секретом до недавнего времени, — улыбнулся Ива. — Но теперь скрывать нечего. Или вы...?

— Нет-нет, что вы, ничего такого. Гей, гетеро, какая разница. Я абсолютно к этим вещам толерантен,

хотя сам женат вот уже тридцать лет, у меня сын ваш ровесник. Тоже юрист, между прочим, — добавил за чем-то Алихан Семёнович, откашлялся в кулак и после недолгой паузы продолжил. — Ну, скажите мне теперь, нет ли каких жалоб на условия содержания, может, хотите переменить камеру?

— Нет, всё нормально. Никаких жалоб.

— Хорошо.

— А можно вопрос?

— Конечно.

— Хм, как бы это, — стушевался Ива. — Сколько будут стоить ваши услуги?

— Ха-ха, — Алихан Семёнович величаво откинулся на спинку стула, сложив белые руки-подушки на серые перины ног. — Видите ли, дитя моё... Вы же не обижаетесь, что я к вам так патерналистски? Вы могли быть моим сыном. Да, так вот, мне уже много лет, у меня большая практика, и я могу себе позволить братья за резонансные дела бесплатно. Ну только накладные расходы покроете — билеты там и прочее. А потом в случае успеха угостите меня ужином, ха-ха, больше мне от вас ничего не нужно.

Сегодня после прогулки Женёк заголосил с полатей: «О, Дерево. Звезда, етить!» Оказалось, сюжет обо мне показали по телеку, выставив меня чуть не организатором банды, похищавшей и насилуовавшей подростков, существовавшей на деньги западных педофилов, которые спонсировали нас через российские ЛГБТ-организации. Этому бреду, понятно, не поверили.

Но мне не до шуток, накатило какое-то неизбежное уныние. Сейчас уже почти утро, ночные дороги закончились, все спят, а я вот строчу в этом синеньком блокнотике, который тоже потом, наверное, подошьют к делу. Джастина, очевидно, сломали. Прочитали мой дневник с описаниями нашего секса с Зайцем. Прошерстили мой Хорнет. Весь мир против меня. 25 лет колонии строгого режима это больше, чем мне сейчас. Если я выйду, мне будет 61, я превращусь в старую развалину, не смогу ни зарабатывать деньги, ни веселиться, останется подрачивать на интернет порно, если не перестанет стоять член, и ждать естественного окончания этой тягомотины. Надо улыбаться по утрам. 25 лет улыбаться по утрам. Это 9131 утренняя улыбка с учётом високосных лет. Я, конечно, писал на днях, что свободы нет, так что и лишить её невозможно, но то была бравада, будни тигра в клетке отличаются от жизни его сородичей в джунглях. Что я там делать буду? Ватники шить? Нет, буду мыть параша и подметать бараки, из пехотов меня не исключат.

Меня, кстати, в последнее время совсем не бьют. Палыч прикрикнет иногда, но пинков от него больше не достаётся.

Да, вчера по ходатайству адвоката прошёл проверку на детекторе лжи. Прямо в тюрьму приехал чувак с какой-то бандурой, подключил проводки к пальцам, все вопросы на «да» и «нет». Сначала для разгона спрашивал что-то вроде: «Вас зовут Иван Безымянный?», «Вам двадцать лет?», а потом пошёл по делу, по несколько раз одно и то же, мучал меня час, отпустил. Я спросил, что получилось, он буркнул, что все результаты отдаст следователю.

В тюрьме была услуга электронного письма. Ива знал о ней и раньше, Казак пользовался ей для связи с родственниками, но ему не пришло в голову наладить переписку с братом. Всё оказалось просто: сообщения отправлялись через форму на сайте тюрьмы, администрация вычитывала написанные от руки ответы, вымарывала сомнительные места фломастером, сканировала и посылала по емейлу. Объём не ограничивался, и брат копировал статьи об Ивином процессе, о демонстрациях в его поддержку, об отце Джастина. Фотографии не пропускали, но Алихан Семёнович приносил свежую прессу на встречи. Ива бегло просматривал заголовки и фото, удивляясь собственной бесчувственностью, душевной жилистостью. Его не трогала развязанная братом война за его свободу, как будто это происходило не с ним, не с его семьёй, не в его стране. Вот брат стоит в одиночном пикете у здания прокуратуры — белый лист ватмана, на нём разноцветными фломастерами написано «Гомосексуальность ≠ педофилия. Свободу Ивану Безымянному!» Вот он рядом с задумчивым Пушкиным в окружении ребят с такими же плакатами и радужными флагами, а вот четверо дюжих омоновцев волокут его в автозак — ноги неестественно растопырены, шапка слетела, волосы взлохмачены, на лице вместо испуга блаженно-мученическая улыбка. Святая Екатерина перед казнью. Вот его обступили журналисты на крыльце отделения полиции: «Случай моего брата не единичный. В России можно посадить кого угодно за

что угодно. Никто не застрахован от срока за сексуальные сношения с крупным рогатым скотом в извращённой форме, — говорит он улыбаясь. — Никто, понимаете! Мы должны и будем с этим бороться!»

Ива недоумевал: его брат, его тихий, застенчивый брат всегда казался ему не слишком умным, очень пассивным, не способным не то что на борьбу, но вообще на какой бы то ни было серьёзный шаг. Каково ему было публично признаться в своей ориентации? Как на это отреагировали его подчинённые и клиенты? Так же, как коллеги Ивы, или отвернулись от него? Кто научил его этой иронии, откуда взялась в нём эта отвага? Поистине не видим мы бисера, рассыпанного у наших ног.

Ива решил всё высказать брату при свидании. Попросить прощения, что не общался с ним раньше, не знал его, поблагодарить за поддержку, предостеречь, чтобы берёг себя, ну что там ещё говорят в таких случаях. Иву не то чтобы сильно мучало чувство вины, но становилось совестно от мысли, что он не заслужил этого, как если бы он остановился у друзей в чужом городе, устроил в отведённой ему комнате бардак, а вернувшись вечером обнаружил, что рачительные хозяева заправили постель, развесили рубашки, постирали носки с трусами, аккуратно сложив их на стуле рядом с чемоданом. Нужно было выговориться, может, и брату это сделает жизнь сподручнее. Через адвоката Ива передал номер камерного телефона, но разговаривая стеснялся сокамерников, хотелось посмотреть брату в глаза.

Увидеться им не довелось. Свидания не давал следователь, а денег на встречу в храме не было: содержание Ивы в тюрьме и так обходилось слишком дорого.

С помощью адвоката Ива писал жалобы, требовал свиданий, все они принимались конвойными и исчезали, будто он пытался докричаться из глубокого глухого колодца, но никто не слышал его, и лишь иногда разбуженный далёким отзвуком стражник в воспитательных целях шебуршал в яме колом.

Администрация по-своему отреагировала на активность Ивы и его брата. Во время неожиданного шмона в его сумке нашли мобильный телефон. Ива не знал, как он там оказался и с чего его вообще стали искать: обычно он хранился на полу под шконкой и, умышленно или нет, никогда не попадался в руки вохре. Разбираться не стали, назначили пятнадцать суток карцера. Иву переодели в тёмную тюремную робу, не позволив ничего взять с собой — ни еды, ни книг, ни одежды. В карцере было тесно, холодно и скучно, откидная кровать пристёгивалась к стене, маленькое овальное оконце под потолком, разукрашенное плюшем зеленоватой плесени, напоминало иллюминатор в корабельной каюте ниже ватерлинии. Каждое утро в камеру заходил дежурный, Ива сворачивал матрас, выносил его в коридор, складывал кровать и садился на единственную табуретку.

Поначалу Ива решил, что это даже хорошо — отдохнуть от сигаретного дыма, чужих запахов, телевизора и болтовни. Он свыкся с тюремной бурдой, к тому же баландер за небольшую плату разбавлял клейкие каши сгущёнкой, забивавшей тошнотворный рыбный привкус. Он много размышлял о Джастине, Зайце, будущей жизни на зоне, о том, что он готов, хочет безвинно пострадать, чтобы у людей открылись глаза и они заговорили. Брат вышел из подпо-

ля, это большая победа, сколько их ещё будет таких, вдохновлённых шумихой, решивших, что больше не могут молчать. Ради этого стоит сесть — подумаешь, четверть века на нарах. Ива принялся перебирать известных людей, прошедших через тюрьму. Нельсон Мандела. Достоевский вот тоже. Григорий Просветитель. Ива вспомнил, как задержался на пару дней в Армении — после командировки. Он взял в аренду огромный чёрный джип и за день объехал основные достопримечательности, в том числе и монастырь Хор Вирап, где до принятия христианства держали Григория. 15 лет он провёл в вырубленной в скале шахте по размеру чуть больше Ивиного карцера. Ива путешествовал не один — познакомился в Хорнете с 20-летним армянином, Шантом. Высокий черноглазый красавец, по-русски он говорил с чуть заметным акцентом, который становился более резким и даже забавным, когда Шант кончал, закидывая назад голову, выстанывая Ивино имя. Он был нерешителен, долго сомневался, пропускать ли работу ради того, чтобы покататься с Ивой, боялся, что мама узнает, но в итоге согласился. Иве же нравилось проводить время с молодым парнем, смотреть на всё двумя парами глаз, обсуждать, рассказывать, слушать, гладить его по коленке на кавказских серпантинах, целоваться в тёмных закоулках бесчисленных армянских монастырей, наслаждаться быстротечной романтикой. Когда подъезжали к Хор Вирапу, Ива остановился и вышел сфотографировать монастырь издали — серой чайкой приютился приземистый храм на скале, утонувшей в лучах зимнего закатного солнца, иставшей на фоне снежной громады Арарата. На пустой

парковке Ива протянул мелочь старику с красной повязкой, они поднялись наверх, и Шант показал ему проволочное ограждение внизу: «Там уже Турция». Кольнула жалость к армянам, перед носом которых всё маячит эта недостижимая гора. Шант посмотрел на неё с грустью, вздохнул и спросил Иву:

— А ты это, не боишься, когда узко?

— В смысле?

— Ну. Тут есть эта дыра, в которой сидел Григорий, и там узко. Ты такого не боишься?

— А, не, клаустрофобии нет у меня, — улыбнулся Ива.

Они зашли в небольшой каменный дом, как и всё здесь, облицованный розовым туфом, в углу теплилась лампадка, железные перила указывали на спуск в подземную камеру. Ива полез первым, шахта и правда была тесная, уже шлюза в подводной лодке, внизу напротив житийной иконы Григория стоял на коленях лысоватый, бедно одетый армянин. Ива замешкался на лестнице, подождал, пока тот закончит молиться, спустился вниз. Кроме лубочной, недавно написанной иконы и небольшого каменного возвышения, служившего, по-видимому, постелью, внутри ничего не было. Зябко горела электрическая лампа. Армянин отряхнул колени и полез наверх, за ним спустился Шант. Они снова начали целоваться, неуклюже обнимаясь в распахнутых пуховиках. Ива расстегнул Шанту ширинку и вытащил его толстый тёмный член, принялся драть его, встал на колени, взял его в рот, улыбаясь про себя, что стоит в той же позе, что и армянин десять минут назад, но молится совсем другому богу. Шанту стало жарко, он снял

куртку и бросил её на каменное возвышение, спустил штаны, Ива одной рукой ласкал его ягодицу, второй держал его за тыльную сторону колена. Шант чуть присел, закинул голову, зашептал что-то, ноги его задрожали, он чуть склонился вперёд, обильно и почти безвкусно спустил Иве в рот. Ива сглотнул, вздохнул глубоко, встал, обнял Шанта, поцеловал его и чуть надавил ему на плечи. Шант опустил хитроглазый Григорий ласково благословил Иву. «Хорошо что бога нет, — со смехом сказал Ива, когда они вышли на солнце. — Иначе бы он нас точно испепелил». — «Почему? Он же создал нас такими», — ответил серьёзно Шант, не поняв шутки.

Одиночество карцера скоро начало тяготить. В голове шумело, будто Ива сидел в машинном отделе или на пасеке, окружённый тысячами пчёл. Он радостно вскакивал, когда баландер открывал кормушку — не потому что был голоден, хотя есть хотелось постоянно, а просто непредусмотренные подводным карцером звуки останавливали на время бесперебойное роение.

Он устал сидеть на табурете, ходил из угла в угол, считал: два шага в одну сторону, два в другую. Часы в тюрьме были под запретом, невозможно вычислить, сколько шагов можно сделать за день. Надо было думать о чём-то, но мешал зуд в голове. Ива решил читать стихи, он много ведь знал их и на воле по пьяни любил декламировать. Все говорили, что у него хорошо получается, может, врал, чтобы не обидеть. «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен, — начинал он полусшёпотом, хотя и если бы читал вслух, никто бы не услышал. — Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер гудит над каким-то полем, то ли что-то

с рощей, сентябрь, алкоголь...» Когда-то родные строчки ускользали, он запинаясь, не был в состоянии довести до конца ни одно стихотворение. Ива бесился, подолгу стоял, прижавшись лбом к холодному бетону, повторял одно и то же в поисках нужной рифмы, но не мог, не мог, не мог. Иве казалось, что он сходит с ума, ещё чуть-чуть и мозг отключится, он перестанет контролировать его. «Сволочи, сволочи, гады, как они могут так издеваться надо мной, они не имеют права! — твердил он в приступах злобы. — Где мой адвокат, почему не вытащит меня отсюда? Все забыли обо мне, я никому не нужен, я умру здесь, и никто не узнает об этом». Ива погрузился в полудрёму, стёрлась грань между днём и ночью. Сколько дней прошло? Сколько раз он ложился спать? Восемь? Десять? Наверное, они обсчитались и держат его тут слишком долго. Он принялся колотить в дверь, орать, никто не приходил, он стучал сильнее — сначала одной рукой, потом двумя, выбился из сил, сполз на пол, дверь, наконец, лязгнула окошком и со скрипом открылась.

— Ты что, сука, расшумелся, блядь, пизды захотел, ёбаный в рот, гондон? — вывалил весь матерный запас конвойный. — Что ты, блядь, кипешишь, пидор?

— Меня на пятнадцать суток посадили, на пятнадцать суток, пора выпускать, — прорыдал Ива.

— Пятнадцать суток и будешь сидеть, гомосятина, ещё только шесть прошло. Будешь вайдонить, на месяц закроем, — и конвоир пнул Иву, заперев дверь.

Ива заскулил и подполз к койке, сел на пол, перекладина впиалась в спину. Шесть суток. Всего только шесть. Заиграла какая-то музыка, оркестр. Иве сперва показалось странным услышать оркестр в карцере, но

он решил, раз играет, значит, так надо, главное ничему не удивляться и улыбаться по утрам. Струнные надрывались в патетической истерике, но никак не заканчивали фразы, обрывавшейся на полноте. Неразборчиво запел тенор — что-то про тюрьму, его раздели догола, голый тенор в тюрьме. Иву тоже раздели догола, хотя сейчас он почему-то был в робе и широких штанах, когда же он успел одеться? Ива пытался сосредоточиться, дослушать до конца, уловить смысл, но в глазах темнело, музыка то становилась глуше, то начинала истоиво рваться, снова затихала, пока не застряла на одном бесконечном альтовом визге. Ива отключился на какое-то время (пять минут? час?), открыл глаза, огляделся. Он явно был не один. Кто-то притаился в углу, за нарами. Ива резко обернулся и зыркнул — пусто. Снова посмотрел вперёд, но краем глаза следил, что происходит справа. Кто-то определённо сидел там, чёрная бесформенная фигура, исчезающая, стоило немного повернуть голову. Тупой обволакивающий страх закрался в живот: «Они кого-то подослали. Они хотят меня убить. Когда дежурный открыл тормоза, он впустил его сюда, — судорожно соображал Ива, пытаясь придумать, что делать дальше. — Игнорировать? Подкрадётся и ударит, скажем, в висок. Или уколет отравленным шприцем. Заговорить? Тогда точно накинется и будет чего доброго душить, он здоровый, а у меня нет сил». Ива решил отодвинуться влево, но тело ныло, разбитые о дверь руки саднили, он дёрнулся и остался сидеть на месте.

— Что вы хотите от меня? Зачем вы здесь? Когда меня выпустят? — прошептал Ива в надежде, что его не услышат.

- Никогда, — так же тихо ответил незнакомец.
- Но ведь пятнадцать суток.
- Пятнадцать суток могут длиться жизнь, — прохрипел из-за плеча.
- Неужели никак невозможно выбраться?
- Возможно.
- Что же делать?
- Снимать штаны и бегать, — и снова тенор запел про разделы догола, и скрипки рвались через решётки струн.
- Так говорила моя мама.
- Она умерла.
- Умерла.
- Хороший выход.
- После смерти обрету царствие небесное.
- Станешь царём.
- Души нет.
- Царствие есть.
- Бога нет.
- Выход есть.

Ива вспомнил, что это очень просто. Он видел в кино про психбольницу. Надо повязать мокрую тряпку вокруг шеи и уснуть. И не проснуться. В идеале ещё фигурировало снотворное, но можно было обойтись. Он ошалело огляделся, чёрный в углу исчез, но Ива знал, что он не ушёл. Он собрал остатки сил, поднялся, стянул потную футболку, намочил ей под струёй холодной воды, выжал над ржавой раковиной. Тот, чужой, был где-то сзади, наблюдал за ним, Иве почудилось, что он довольно посмеивается. Почему это, что тут забавного? Он задумал что-то гадкое, и Ива потворствует ему.

Ива вдруг вспомнил, как в детстве медитировал с мамой — тогда все ударились в эзотерику и восточные учения, зачитывались Рерихами и Блаватской. Надо было вытянуться на полу в струнку, стараться ни о чём не думать и ждать, пока твоё астральное тело отделится от физической оболочки. Ива и тогда не понимал, зачем нужны эти астральные полёты, а теперь не верил и ни в какие тонкие тела, но тут ему показалось, что астральная проекция случилась без его усилий, и вот он смотрел на себя со стороны: исхудавший до острых рёбер подросток ссутулился над раковиной, уставился безумно на мокрую футболку, дрожа от холода и страха. Что он собирается сделать? Зачем? Это обман, искушение, не надо, оставь, кто-то зло насмехается над тобой, в тюрьме шутят со всем — с любовью, с жизнью, но грубо, кондово, разве может воспитанный человек поддаваться на такое. «Ты должен быть выше этого, Иван, — сказала строго мама. — Это не твой уровень». «Да-да, не мой уровень, абсолютно не мой, — суетливо согласился Ива, вглядываясь в побелевшие костяшки пальцев, что сжимали сырой почерневший хлопок. — Я как-то опустил. Надо подняться на другой уровень. Вернуться».

Ива ослаб и продрог. Пчёлы зажужжали, но не так назойливо, как раньше, чёрный ушёл, Ива в его угол не смотрел, просто знал. Он повесил футболку на раковину и сел на табурет, стараясь расслабить мышцы, чтобы не дрожать. «Шостакович, конечно, это был всего лишь Шостакович. Но у него ничего не выйдет. У них ничего не выйдет».

Итак, карцер. Высшее воплощение одиночества, квинтэссенция счастья человеческого. «Никого в тюрьме, только я и рассудок мой». Я так думаю, что все люди должны жить в карцерах, пусть более комфортабельных, чем здесь. Ты полностью предоставлен самому себе, своим мыслям, рефлексии. Никто не отвлекает, никто не заговаривает с тобой, не надо натянутых улыбок, взглядов, беспокоиться о том, что скажут за спиной, ведь за спиной кирпичи. Тайная вечеря в одиночной камере: подсохший хлеб, тюремная юшка и пресная вода — вот чем должен жить человек.

Люди одиноки. Никто никого не любит, не понимает, каждый дорог только самому себе, всё остальное — наносное, социальное. Удел самки выкормить детёныша и отправить его в саванну охотиться за антилопами, а не пихать в институт, устраивать на работу, нянчить внуков и помогать деньгами на ремонт. Самец должен вовремя кончить, хотя современная медицина позволяет обходиться и без этих первобытных любезностей. Всё остальное — придуманные обществом путы, что страшнее любой камеры, ибо людям кажется, что им это нравится, хотя на самом деле каждый мечтает лишь о том, как бы остаться в безмятежности изоляции. Моё самое большое желание сейчас — постареть и стать импотентом, чтобы не расплыться душевно и физически на такую бесполезную, бессмысленную вещь как секс.

Да-да, я писал, что высшее благо — небытие, но на самом деле блаженство — в одиночестве. Предел

свободы — быть самим собой, хозяином своего настроения, царём своих дум, идолом и жрецом одновременно. Да здравствует карцер!

Иву встретили участливо, предложили чифирию. Ива отказался сперва — боялся, но потом протянул кружку за чёрной вонючей жидкостью, которая горько обожгла язык. Никакого эффекта не последовало.

Через пару дней его вызвали на очередной допрос. У зарешёченного окна в небольшой комнатке со старым деревянным столом и парой стульев стоял новый следователь — седовласый статный мужчина во франтоватом приталенном сером костюме. Не предложив Иве сесть, он долго изучал его, молча играя гелевой ручкой. Ива загляделся на его красивые руки с длинными пальцами и начищенными до блеска широкими благородными ногтями. На большом пальце правой руки еле заметно белел давний шрам, безымянный разрезала золотая полоска обручального кольца, ручка плясала, составляя с пальцами разные фигуры — то мост, то покосившееся распятие.

— Ну, что скажете, Иван Захарович? Понравилось в карцере, ха-ха? — была у него привычка театрально похохатывать.

— Вы не имели права сажать меня в карцер.

— Ну, это не я, а администрация. Напакостили вы там с телефоном-то.

— Ничего я не пакостил, и вы это знаете.

— Ну, может и так.

— А где мой адвокат?

— А зачем вам?

— Ну как же... Допрос, и без адвоката.

— А у нас не допрос. Просто разговор. По душам, ха-ха. Видите, у меня ни бланков, ничего. Если вы, конечно, не хотите сделать чистосердечное признание.

— Мне не в чем признаваться.

— Вот что, Иван Захарович. Я с вами буду говорить начистоту. Против вас у следствия достаточно улик и доказательств, чтобы засадить вас на всю жизнь. Мы можем найти управу и на вашего активного братца, он ведь, кажется, бизнесом занимается? Эта суета вокруг вашего дела порядком настоебенила нашему руководству. А вы же понимаете, Иван Захарович, когда руководство недовольно, то и мы недовольны, а значит и вам приходится несладко. Мы можем вас оставить в вашей камере, что вам так понравилась, а можем перевести в другую. Иногда, знаете, попадают такие неудобные кровати, что вы каждую ночь будете с них падать. То же и с зоной: будете хорошо себя вести, отправим вас на курорт. Если нет, то даже и не знаю... Вы умный человек, вы о Шаламове слышали? О Солженицыне? Ну вот, переживёте то же, только не уверен, что потом сможете описать, хотя... Я вашими дневниками зачитался, ха-ха. У вас определённо талант к сочинительству. Очень мне понравилось. Особенно пассажи про Рим, про вечный, так сказать, город. Красиво. Вам бы в писатели. Вот отсидите и напишете роман о том, как вас засудили. Но только для этого сперва надо выйти.

— Слушайте, ну вы же не верите в то, что я на самом деле это сделал?

— Я, Иван Захарович, следователь. Юрист. Я в бога верю, а больше ни во что не верю, мне факты нужны и доказательства. На вас их более чем достаточно.

Но даже если допустить, что вы невиноваты, то я ничем не могу подействовать. Мне, честно говоря, всё равно, трахал ты этого мальчика или нет, ха-ха, но знаешь, ты залез на чужой, так сказать, огород, переступил межу, у нас этого не любят.

— Послушайте. Я не могу сознаться в том, чего не делал. И у меня нет влияния на брата. Я с вами больше не хочу говорить без адвоката. Как вас зовут? Я на вас жалобу напишу! — задыхаясь прокричал Ива, готовый расплакаться от обиды и негодования.

— Ну что же. Очень жаль, Иван Захарович. Очень жаль, — с расстановкой отчеканил следователь. — Ну в таком случае пеняйте на себя. А жалобу можете написать, конечно, только я вот не возьму в толк на что? Я что, был с вами нелюбезен? Впрочем, неважно: у нас уж целая библиотека ваших жалоб и прошений, одной больше, одной меньше, как грится, ха-ха.

Ива угроз не испугался: он наслушался историй про запугивания и знал, что до дела доходит редко. К тому же чего бояться в тюрьме, где все как на ладони и куда бы его не кинули, за ним тут же последует малява с деталями. В новую камеру его перевели дня через два после «разговора» — вызвали с вещами после обеда, дежурного офицера почему-то сопровождал один из замов начальника тюрьмы. Долго шли по коридорам, удаляясь от выхода, снова одна за другой открывались и закрывались двери-решётки, пока, наконец, не отодвинулась тяжело последняя — сплошная металлическая с окошком. За ней был обычный промозглый коридор, но Иве отчего-то стало жутко и немного весело, как в предвкушении нового опасного приключения.

Дежурный открыл одну из камер. Ива вошёл, опустился на пол сумку, дверь закрылась. «Блатные», — тут же понял он, посмотрев на четверых мужиков в тренировочных костюмах, и представился по форме:

— Мир этому дому. Меня зовут Ива. Статьи 228, 132 и 127, но это всё наговоры, так что вы не пугайтесь. Коня запустите Палычу в один ноль пять. Я обиженный, если что.

— Слыш, ты, пидор, не выкаблучивайся тут, — прервал его худой лысый зэк лет сорока. — Нас не испугаешь. Нашёл тоже публичную библиотеку, — пошутил он и засмеялся, обнажив блестящий золотой резец, остальные подхватили и заулыбались. — Коней на воровском продоле не гоняем — возможности нет. По сто тридцать второй кого ты там трахнул, расскажи-ка.

— Да никого, говорю же — заказуха.

— Сколько лет заказухе, гондон?

— Да ничего же не было, говорю.

— Сколько лет, я тебя спрашиваю, урод.

Во рту пересохло, ноги ослабли, казалось, они сейчас подогнутся сами собой и Ива мешком овса упадёт на пол. Ива прислонился к двери, золотой зуб поднялся, подошёл к нему, лениво скинул тапок и, замахнувшись по-каратистски, с размаху ударил Иву в живот. Ива встал на колени, завалился на бок, свернулся в калачик, старший ударил его ещё раз и ещё — по спине, голове, ногам. Было уже не столько больно, сколько страшно. «Сейчас мы тебя попугаем, сука, будешь знать, как детей портить. Залазь под низ и не дыши».

Ива подождал, пока отпустит боль в животе, перевёл дыхание, перевернулся на другой бок и по-собачьи заполз под шконку. Здесь было темно и сыро,

пахло грязными носками, пыль свернулась клубками по углам, хотелось чихнуть, но Ива сдерживался, зажимая нос. Перед глазами маячили шелудивые пятки старшего, он то и дело чесал одну об другую. Иву распирало желание ухватить одну из них зубами, сильно, чтобы остались вмятины, он предвкушал, как впивается в невытую коросту с лёгким привкусом пыли и пота, как вгрызается и не отпускает, стараясь докусить до мутной солёной крови, как зэк чертыхается и дрыгает ногой, как она вырывается изо рта, оставив на языке катышек содранной кожи.

Ночью Иву выволокли из-под нар и избили. Били вчетвером, исключительно ногами. Били молча, поделовому, будто исполняя тяжёлую, но приятную повинность, ухали иногда, останавливались, чтобы отдышаться, принимались снова, кто-то забирался на верхнюю шконку и прыгивал на Иву. Ему сначала было больно, но потом он почти перестал чувствовать что-либо, лежал учебной грушей на полу, даже не уворачивался от ударов, а в голове крутилось молитвенное: «чёрный, чёрный, чёрный». Кто-то то ли серьёзно, то ли для острастки предложил «оттрахать пидора», но действий за этим не последовало — верно, старший не одобрил. Утомились, наконец, перестали, расползлись по койкам. Ива потерял на какое-то время сознание, очнулся. Тело саднило, лицо и руки были в крови, на губах привкус сладкого железа, как в детстве, когда после школы попадёшь в руки к хулиганам. Ива ощупал опухшим металлическим языком зубы — один чуть качался, но вообще все были на месте. Ноги и руки были целы, но как попытался перевернуться, крикнул от острой боли — кажется,

сломано ребро или, может, несколько. Он решил не двигаться до подъёма — дежурные не могли оставить его в таком виде. Заснуть не получалось — один из эзков громко храпел, смачно причмокивая губами, другие лежали тихо, но Иве чудилось, что они не спят, ждут, пока он подаст голос, чтобы встать и снова отдубасить его. «Господи, за что мне это, горьковато слишком. Чашу эту мимо пронеси, чашу эту мимо пронеси», — закрутилось в голове, Ива никак не мог вспомнить откуда это, разозлился на себя, попытался лечь поудобнее, откинулся на спину, преодолевая боль, закрыл глаза, забылся под храп и чавканье.

С утра двое конвойных отволокли стонущего Иву в старую камеру и швырнули на шконку. Пришёл похожий на серийного убийцу тюремный врач, осмотрел его, но повреждений не обнаружил: «Что же ты, голубчик, как так можно? Чуть шею не свернул. Осторожнее надо», — проговорил с улыбкой маньяка, больно похлопал Иву по плечу и ушел. Ива почти ничего не видел оплывшими глазами, губы распухли, говорить он не мог, но сострадание сокамерников чувствовал кожей. Малой заварил чаю и попытался вливать ему в рот с ложки, но Ива замотал головой, попросив воды. Палыч молчал, пока все обсуждали ментовский беспредел, потом подошёл к Ивиной шконке: «Ну, Дерево, прессуют тебя по-чёрному, теперь не отвянут. Подумал бы о здоровье-то», — сказал, постояв рядом, и вернулся на место.

Вечером ребята затагнули в камеру спирт, развели его с водой, Иве сунули в рот терпкую пятку косяка, от которой он больно закашлялся и приятно поплыл. Наступил, оказывается, Новый год.

Назарет обходили стороной. Иуда радовался этому, боялся, что братья побьют его, покажись он на пороге. Назарянина тоже никто не ждал. Иосиф умер, Мария жила с сыновьями Иудой и Симоном, два других брата ушли: Иосиф в Иерусалим, старший же, Иаков, подался вместе с Учителем к ессеям, да там и остался, теперь мясного не ел, волос не стриг, елеем не умащался, время бодрствования проводил в молитве. Но так близко оказались они от селения, что пройти мимо было нельзя. Взобрались на последний холм и за изгибом дороги увидели знакомые ухабистые улочки, белые одноэтажные дома с плоскими крышами, сгрудившиеся вокруг центральной площади: всего-то их было несколько десятков и, кажется, за 20 лет новых не построилось. Заныло внизу живота: давно Иуда не видел родной земли, как-то она примет его? Отправили Кифу к толпе, следовавшей за ними, чтобы приказал им не входить в город, народ, возмущившись, подчинился. Вместе с тринадцатью в Назарет вступили и женщины: рыжая Мария, Саломея, да мать братьев Зеведеевых, что прибилась к ним недавно, когда умер муж её — скромная старуха, помогавшая Марии по хозяйству.

Вышли к пустовавшему теперь дому Римлянина. Иуда отметил, что осталась выбоина в углу стены, деревца по краю площади подросли, а ручей пересох. Тихо было в городе, никто не встретил их ни хлебами, ни камнями. Долго стоял Назарянин, грустно глядя перед собой. «Как в детстве», — вспомнил Иуда,

спрятавшийся за спину Кифы на случай, если придут братья. Рыжая с интересом разглядывала дома, деревья, будто искала меты святости в городе, где провёл детство её Спаситель. Но дома оставались домами, деревья деревьями, а пыль дорожная — дорожной пылью. Страшно стало Иуде. Вот оно — запустение родного дома, в котором ты не сыном был, а жильцом, который не хочет принимать тебя обратно, ибо занято уже место твоё, испарился запах твой, и чужие люди едят из посуды твоей и спят на постели твоей. Будто и не было никогда Назарета у Иуды, ни Иуды у Назарета, будто вчера он появился на свет и так и жил — без роду, без племени. Нет ничего враждебнее человеку, чем отчий дом.

Из-за угла вышел древний белобородый старик, Иуда не узнал его. Упёрся руками в бока, постоял, разглядывая. «О, — прогремел с издёвкой. — Неужто Йешуа с голодранцами явился, царь иудейский, целитель и маг! Равви, у меня тут прыщик вскочил, излечи ради всего святого, — отвернулся, задрал хитон, выставив плоский костлявый зад, постоял так, оправился, повернулся обратно. — И девок привёл! Они тоже целительницы или просто тебя обслуживают? Тяжело им, верно, с такой оравой. Хотя говорят, и не нужны вам блудницы, потому как сами с собой возлежите, как с жёнами». Кифа набычился и двинулся к старику, но Назарянин удержал его. Из-за другого угла показалась Мария в сопровождении суровых бородатых сыновей. Совсем в старуху превратилась, — подумал Иуда. Они встали поодаль, не решаясь приблизиться. Филипп подошёл к Учителю, сказав: «Вот мать твоя и братья твои стоят, желают говорить

с тобою». Назарянин долго молчал, будто не слышал Филиппа, потом посмотрел ему в глаза и проговорил громко, звеня словами в тревожной тишине: «Кто мать моя? И кто братья мои? Вот мать моя и братья мои, — развёл руками. — Лишь исполняющий волю отца моего, тот мне мать, и брат, и сестра». Мария зарыдала в голос, прижав к груди морщинистые руки, сыновья её шагнули вперёд. Они были похожи, Иуда не помнил, кто из них был Симоном, а кто Иудой, один подошёл вплотную к ученикам, окружившим Назарянина, и дрожащим от негодования голосом произнёс: «Брат мой, Йешуа, зачем ты здесь? Ты предал заветы отцов наших, отступил от Закона. Говорят, что не соблюдаешь субботы, рук не омываешь перед трапезой, не чтешь пророков, грехи отпускаешь, будто ты есть Бог. Не ступала на землю Назарета от века нога блудницы, а ты привёл с собой грешниц. Не было в роду нашем колдунов и магов, а ты изгоняешь бесов силою Вельзевула. И другое говорят, — запнулся Симон или Иуда. — Но вымолвить не могу, дабы не осквернить уст. Молю тебя, Йешуа, не позорь мать нашу и отца нашего, и дом наш. Иди с миром».

Пока он говорил, на площади собрались горожане, среди которых Иуда увидел и своих братьев. Многие держали в руках палки, Иуда поёжился, представив, как будут ныть кровоточащие ссадины. Назарянин всё стоял с отсутствующим видом, будто заснул с открытыми глазами, но вдруг встрепенулся, отодвинул плечом Кифу Ионина, обогнул брата, не взглянув на него, и направился к толпе, пройдя через расступившийся народ, как Моисей среди моря. Свита последовала за ним. Изумлённая толпа сперва молчала,

но когда сомкнулись волны человеческие за последними спинами, заголосила, заулюлюкала, затрясла руками. Иуда инстинктивно вжал голову, обернулся через плечо и не успел увернуться от камня, больно расцарапавшего правую щёку.

Назарянин был в гневе. Иуда хорошо знал его, чтобы не приближаться в такие минуты, остальные тоже ступшевались, и лишь Кифа по глупости своей пытался сгладить напряжение.

— Равви, — сказал он заискивающе. — Не ты ли учил, что блаженны будут преследуемые и не войдут в царствие небесное хулители. Стоит ли печалиться из-за родных твоих, отвергнувших тебя?

— И те, кто со мной, не понимают меня! — накинулся Назарянин на Кифу, тот покраснел и отступил на шаг, будто хотел бежать, спрятаться, но некуда было деться ему, ибо стояли они посреди пустыни. — Нет пророка в своём селении. Не лечит врач тех, которые знают его. Люди думают, что я пришёл с миром, но не с миром я пришёл, а с разделением, огнём, мечом и войной. Ибо пятеро братьев будут в доме, и трое встанут против двоих, и двое против троих, и мать будет против сына, и муж против жены, — Он оглядел учеников презрительно и спросил. — Скажи мне, Пётр, на кого я похож? Уподобь меня.

— Ты похож на ангела справедливого, — пролепетал, заикаясь, Кифа. Назарянин перевёл взгляд на Фому близнеца.

— Ты похож на философа мудрого, — выкрутился тот и оглянулся в испуге на Иуду.

— Мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож, равви, — проговорил смиренно Иуда, ругая

про себя недогадливых учеников. Назарянин же не услышал его, не повернулся к нему, не посмотрел. Нет спасения бедному Иуде даже и в мудрости его.

— Никто из вас не внемлет мне, все вы отречётесь от меня. Самый благоразумный из вас предаст меня и отдаст сына человеческого на погибель, пока другие будут стоять в стороне. Кифа, изыди от меня, я не твой господин, ибо ты напился из источника кипящего, который я попрал. Фома, ты носишь порок в душе твоей. Сказано не прелюбодействуй, но я говорю вам, что каждый, кто смотрит на женщину с похотью, уже прелюбодействует с ней в сердце своём! Твоё же сердце черно. — Иуда ждал, что и до него дойдёт очередь, но Назарянин осёкся и пошёл дальше. Через несколько шагов запнулся, обернулся к ученикам и еле слышно продолжил. — Истинно говорю вам, что должно нам идти в Иерусалим, где сын человеческий будет предан на поругание и смерть, и на третий день воскреснет.

— Да не будет этого с тобою, господи... — сорвалось с языка у перепуганного Кифы.

— Отойди от меня, сатана, ибо думаешь о человеческом! Ты мне искушение! — закричал Назарянин так громко, что Иуда подумал — бросится сейчас с кулаками на Кифу. Но он быстро осунулся, померк лицом, и зашагал по извилистой галилейской дороге.

До вечера никто не произнёс ни слова. Иуда забавлялся, наблюдая за обиженным Кифой, что наступал на пятки Назарянину, размышляя, как вернуть расположение своего Учителя, пытаясь понять, кто виноват в этой немилости. На Иуду было свалить сложно, тем более, что давно они не испытывали недостатка

в еде, вине и деньгах, всё больше нищих ходило за ними, исцелялось ежедневно, получая мзду из Иудиного короба, всё больше слушателей собиралось на проповеди, спасая души медью и серебром. Горько было Кифе, он-то верил, что они с Андреем главные, приближенные, а нет — не понимают они Учителя, как следует. Смешно было Иуде, что одиннадцать похожи на детей малых — верят каждому слову Назарянина, не пытаюсь и задуматься над тем, что он хочет донести до них и до народа. Они, как домашние псы, им главное, чтобы хозяин был рядом: кинет кусок, будут вилять хвостом и улыбаться собачьей улыбкой, пнёт в дурном настроении — так же будут юлить в надежде на милость. Глупые, глупые, неучёные рыбаки. Ни Торы не знают, ни языков, хотят спастись рабской покорностью.

На ночь устроились на окраине селения у родственника братьев Иониных. Кифа воспрял, был рад оказаться полезным: дом был большим, хозяин хлебосольным, щедро отплачивал за проповеди богатым столом. После ужина неугомонному Кифе показалось, что Главный отошёл от назаретского холодного приёма и, как всегда безо всякой прелюдии, приступил:

— Равви, имею что спросить у тебя.

— Спрашивай, Пётр.

— Учитель, вот ты ругал Фому за то, что носит порок в сердце своём. Но виновен ли Фома, что искушают его день и ночь? И вот в Назарете брат твой порицал нас за то, что ходит с нами грешница. От неё всё зло. Пусть Мария уйдёт от нас, ибо женщины недостойны жизни.

Возлежавшая рядом с Назарянином Мария встрепенулась, на лоб из-под платка выбился огненный локон. Все молчали. У Иуды хоть и потеплело на душе от мысли, что не он один ненавидит бесстыжую девку, всё же испугался за Кифу, глядя, как поднимается в Назарянине гнев. А ну как сейчас и прогонит его взаправду и не подпустит больше. Иуда Кифу не любил, но ценил его силу, что не раз спасала всех и его, Иудину, шкуру. К тому же учеников должно быть двенадцать, неизвестно, кого выберут на место Кифы.

— Зачем вы называете меня своими устами «Учитель», если не слушаете, что я говорю? Пётр, слушай меня. И вы слушайте, — Назарянин задыхался, никогда Иуда не видел его в таком возбуждении. — Не будет в царствии небесном мужчин и женщин, но когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был женщиной и женщина не была женщиной, тогда войдёте в царствие небесное. Ибо мужчины — не мужчины, и женщины — не женщины. И хорошие не хороши, и плохие не плохи, и жизнь — не жизнь, и смерть — не смерть. И если видишь правое, знай, что это левое, но если видишь левое, знай, что оно правое. Смотрите на Марию! Я направлю её, дабы сделать её женщиной, чтобы она стала духом живым, подобным мужчинам. — Он отдышался немного, заговорил ровнее. — Один человек праздновал свадьбу. И послал рабов своих к горожанам, чтобы пришли на пир. И один подумал: «Слишком хороша невеста, она соблазнит меня красотой своей и введёт в искушение. Не пойду на пир». И сказал рабу, что не может пойти, потому что купил дом и должно ему ехать в деревню. И подумал другой: «Слишком ладен жених, все залюбуются

им, а на меня никто не посмотрит. Не пойду на пир». И сказал рабу, что не может пойти на пир, потому что имеет другую свадьбу. И подумал третий: «Не просто они позвали меня, но чтобы похвалиться богатством своим, которого нет у меня, и яствами своими, которые не могу есть. Не пойду на пир». И ответил рабу, что не может пойти, ибо больна мать у него и должно ему остаться при ней. И вернулись рабы к господину своему и сказали, что все отказались прийти на пир. И приказал тогда тот человек созвать всех, кого найдут в городе: нищих, и бродяг, и мытарей, и блудниц, и язычников, и флейтисток. И те пришли и возрадовались пиру, и яствам, и красоте невесты, и ладности жениха. Ибо много званых, но мало избранных, и не каждый войдёт в брачный чертог.

Окончив притчу, которую Иуда слышал уже, Назарянин встал и ушёл в задние комнаты. Мария гордо проследовала за ним, озадаченный Кифа поглядел им вслед с упрёком. Иуда радовался, что всё складывается, как ему хочется. Рыжую нужно было проучить.

Ужасно хочется ебаться. Как сказал бы предатель-Заяц, скулы сводит. Не всегда, впрочем. Порой целые дни провожу в каком-то коматозе, а потом как накатит — мочи нет. Привык мастурбировать у параша под гудение телека и разговоры мужиков. Все так делают — как в туалет сходить. На воле я дрочил по три-четыре раза в день: с утра, в обед и пару раз вечером. Благо бесплатная порнушка подгружается теперь даже на 4G. Но самое приятное — это не bareback юных чехов из Bel Ami, а понежить себя безо всякого видео через часик после настоящего секса. Хорошенько потрахаться у кого-нибудь в гостях, вернуться домой и помечтать о парне, с которым только что переспал, или о каком другом, если последний недостоин воспоминаний. В тюрьме вайфая нет, вообще обстановка неэротичная, так что онанизмом занимаюсь от силы пару раз в день, если не реже.

Я — человек секса, и вот меня лишили его. Отняли моего идола, моего вечновозбуждённого Приапа. О, божественный Хуй, как мне не хватает Твоего непобедимого света. Я люблю Тебя, я благоговею перед Тобой, я почитаю Тебя. Я сотворил себе кумира, и этот кумир — Ты. Ты являешься мне в мечтах — статный, крепкий, обольстительный. Основание нежного телесного цвета с царственным жабо крайней плоти гордо венчает фиолетовая головка с истекающей сакральным соком стигмой уретры. Яички покрыты бархатным пушком, до которого так приятно осторожно дотрагиваться губами, на-

блюдая, как Ты чуть вздрагиваешь от сладострастия в надежде, что я поднимусь выше. И я поднимаюсь. Прохожусь кончиком языка по Твоему стволу, кокетливо щечочу уздечку, вдыхаю Твой мускатный запах, слизываю остатки творожной смегмы у основания головки. Ты дрожишь и ждёшь, и молишь меня, приказываешь мне не останавливаться. Ты рвёшься полностью завладеть моим ртом, моей душой, всей жизнью моей. Но я пока играю с Тобой, я шалю, я спускаюсь обратно и целую щекотный курчавый лобок, придерживая Тебя указательным пальцем, прохожусь по меже между волосами и гладким напряжённым животом. Я тихонько дую на Тебя, чтобы остудить Тебя, но это лишь горячит Тебя ещё больше, Ты дёргаешься от нетерпения, как арабский скакун в знойной пустыне, и вот я приношу Тебе этот дар, эту жертву, которую Ты так долго ждал. Ибо то, что войдёт в ваши уста, не осквернит вас. И я вбираю Тебя по самый корень, Ты упираешься в мои гланды, глаза наполняются слезами удушья и сыновьего восторга, но я терплю — боль очищает, без неё нет искупления. Ты — грех мой и спасение моё. Ты чист, как архангел, ведь я впитал всё, что было в Тебе от мира сего. Я ощущаю губами, как потоки светлых эонов Отца всесущего поднимаются внутри Тебя, вот оно — истинное блаженство, понимать, что жертва моя принята, что я благословен в страстях моих. Я тружусь, я в поте лица моего возделываю Тебя, пот капает на живот, но я не вытираю лба, ибо пот этот свят. Ты замираешь, становишься больше, заполняешь Собой всю вселенную, нет никого кроме Тебя, нет никого над Тобой, Ты в нерушимости и свете чистом, ты больше бога,

ведь нет никого, кто был бы господином над Тобой, ты ни в каком бы то ни было подчинении, ибо всё существует в Тебе, Ты не нуждаешься в чём бы то ни было, ведь Ты полностью совершенен, у Тебя нет в чём бы то ни было недостатка, нет того, чем Ты мог бы быть пополнен. Ты безграничен, ибо нет никого перед Тобой, чтобы ограничить Тебя, ты непостижим, ибо нет никого, кто бы мог постичь Тебя, Ты неизмерим, ибо нет никого, кто мог бы измерить Тебя, Ты существуешь вечно. Я поклоняюсь Тебе, я твою свою безмолвную молитву в ожидании озарения. И вот я чувствую, как молитвенный экстаз набирает силу, как Ты заполняешь собой всю суть мою, как Ты пульсируешь в агонии, как мироточишь, как коронуешь меня горячей горькой спермой, что изливается в меня небесной магмой, становится мной, я отныне и во веки — помазанник Твой. Неизбывное, вселенское счастье заливает меня, я могу вздохнуть свободно, я претерпел страдания и возродился, я — первый восставший из мёртвых и я возведу свет людям. Ты воскресил меня благостью Своей, чтобы я шёл и нёс миру слово Твоё. Аминь.

Ива с адвокатом забросали администрацию и прокуратуру жалобами на избиение, к Иве снова приходили правозащитники, расспрашивали, охали, администрация объявила проверку, которая закончилась в один день: противоправных действий ревизоры не обнаружили — Ива якобы упал во сне со шконки. Газеты, сгущая краски, писали о невиданной жестокости пресс-хаты, брат чуть не каждую неделю собирал митинги и выходил на одиночные пикеты, об Ивином деле заговорили иностранцы, Совет ООН по правам человека, Московская Хельсинкская группа, какие-то депутаты Европарламента с непроизносимыми именами предлагали провести внеочередную сессию, посвящённую нарушениям прав человека в России. Ива читал об этом в присылаемых братом письмах, адвокат же приносил распечатки на английском. В камере больше не было телефона. Пальчу дали понять, что из-за Ивы лучше и не заводить. Жёнёк, впрочем, договорился с соседями и отдал им новый аппарат на хранение, затаскивая его при необходимости через форточку. Выходило дороже — соседи звонили своим в качестве платы, но зато безопасно. Ива взял дополнительные расходы на себя и дважды в неделю говорил с братом: тот взахлёб рапортовал об успехах информационной кампании, Ива в ответ мычал — он и на воле не очень любил телефоны.

Атмосфера неумолимо менялась. Алихан Семёнович был по-прежнему уверен в успехе, по-барски балагурил на встречах, но в его мудрых глазах

проскальзывало порой смутное страдание, будто он знал что-то, но пока не мог высказать. Зато сокамерники переменились к Иве, его не шпыняли больше, не шутили над ним, даже Палыч замечал его чаще. Вообще мужики следили за процессом больше самого Ивы, но с ним самим не разговаривали, будто речь шла не об их сокамернике, а о постороннем человеке. Они вслух зачитывали письма от Ивиного брата, обсуждали газетные статьи, колонки публицистов, которые или приводили Иву в пример бесцеремонности режима, или клеймили падение нравов и безнаказанность распоясавшихся педофилов и извращенцев. Поводы для колонок и разговоров возникали постоянно. То Ивиному брату впаяли 15 суток ареста за то, что стоял в пикете, а полиция подслала провокатора с белым листом бумаги. То какой-то неизвестный депутат новосибирского заксобрания предложил ввести смертную казнь для педофилов, его поддержала группа православных активистов. В некоторых городах прошли демонстрации с требованиями расстреливать всех осуждённых по 132 статье, независимо от отягчающих, ещё больше было митингов против этой идеи. Первые мероприятия показывали по телевизору, о вторых писали в Интернете. Палыч неодобрительно качал головой после телерепортажей, цокал языком и приговаривал: «Эх, скоты. Сталина на них нет». Адвокат рассказывал, что обстановка вокруг Ивиного дела накалилась до того, что перекрыла собой военную тему: друзья ссорились и блокировали друг друга в Фейсбуке, сторонники Ивы стали носить радужные ленты, противники взяли на вооружение патриотические чёрно-жёлтые. Между радужными

и чёрно-жёлтыми случались стычки в общественном транспорте и на улицах, полиция, впрочем, задерживала всех. Иву называли новым мессией, американским шпионом, варваром, маньяком, святым, грязным извращенцем, бесстрашным воином, Данко от ЛГБТ, извергом и Иродом, один священник отлучил Иву от Церкви, хотя он и крещён-то не был, московский патриархат воздержался от комментариев по поводу этой инициативы, в Санкт-Петербурге собирали подписи за то, чтобы назвать Ивиным именем сквер в центре города. Об Иве вышли пространные статьи в *The New York Times* и *The Guardian*, о нём говорили на Аль-Джазире и CNN, корреспонденты со всего мира слетались в командировки в Москву, чтобы взять интервью у его последователей и брата. Современные андеграундные художники устраивали перформансы и подпольные выставки про Иву, поговаривали, что любимец Ивы режиссёр Серебренников собирается ставить по его истории спектакль. Всё это произошло стремительно, за какой-то месяц, только что об Иве никто не знал, и вот он превратился в символ борьбы.

Когда истекли отпущенные два месяца ареста, на продление Иву повезли не в простом автозаке, а в бронированном автобусе, полном крепких парней с автоматами. Как в сериале про Коза Ностру, они бегом провели его в здание суда, наклонив и заломив руки, караулили у двери, пока судья зачитывал постановление, а после так же быстро увезли обратно — ни сборок с другими заключёнными, про которые рассказывал Казак, ни долгого ожидания в суде. Ивиного брата предварительно задержали без объяснения причин и продержали двое суток в ИВС — чтобы

не устраивал демонстрации перед судом, но народ собрался и без него. «Вы стали идолом, Иван Захарович, вам очень повезло, — воодушевлённо говорил адвокат. — Они теперь как минимум должны будут проявить снисхождение. Вас посадят, конечно, но бросят какую-то кость либеральной общественности».

У Ивы поначалу приятно холодило сердце, но скоро он устал от этой популярности, она страшила его, ему казалось, что он раздвоился и на свете существовали теперь два Ивы — один сидел в камере, а про другого писали журналисты. В такие минуты из угла возле дальняка на него снова посматривал Чёрный, Ива старался игнорировать его и улыбался, следуя завету Палыча. Он порой грезил о том, как хорошо вернуться на полгода назад, в ту банальную, неинтересную, ни к чему не обязывающую, наполненную мелочами жизнь, но тут же чувствовал, как внешняя великая сила отвращала его от каверзных мыслей, внушая ему, что он стал фигурой в совсем другой партии: не тюремной, не правозащитной, не мирской даже, что выбора по-прежнему нет, он должен подчиниться этой воле. Он, впрочем, проглядывал новости, почти не слушал телевизор и отдавал распечатки из интернета Женьку, который забирался с печеньем на свой ярус и зачитывал оттуда самые, на его взгляд, интересные фрагменты.

Однажды после очередного выпуска, кажется, программы «Время», пропущенного Ивой мимо ушей, камера непривычно затихла. Слышно было, как Палыч чесал раздуевшуюся от грибка пятку о металлическую перекладину койки, навязчиво шуршали страницы Женькиного романа, одышливо похрипывал Казак.

Ива оглядел сокамерников, те попрытали глаза. «Умер что ли кто? — спросил он. Никто не шевельнулся.

— А ты не слышал? — Женёк посмотрел на Иву поверх книги.

— Что слышал-то?

— В Думе предложили рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за педофилию вплоть до высшей меры.

— Ха. Да это бред. У нас мораторий на смертную казнь, пусть рассматривают. Нас на фиг из Совета Европы погонят.

— Нас уже оттуда погнали месяц назад, — ожил Казак. — Временно приостановили членство за массовые нарушения прав человека.

— Ну ладно вам. Мы в двадцать первом веке живём, не будут же они педофилов на костре сжигать.

— На костре, может, и не будут, а пулю в затылок пустят.

Алихан Семёнович подтвердил, что опасаться нечего: несколько лет назад Конституционный суд запретил выносить смертные приговоры, к тому же по десятой статье УК наказание не могло быть ужесточено задним числом. Кроме того, согласно Конституции смертная казнь могла быть назначена только за преступления против жизни, изменить эту норму вправо было специальное Конституционное собрание, которое приняло бы новую Конституцию, но закон о его созыве отсутствовал.

Тем временем по стране прокатилась волна протестов, брата Ивы снова закрыли, на этот раз на месяц, журналисты писали статьи, публицисты извергали гнев в колонках, а Госдума хладнокровно вытащила из

запасников один из проектов закона о созыве Конституционного собрания, приняла его сразу в трёх чтениях, после чего обе палаты поддержали предложение о пересмотре 20-й статьи Основного закона. Конституционное собрание, не усложняя себе жизнь референдумом, проголосовало за проект новой Конституции, что отличалась от старой лишь одной статьёй, где говорилось теперь о праве на жизнь, а смертная казнь не упоминалась вовсе. Одновременно была отозвана подпись под 6 Протоколом к Европейской Конвенции, так что утратил силу и запрет Конституционного суда. Так же оперативно был изменён и уголовный кодекс. Неделю все надеялись, что под давлением международного сообщества закон о поправках в УК не подпишет президент, даже многие лояльные режиму издания публиковали открытые письма представителей интеллигенции с просьбами, требованиями, мольбами наложить вето, но президент прессу не читал, закон подписал, и вот перед Ивой лежала распечатка текста из «Российской газеты», сухо сообщавшая, что 132 статья теперь могла предусматривать высшую меру. Смертную казнь добавили в список наказаний и за государственную измену, шпионаж, насильственный захват власти и некоторые другие преступления, что заставляло думать, что Ивиным случаем воспользовались в качестве прикрытия в большой игре. Ивино же положение отягчалось тем, что следствие превратило «незаконное лишение свободы» в «похищение человека», а также утверждало, что Ива одурманивал Максима марихуаной, прежде чем насиловать его, чем вызвал стойкую зависимость у подростка к наркотикам.

Передали материалы дела для ознакомления. Мы сначала встретились со следователем и адвокатом, Алихан всё откопировал, отдал мне. 3 тома всего, мне казалось, их должно быть больше. 3 толстые папки с бумагами, на которых мягко спится и которые надо прочитать. Всё оказалось гораздо интереснее, чем я думал. Заявление родителей Джастина. Протокол обыска с травой, наручниками и моим компьютером. Показания соседей, что Джастин удерживался у меня на квартире. Удерживался. С какого ляду они решили, что я не отпускал его, что они, слышали лязг наручников о батарее? Следователь нашёл и допросил Зайца, он подробно рассказал, как мы занимались сексом, как я стегал его стеклом, заковывал, только почему-то умолчал, что он сам просил меня об этом... «Склонен к садизму и насилию», — говорит про меня Заяц. Что они сделали с ним? Надавили? Или он поверил в эту шнягу с педофилией? Приревновал к Джастину? Распечатки моих бесконечных секс-переписок в Хорнете. Распечатки моих дневников. В моём компьютере они якобы нашли детское порно, вот распечатки с адресами и скриншотами, а также даты и время, когда я заходил на эти сайты. Откуда это вообще? Как можно доказать, что это липа? Допросы моих любовников, которых они смогли достать, — все юны, как Антиной, шокированы моим преступлением, все припоминают по подсказке следователя, что меня особенно возбуждали молодые нетронутые тела. Так и написано «нетронутые» — как будто осталось

в этих 20-летних шалавах что-то нетронутое. Переехали с половиной Москвы, хуй в жопе хлюпает, как сапог в трясине, а всё прикидываются девственниками. Показания коллег и, в частности, Ларисы, о том, что я открыто защищал педофилов и устроил истерику в кафе. Показания Джастина, в аутентичности которых сомневается адвокат. Я в них тоже не верю, не мог он такого наговорить. Посмотрим, повторит ли это в суде. Согласно основной версии, я познакомился с ним в Петербурге, когда приезжал на похороны мамы, очаровал и пригласил в Москву. Чтобы замести следы, я купил ему билет на автобус, а сам полетел на самолёте. По приезду я избил и изнасиловал его, отобрал документы, одежду, телефон и держал голым взаперти. Каждый день я бил и насиловал его, пытал, «используя подручные средства», грозился убить, если он убежит или проговорится, заставлял употреблять наркотики и алкоголь. Подробно, канцелярски описывается, какой рукой и по какому месту я бил его, в какой позе вводил половой член, каждый раз уточняется, что презерватив при этом не надевал и что семяизвержение проходило в прямую кишку. Медицинская экспертиза зафиксировала синяки на теле Джастина и следы удушья на шее (папа что ли постарался?), в заднем проходе повреждений не обнаружено, но это не может быть стопроцентным подтверждением того, что я его не насиловал. Есть также результаты экспертизы, которая нашла следы эпидермиса Джастина на наручниках — откуда?! Кажется, он надевал их ради шутки. Дошутился.

Приехали его родители, увезли его, но я выкрал его по дороге из школы — вот тебе и похищение. Одна

психологическая экспертиза установила серьёзные отклонения в личности Джастина, вызванные пытками, сексуальным насилием и употреблением наркотических средств, другая подтвердила мою вменяемость и отсутствие психиатрических отклонений, третья — мою способность к половому акту (подробно описывается всё, что я рассказал тогда врачу про мою сексуальную жизнь, а и вообще весь анамнез с описанием даже и члена). «Не обнаружено каких-либо нарушений строения половых органов, которые механически препятствовали бы введению полового члена в естественные отверстия тела человека. Имеются данные о наличии способности к развитию напряжения полового члена». Это похоже на нелепый американский детективный сериал, где сексапильные девки-паталогоанатомы разделявают обезображенные трупы, вот только у сценаристов на сотой серии исыкло вдохновение и они погнали такую чернуху, что и самим тошно, но народ же любит клубничку, так и надо придумывать ещё страшнее, ещё круче, ещё фантастичнее. Неужели суд примет это всерьёз? Невозможно.

Всё это бесконечно пошло. Помнится, Набоков всю жизнь пытался перевести на английский русское слово пошлость, но так у него и не вышло. Что-то среднее между вульгарностью и мещанством. Если бы Владимир Владимирович ознакомился с материалами моего дела, они бы стали прекрасной иллюстрацией. Неумелое графоманство безграмотного подростка, вообразившего себя Агатой Кристи, оно как будто про какого-то другого Безымянного Ивана Захаровича, он не может быть мной, потому что не может быть никогда. Странно, что даже следствие,

кажется, понимает, насколько грубо всё это слеplено, им, должно быть, немного стыдно, что не хватило таланта сочинить поживее.

А может, так и надо — колесо закрутилось, никто не в силах остановить конвейер, рубильник «ОТКЛ» не предусмотрен инженером, и следователи, прокуратура, судьи, журналисты, депутаты, мой героический брат со своими активистами и даже я — мы все лишь сырьё для исполнения вздорного и великого замысла, скрытого от невежественных глаз, так что остаётся лишь предполагать, какой продукт ожидается на выходе. Я, впрочем, кажется, начинаю догадываться. Еле отчётливые сигналы проступают то там, то тут, размытые, но поддающиеся вдумчивой расшифровке знамения: то, как слушают меня в камере, боясь приблизиться, будто могут сгореть от одного прикосновения, неприступное уважение Палыча, изумлённая надежда в глазах Малого, а там, на воле — все эти мальчишки и девочки с радужными ленточками, большинство из них вовсе даже и не геи, просто для них эта борьба за меня, за неизвестного им Иву, стала глотком свежего воздуха в каземате. Их тюрьма от этого не станет дворцом (хотя и дворец — место заключения), но они увидели мираж света в тоннеле, поверили, что это не благостные глупости фанатичных проповедников, а запланированная провидением реальность — и эту веру им дал я. Нет, не я — высший разум, Логос, уродливые Парки, ткущие в безбрежном болотистом тумане судьбы человеческие. Да-да, я понял (не конечный замысел, о нет) — то, что требуется от меня. Мне страшно, но я повинуюсь. Я не подведу. Я справлюсь.

Вечером перед отбоем Иве объявили, что завтра повезут на суд. Ива испугался немного — как будто вступительные экзамены перенесли на более раннюю дату и он не успел подготовиться. Спал он плохо, всё представлял, как увидит героев своих мытарств — Джастина, Зайца, генерала с купчихой-богоматерью. В полусне представлялся ему торжественный кафедральный зал, трое величественных судей в рясах мантий, разнородная публика на сиденьях тёмного дерева пристально изучает подсудимого в обрамлении строгих атлантов конвоя. Вводят по одному свидетелей, гордый Ива не достаивает их и взглядом, адвокат ведёт перекрёстный допрос, из которого становится очевидна ложность обвинений, зал возмущённо гудит, кто-то из дам на галёрке лишается чувств, чтобы остановить всеобщее смятение, судья яростно колотит по столу деревянным молотком.

Следуя примеру Казака, Ива встал до подъёма, быстро умылся, позавтракал, взял еды в дорогу и был готов к приходу дежурного. Ему выдали сухпаёк и отвели в общую камеру с лавками по стенам — сборку, где зэки ожидали вывоза на суды. Ива просидел пару часов в сигаретном чаду и людском гомоне. Автозак напоминал советский грузовик, доставлявший хлеб в деревню, где Ива проводил школьные каникулы — очередь тогда занимали за полчаса до привоза, потому что «местные» брали по несколько буханок на прокорм «курям», оставляя ни с чем нерасторопных дачников. Только дверь в кузове-кубе располагалась

сбоку, отражаясь в зеркале заднего вида. Вместе с Ивой ехали двое молодых парней, одного судили за кражу, второго по «народной» 228-й. Долго, муторно тащились по пробкам в разные суды, сначала завезли барыгу, потом Иву, вор поехал дальше.

Заседание Ивино назначили на два, привезли его около полудня, но ориентироваться было сложно, из-за табу на часы суд не знал времени. Спускаясь с подножки автозака, Ива прищурился от яркого морозного солнца, захотелось поглядеть в небо, расправить плечи, потянуться навстречу голубой глубине. Конвойный дёрнул наручник, Ива открыл глаза, увидел кордон полицейских, теснивших толпу с плакатами, что окружила суд. Иву узнали, закричали что-то, он попытался высмотреть знакомые лица, но полицейский снова больно рванул и завёл Иву в кирпичное ухабистое здание, похожее на цех дореволюционного завода. На узкой лестнице Иву встретили трое приставов и пискливая металлическая рамка. Ива полюбил эти короткие переходы — от хлебовозки до судебной сборки и от сборки до зала суда, когда, пусть и в наручниках, но соприкасаешься с вольным миром, где парни носят узкие джинсы, а девушки сапоги на каблуках, где здороваются за руку, уходят на обед, выкладывают на стол перед полицейским мобильные телефоны и ключи от квартир, стоят в очереди, уткнувшись в планшеты, где, если повезёт, можно мельком увидеть брата, который приходил на Ивины заседания и стоял часовым у двери. Странно было в этих условиях полуволи встречать среди живых таких же арестантов-полутеней. Одни озирались по сторонам со смущённой улыбкой, го-

ворившей: «Ну ничего себе, прям катавасия, а? Кто бы мог подумать. Смешно!» Они заискивали перед конвойными и постовыми, они с особой откровенностью общались с назначенными адвокатами, видя в этой соломинке чуть не спасительный плот, они не свыклись с клетками и оконными решётками, от них пахло наваристым домашним борщом и солёным турецким пляжем, они шаркали расшнурованными, сваливающимися с ног кроссовками и всё ещё надеялись, что с их делом «разберутся», а может, рассчитывали подкупить кого-то, договаривались через родственников, выглядывали в гипсовых глазницах судей и прокуроров проблески надежды. Изредка встречались настоящие воры с гордо вскинутыми сумрачными головами и перекошенными напряжёнными плечами — как собаки на привязи, они готовы были сорваться, если только полицейский ослабит хватку. На многих арестантских лицах лежала усталость, безразличие, раздражение от того, что не успели позавтракать, что в наручниках затекли руки, что не разрешают свидание, что суд затянулся, нет сил переносить этот фарс, а хочется побыстрее услышать приговор и отправиться на зону, где, возможно, будет больше свежего воздуха и время приобретёт очертания. Впрочем, большинство вели себя так, будто ничего странного не происходило, жизнь для них текла своим чередом, они-то знали, что по ту сторону меняются лишь условия содержания, но ко всему можно привыкнуть.

Судебная сборка оказалась менее многолюдной, чем тюремная, в небольшом прокуренном чулане без окон сидело человек десять. Одних уводили, других

приводили, это походило на зал ожидания захолустного вокзала с перегоревшими лампочками, которые не меняет запивший завхоз: к заседаниям готовились в полутьме церковного крипта, даже читать было невозможно — Фемида в освещении не нуждалась. Ива проголодался, съел привезённую плитку шоколада и открыл сухпаёк: картонная коробка предлагала два пакетика с кашами — сладкую овсяную и несладкую рисовую, сухой куриный суп, чай, сахар и армейские галеты. Розеток и кипятильников не было. Ива съел всухомятку безвкусные крекеры, надорвал одну из каш, понюхал, полиэтиленово зашелестели другие мужики. Похмельный конвойный ввёл очередного арестанта. «Командир, как бы по кипяточку распорядиться?» — спросили, — «Позже», — буркнул в ответ, отстегнул наручники и вышел. Составители сухпайка явно никогда не пользовались им сами, а может, решили, что в желудке и так всё перемешается: мало того, что для взрослого эта диета была более чем скромной (зэки уходили на суд до завтрака и возвращались после ужина), на три пакета с растворимой едой и один чай полагалась лишь пара ломких пенопластовых стаканчиков, которые было негде мыть. Поразмыслив, Ива решил оставить один для чая, а второй для основных блюд, вот только с водой суд испытывал те же проблемы, что и со светом. Водолей с электрическим чайником появился через час — лысоватый пожилой полицейский с красным щербатым лицом начальника поезда, вечно недовольного докучливыми пассажирами, что отрывают его от важных дел. Он разлил кипяток, вышел, сердито кряхтя, и тут же вернулся с разлинованной тетрадью,

где нужно было расписаться напротив своей фамилии — в получении ценного напитка. Ива высыпал в стакан овсянку, осторожно перемешал её пластмассовой ложкой. Она была похожа на клейстер, что каждую осень приносили в школу. Ива увидел вдруг глазами памяти субботний кавардак: карта меловых разводов на доске ломберного цвета, разбросанные размотанными бинтами полоски бумаги, скучных детей, что разбрелись меж расстроенных рядов парт, и вдруг — катаклизм, атака: сквозняк открыл настежь звенящее окно, ударив его о выступ в стене, промокший октябрьский вихрь ворвался в класс, задорно брызнул на лоб и щёки, все ахнули, заметались и — закрыли окно, принялись намазывать комковатое белое тесто на бумагу, задраивая рамы перед бесконечной северной зимой.

Красноликий вернулся, заключённые снова осмелились попросить кипятка, он удивлённо уставился на них, выдержал паузу, отчеканил сурово: «Да сколько вам? Хватит. Выдавали уже». Впрочем, многие презрительно игнорировали сухпайки и питались привезённым с собой шоколадом, сухофруктами и бананами из передачек, а богачи заказывали обеды из ресторана — приносивший лотки начальник поезда преображался в мажордома, которому к форме не хватало лишь белоснежного полотенца, перекинутого через услужливую руку. В туалет тоже выводили по очереди и когда конвой решит, что заключённым пора «по нужде», так что пить старались не много, да пить было и нечего: холодную воду не отпускали и под роспись, зэки привозили бутылки и наполняли их в уборной.

Ни одно заседание в российских судах не начинается вовремя. Адвокаты и прокуроры иногда специально приходят на час-полтора позже назначенного, чтобы не болтаться без дела в коридоре, но и в таком случае обычно ждут у дверей. Ива провёл бесчисленное количество томительных часов на сборах, из-за темноты праздность здесь казалась даже более тягостной, чем в тюрьме. Он и тут редко вступал в беседы и больше слушал, проникаясь масштабами царившего в стране беззакония. Если раньше он думал, что неправомерные решения принимаются только в отношении «политических», то теперь вся конструкция из Следственного комитета, Прокуратуры, ФСИН, ФСКН, полиции и судов представилась громадной мафиозной корпорацией, нацеленной на выбивание взяток и выработку материала для колоний.

Вот обвиняемый в краже автомобиля: его вместе с другом задержали в его же дворе рядом с якобы угнанной им машиной. Единственным доказательством следствия были отпечатки пальцев на руле, но две дактилоскопические экспертизы показали, что отпечатки не принадлежат обвиняемому. Тогда СК поднапрягся и провёл-таки третью, сделавшую правильный вывод. Следователи сначала предложили закрыть уголовное дело за миллион рублей. Жена мнимого угонщика миллион собрала, но когда принесла, попросили три. Она нашла и три, но когда принесла, потребовали пять. Пяти миллионов не было. При этом жена задружилась со следователем, однажды подвозила её с какой-то пьянки и та обронила в машине Айфон, в котором нашлась переписка с её коллегами и прокурором — и про фальсифи-

кацию экспертизы, и про договорённости с судьёй относительно приговора. Материалы эти суд к делу приобщить отказался, прокуратура на письма супруги не отреагировала.

Вот обвиняемый за кражу 250 велосипедов со сгоревшего склада спортивного магазина. У него есть железное алиби: в момент совершения преступления он находился на Украине, его адвокат съездила в Киев, привезла всевозможные доказательства в том числе загранпаспорт с отметками погранслужбы. Но документы загадочно пропали из сейфа СК, а тот факт, что руководство пострадавшего магазина отказалось от подачи иска, потому что велосипеды не были украдены, но сгорели, суд также не признал достойным внимания — наличие потерпевшего не считалось обязательным.

Не оказалось жертвы и в деле о групповом изнасиловании. То есть она приходила на каждое заседание, но утверждала, что никакого изнасилования не было. Суд же больше верил заявлению ревнивца-соседа, согласно которому над девушкой надругались её друзья. Она так упорствовала в попытках спасти невинных, что на неё саму завели дело за несуществующий ложный донос. Злодей сосед не обладал связями в правоохранительных органах, да и вообще хотел просто припугнуть свою зазнобу, но так уж было устроено: если арестовали кого, то непременно посадят — хотя бы ради статистики.

Так, адвокат обвиняемого в тройном убийстве привёл на суд... указанные в деле трупы: все они оказались живы, но суд не учёл этого обстоятельства, продолжая считать их убитыми — эту историю Иве рассказал

Алихан Семёнович, уточнив, что обвиняемому назначили девять лет строгого режима, а убитых выпустили по домам.

Ива познакомился с застенчивым олигофреном, на которого повесили разбойное нападение. Согласно следствию, он ворвался в квартиру и ограбил целую семью, угрожая им ножом, а трое малолеток с богатыми родителями, что сначала проходили подозреваемыми, вдруг были переквалифицированы на свидетелей, оговорив соседа по подъезду в надежде, что безденежный блаженный не сможет активно защищаться.

Почти все мошенники были обычными предпринимателями — или их бизнес приглянулся влиятельным конкурентам, или следователи превращались в рэкетиров. Случалось, что представители закона забирали чужие компании, оформляя их на родственников, но они обычно быстро банкротились: работа оказывалась сложнее рейдерства. Система крыши часто давала осечки, и даже занеся кому надо, бизнесмены отправлялись на зону: оказавшись за решёткой, избежать приговора было практически невозможно. По словам Алихана Семёновича, многие и по выходу из тюрьмы не ставили под сомнение систему взяток и откатов, просто были уверены, что дали не тому или слишком мало. Эти убеждения подпитывались историями об откупившихся, суммы назывались разные в зависимости от размера бизнеса и стадии, на которой находилось дело, — от пары десятков миллионов рублей до полумиллиарда долларов. Массово сажали мигрантов из Средней Азии, вешая на них скопом по несколько дел. Многие из них не говорили

по-русски и слабо понимали, что происходит в их кафкианских процессах, когда один и тот же человек мог одновременно совершать преступления в разных местах, а единственными свидетелями были сотрудники полиции. Попадались и настоящие воры, убийцы и грабители, они тоже платили, но их удельный вес был подозрительно мал, основная миссия госпредприятия «Закон» состояла вовсе не в борьбе с криминалом.

Попадали в тюрьму и сами следователи, прокуроры и полицейские — обычно по обвинениям в коррупции, но с ними Иве сталкиваться не приходилось, они содержались в отдельных сборках и камерах. Кого-то подсиживали коллеги, кто-то по скупости не делился с начальством, а иногда хотели сместить высокопоставленного чиновника, его самого трогать не хотели, так и сажали для намёка пару-тройку подчинённых, и вот чиновник сам уходил на пенсию. Судьи дословно переписывали обвинительные заключения, соглашаясь даже с самыми бредовыми выводами следствия. Становилось жутко от мысли, что дракон живёт сам по себе и даже если бы высшее руководство страны захотело всё поправить и сделать так, чтобы судьи судили, следователи расследовали, адвокаты защищали, а на зону бы попадали исключительно настоящие преступники, добиться этого было бы невозможно, ведь для расчистки Авгиевых конюшен нужно было бы единовременно уволить всех сотрудников всех министерств и понабрать новых, не поражённых проказой коррупции. Но где же взять такую прорву честных специалистов в стране воров — разве что придумать новую страну...

В тот первый день Ива не вслушивался в чужие разговоры, волновался перед заседанием. Было уже часа четыре вечера, когда конвойный произнёс его фамилию, надел наручники и повёл вверх по лестнице. Снова мимолётный взгляд на жизнь людей, с интересом рассматривавших выходца из потустороннего арестантского мира. На третьем этаже его ждал брат, Ива поздоровался с ним, брат улыбнулся.

Зал суда не отличался от тех помещений, где Иве избирали меру пресечения, хотя казалось, что настоящие процессы должны проходить в более торжественной обстановке. В просторной клетке стояли две лавки из ДСП, в зале — такие же деревянные скамейки, два офисных стола с компьютерами и стопками бумаг, тумбочка с принтером, алоказии и алоэ на подоконнике — обстановка нотариальной конторы или провинциальной туристической фирмы. Деревянная трибуна возвышалась напротив судейского стола и кожаного стула с высокой чёрной спинкой, на трибуне и столах торчали молчаливые микрофоны, из-за стула судьи выглядывал имперский орёл, в углу притулился триколор в человеческий рост, на стене возле окна распластался раздавленным мотылём православный крест. Деревянные панели на стенах, крашенные белые решётки за невымытыми рамами, замызганный линолеум — всё было так невероятно дёшево, что Иве стало противно, будто зашёл в грязный придорожный трактир для дальнобойщиков, да и заметил там на столе таракана. За одним из столов сидела секретарь — высокая блондинка с алыми губами в сизом платье в белую крапинку и мохнатыми сапогами брама. С ней оживлённо болтала прокурор:

лакированные туфли в цвет формы на высоком каблуке и с открытым носком, из которого кокетливо выглядывал аккуратный педикюр, сдобные икры в телесного цвета колготках со стрелой, обтягивающая синяя юбка-бокал и китель, расpiraемый тугой грудью. Ива поначалу удивился, что прокурор ходит в летних туфлях, но потом подумал, что вряд ли она приехала на метро. Прокурор жевала коровью жвачку, широко открывая рот, её стриженные под каре красные волосы подёргивались в такт челюстям, казалось, подойди она поближе, от неё запахнет украинской степью, мазанкой и топлёным на печи молоком. Запыхавшийся Алихан Семёнович зашёл после Ивы, пожал ему руку через решётку, подмигнул, сел за парту спиной к клетке, разложил бумаги. Ни Джастин, ни его родители не появились.

«Просьба встать», — противно пропищала пеструха-секретарь, из комнаты с табличкой «Совещательная» вышла судья, оставив за собой мещанский электрический чайник и казённые красные герберы в пузатой стеклянной вазе. Это была маленькая квадратная женщина возраста Ивиной мамы с полными, немного искусственными губами, вороньими волосами и заплывшими пингвиньими глазками. На чёрной мантии нарядно сверкала белая манишка, дебелые щёки слегка тряслись, когда она, по-утиному переваливаясь, ступала тяжёлыми варикозными ногами по скрипящему, возмнившему себя паркетом линолеуму. Говорила она неприятным высоким голосом, легко выходила из себя, переходя на визг, искромётно язвила, как торговка на одесском привозе, была у неё манера выделять в предложении одно слово,

обычно глагол, чеканя в нём каждую букву. «Если пришли на работу, будьте любезны работать», — закричала она как-то на секретаря, не успев остановиться, когда Иву вводили в зал, и слово «работать» раскатисто зазвенело розгами.

«Прошу садиться», — крикнула она сухо, ей повиливались. Судья утонула в кресле, представилась, назвала гособвинителя, адвоката и секретаря, объявив о начале предварительных слушаний, которые проводились по ходатайству Алихана Семёновича. Всё происходящее было невероятно скучно. Прокурор монотонно мычала, упёршись руками в стол — не поднимая глаз, не вынимая жвачки; судья задавала вопросы с выражением такой вселенской тоски, что казалось, будто она не выспалась и измождена до нельзя, ответов прокурора было не слышать — каждый раз подавая реплику, она отодвигала громылавший под её мощными бёдрами стул. У входа маялся мозглявый мальчишка-конвойный — то потягивался, то прислонялся к стене, то мартышкой вцеплялся обеими руками в Ивину клетку, упираясь лбом в прутья. Секретарь смачно зевала, рисовала что-то, положив подбородок на кулак — Ива так до конца процесса и не понял, были ли у неё иные функции, кроме декоративных. И только Алихан Семёнович вальяжно вставал, говорил раскатисто, будто вёл непринуждённую беседу в светском салоне. Судья объявила процесс закрытым, и продлила Иве арест на три месяца. Адвокат подал ходатайство о возврате дела на следствие, судья раздражённо глянула на него, но сразу отказать не могла и потому назначила дату следующего заседания.

Сегодня на сборке один чеченец рассказывал другому кавказцу, что он даже апелляцию подавать не будет: зачем тянуть, он заплатил, поедет в колонию в родную Чечню, а там выйдет через пару месяцев безо всякого УДО — просто отпустят и всё. У нас даже приговор приговору рознь.

А вообще сегодня было первое заседание по существу. Я долго готовился к встрече с Джастином, репетировал мысленно, как буду вести себя, чтобы смутить его и заставить говорить правду. То решал улыбаться свысока, смотреть на судилище с презрением великого магистра Ордена Тамплиеров, то наоборот думал, что надо вызвать в нём сострадание, ведь в парне нет жестокосердности его папашки. А потом мне стало его жалко. Они ведь запугали его, замучили, заставили подписаться под нелепым вымыслом. Но что такое подпись — росчерк шариковой ручки и можно идти домой к мультикам про японцев. А тут придётся повторить то же, глядя мне в глаза (почему-то мне представлялось, что он непременно должен будет смотреть мне в глаза). Вряд ли он сможет врать напрапалую, а если и сможет, наверняка запутается. Я решил не давить на него и вести себя естественно, как будто ничего и не было, а мы встретились не в этом скотском зале, а случайно на Тверской. Ещё одна мысль крутилась в голове — невозможно утверждать с уверенностью, но я думаю, что к нему тоже приходил Он. Чёрный. Всё ему растолковал.

Всё было как обычно: сборка, автозак, сборка, столько бесполезно потраченного времени. Это только кажется, что годы в тюрьме уходят в песок, в камере можно много чего делать. А вот дни суда безапелляционно вычеркнуты из жизни.

Ввели в зал. Прокурорша в рыжих туфлях — форма у неё одна, а туфли меняются. И непременно к туфлям шарфик в тон, будто по пантону подбирает. Модница. Секретарша тоже рядится, как африканская пейзажка — всё это, я думаю, очень дорого стоит, но выглядит, как цирковой костюм. Всё же секретарь суда — это не должность, а порода, их, наверное, в специальном питомнике разводят и выпускают в жизнь с багажом платьев. Алихан в прекрасном расположении духа и новых ботинках, жал мне руку, подмигивал и улыбался. Больше никого не было. Я всё смотрел на дверь, волновался, мне казалось, что первая секунда нашей встречи, первый взгляд решит всё, я смогу по глазам его прочесть, будет он врать или нет. Даже сидеть было тягостно, я встал и принялся ходить по клетке, конвойный приказал мне сесть. У меня тут меньше прав, чем у волка в зверинце.

А потерпевшие так и не пришли. Не явились, по-судейскому. Назначили заседание на следующую неделю. Всё зря.

Через прутья Ива разглядывал Джастина, который вмёрз в скамью, сцепил руки на коленях, спрятался в капюшоне серого худи, скрывшего лицо, но не удержавшего непослушную чёлку. Справа часовым сидел его отец, нарядившийся в тёмно-синий костюм, слева — ярко накрашенная дама в массивных круглых очках с рыжей копной волос, из-под её длинного вязаного платья цвета прокурорской юбки нескромно выглядывала полупрозрачная белая рубашка и морщинистая шея в пигментных пятнах — как позже объяснил Алихан Семёнович, то был психолог, без которого малолетние в процессах не участвовали.

За окном бесчинствовал март, бил мокрым снегом окна, малевал грязные витражи, месил вилами веток тучи, висел сопливыми сгустками на склизких решётках, бранился с перегорающей лампой дневного света. Деловито вывалилась из своего алтаря судья, все встали и сели. Она нахохлилась, прокрикала начало заседания. «Безымянный, встаньте. Безымянный Иван Захарович, тысяча девятьсот семьдесят восьмого года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, образование высшее, неженат, зарегистрирован по адресу Москва, Иудейская застава, дом 1, квартира 33, ранее не судим. Копию обвинительного заключения вам вручили? Безымянный, вы вправе выступать во время судебных заседаний, заявлять ходатайства и отводы, предъявлять доказательства, обжаловать судебные решения, не свидетельствовать против себя и своих близких согласно статье пятьдесят первой

Конституции Российской Федерации». Судья тараторила, Ива ничего не понял, впрочем, вряд ли что-то из сказанного могло помочь в этом царстве абсолютной судебной власти. «Безымянный, вам понятны ваши права? — Ива кивнул, — Присаживайтесь, Безымянный». Прокурор скороговоркой зачитала обвинительное заключение, но так тихо и с вечной жвачкой во рту, что слов было не разобрать. Закончила.

— Безымянный, встаньте, — снова сказала судья. — Вам понятно обвинение?

— Да.

— Признаёте вину?

— Нет.

— Желаете ли вы или защитник высказать мнение к обвинению или сделаете это в ходе допроса?

— В ходе допроса.

— Показания желаете давать после стороны обвинения?

— Да.

— Тёмен был птичий язык судьи, отвечая, Ива поглядывал на адвоката. Ему не терпелось услышать Джастина, мелькнула даже шальная мысль, что его могут теперь же отпустить домой, ведь если скажет, что преступления не было, к чему продолжать? Он вообразил, как разомнёт руки, крепко обнимет Алихана Семёновича, тот предложит подвезти его, а дома, наверное, бедлам после обыска — тут он вспомнил про наркотики и понял, что замечтался. «Потерпевший Новожилов Максим Михайлович, встаньте, пожалуйста, пройдите на трибуну — продребезжала судья, Джастин сгорбившись подошёл к кафедре, опёрся на неё локтями, склонил голову, будто в молитве на

амвоне. — Подсудимый вам знаком, неприязни не испытываете, оснований для оговора не имеете?»  
Прокурор привстала со скрипом, глянула на судью и тут же села обратно: «Что вам известно по существу данного уголовного дела?» — жеманно спросила тоном продавщицы молочного отдела. Джастин не понял её, тупо посмотрел, она чавкнула и продолжила:

— Как вы стали потерпевшим? Где и при каких обстоятельствах познакомились с подсудимым?

— В Питере. Но подождите, я не признаю, я не потерпевший. Всё на самом деле не так. Понимаете...

— Новожилов, отвечайте на вопросы, заявления на потом оставьте, — перебила его судья, за окном завывали и плюнули свинцом в стекло — Когда, какого числа вы познакомились?

— Не помню... Осенью. В октябре, — стушевался Джастин.

— В октябре тридцать дней. Точнее говорите.

— Не помню...

— В начале, в конце, когда?

— В середине, наверное.

— При каких обстоятельствах?

— На улице.

— В какое время?

— Не помню... Ночью.

— Так. И как это произошло? Подсудимый сам с вами заговорил?

— Да.

— И что потом?

— Пригласил в гости.

— И вы согласились?

— Мм.

— Капюшон снимите и говорите громче, не слышно ничего, — Джастин повинился, удивительна была его бледная худоба — будто это он несколько месяцев просидел затворником без солнечного света, воздуха и нормального питания.

Джастин сбивчиво и лишь с небольшими отклонениями от истины рассказал о знакомстве с Ивой и поездке в Москву, но на вопросы отвечал неохотно, всё порывался выступить с признанием, но его прерывали, допрос тянулся бесконечно долго и никак не подходил к преступной составляющей, судья кружила, утомляя подростка ненужными деталями, заставляя его противоречить самому себе, ловя на ошибках. Он конфузился: то уверял, что приехал из Петербурга на электричках, то на скором поезде; не мог вспомнить, сколько времени провёл в Москве, прежде чем его забрала мама, рассказал, что пожил какое-то время с матерью и без Ивы в его квартире, а потом вдруг сказал, что купчиха сразу увезла его домой. Станным образом казалось, что Джастин никому не интересен, что вина его давно доказана: судья вела допрос на автомате и смотрела вверх, не слушая ответов, прокурор копалась в Айпаде и зевала, только адвокат что-то увлечённо записывал. Но вот наконец морок скуки прорвался и Джастин впервые сфальшивил, отступив от заготовленного текста.

— Когда и при каких обстоятельствах обвиняемый совершил против вас насильственные сексуальные действия?

— Он... не совершал, — почти прошептал Джастин, как ребёнок, которого вот-вот накажут за чужую проделку.

— Громче говорите!

— Не совершал.

— То есть как? — судья строго глянула, будто собиралась отчитать Джастина за то, что зря отнимает её время, прокурор оторвалась от планшета, подполковник апоплексически покраснел и топнул ногой, психолог засуетилась, подскочила к Джастину, заволхвовала.

— Отойдите от потерпевшего, — гаркнула судья. — Новожилов, вам нужна психологическая помощь? — Джастин мотнул чёлкой. — Новожилов, подите сюда. Вот тут на показаниях стоит ваша подпись? — Джастин доковылял до судейского стола, с трудом передвигая будто закованные в кандалы ноги, подтвердил, что подпись его, вернулся к трибуне. — Значит, вот тут вы подписались под показаниями, согласно которым Безымянный многократно совершал против вас насильственные действия сексуального характера. Вы понимаете, что это *значит?* — судья разозлилась, выделила последнее слово, наделив его особым оккультным смыслом.

— Мм, — утвердительно хмыкнул Джастин.

— Отчётливее говорите, что вы опять *мычите?* Вы знаете, что такое сексуальные действия?

— Да.

— Безымянный дотрагивался до вас?

— Мм, нет.

— Что, вообще ни разу не притронулся?

— Нет. Ну то есть, да. Мы здоровались за руку.

— Так, значит всё же был физический контакт. Может, он целовал вас?

— Нет.

— Просил раздеться?

— Нет.

- Вы видели Безымянного голым?
- Мм. Нет. Не совсем.
- Что значит не совсем? Не совсем голым? В трусах?
- Мм. Да.
- При каких обстоятельствах?
- Ну когда жил у него.
- И что, он просто ходил перед вами голым?
- Ну нет, не просто...
- А что делал?
- Да ничего.
- Ходил перед вами голым и ничего не делал?
- Нет.
- А вас он просил раздеваться?
- Нет.
- Но вы раздевались перед ним?
- Ну... Да... Когда в душ ходил, наверное, — сознался Джастин.
- А что, в душе нельзя было раздеться?
- Можно.
- Тогда почему раздевались перед Безымянным?
- Я не раздевался.
- Только что сказали, что раздевались.
- Я не помню, — простонал подросток и задёргал головой, грозившей слететь с его жирафьей шеи.
- Так. Ясно. А что же вы помните? Безымянный бил вас, применял физическое насилие?
- Нет.
- Кричал на вас?
- Нет.
- Безымянный иногда, в качестве шутки или, может, наказания, притрагивался к вашим гениталиям?
- Нет.

- Вы знаете, что такое гениталии?
- Да.
- Что же?
- Половой член, — ответил, помедлив, и покраснел.
- А к ягодицам притрагивался?
- Да нет же!
- Вам известна сексуальная ориентация Безымянного?
- Да.
- Откуда? Он вам рассказал?
- Нет. То есть, да. Потом.
- Потом когда?
- Ну. Не помню.
- То есть сначала Безымянный скрывал от вас свою сексуальную ориентацию?
- Нет. Просто не говорил.
- Просто не говорил. Понятно.
- А он предлагал попробовать, убеждал вас, что гомосексуальная ориентация — это нормально?
- А что тут ненормального?
- Новожилов, отвечайте на вопросы! Что Безымянный говорил вам о гомосексуальной ориентации?
- Не помню. Ничего особенного. Мы не об этом говорили.
- О чём же?
- Не помню.
- Он предлагал вам попробовать сексуальные отношения с лицами мужского пола?
- Нет.
- А вот в переписке вашей в приложении Вотсап совсем другое почему-то, — злорадно отметила судья. — Новожилов, вы будете правду говорить или

продолжите придумывать чёрти что? Вы с нами тут *играть* что ли задумали? Вы попутали что-то, Новожилов, тут не школа, а я вам не аниматор! Гособвинитель вообще-то ничего не хочет спросить?

— Ваша честь, ввиду наличия существенных расхождений, я предлагаю огласить показания потерпевшего, данные на следствии.

— Безымянный, у вас есть вопросы? У защиты вопросы будут?

Алихан Семёнович выпросил всю историю с самого начала, делая упор на то, что Джастин сам ушёл из дому после ссоры. Чувствуя поддержку, подросток успокоился, заговорил разборчиво, но судья то и дело бесцеремонно обрывала адвоката, будто он отвечал ей экзаменационный билет, да немилосердно заврался.

— Я вот для себя хочу уточнить: значит, вы говорите, что в ту ночь поругались с родителями? — спрашивал Алихан Семёнович, сама галантность.

— Вопрос снимается, поскольку противоречит действующему уголовно-процессуальному кодексу и не имеет отношения к делу. Ещё вопросы есть?

— Да, ваша честь. Ещё вот мне интересно подробнее узнать о том, как потерпевший уехал в Москву...

— Вопрос снимается, потерпевший уже рассказал об этом в ходе данного судебного заседания. Ещё есть вопросы у вас?

— Да, ваша честь. Скажите, Максим Михайлович, всё-таки как, каким образом Безымянный принуждал вас к сексуальной связи?

— Ваша честь, я протестую, — скрипнула прокурор. — Защитник оказывает давление на потерпевшего.

— Защитник, задавайте вопросы по существу.

— Ваша честь, мне кажется, я как раз по существу и задаю. Если я ошибаюсь, расскажите мне, где, по вашему мнению, существо, — скаламбурил Алихан Семёнович и продолжил. — Максим Михайлович, может быть, ваши показания на следствии были даны под давлением?

— Ваша честь, я протестую, — снова вскочила прокурор.

— Да против чего же вы протестуете, уважаемый гособвинитель, хотя бы аргументируйте свой протест! — удивился Алихан Семёнович, судья перебила его:

— Так, мы что тут заседание в *дискуссию* превратим? Тишина в зале! Протест принимается. Защитник, ещё раз прошу — задавайте вопросы по существу уголовного дела.

— Ваша честь, если показания потерпевшего были даны под давлением...

— Суд не считает, что показания были даны под давлением. У вас есть ещё вопросы?

— Да, ваша честь. Скажите, Максим Михайлович, признаёте ли вы, что между вами и обвиняемым не было никакой сексуальной связи — ни насильственной, ни по обоюдному согласию? — Джастин снова пробурчал что-то невнятное, судья одёрнула его, он, не отрываясь от кафедры, чётко произнёс твёрдое «нет», в первый раз прямо посмотрел на Иву и чуть улыбнулся уголками губ. — У меня нет больше вопросов.

— Гособвинитель, у вас есть вопросы к подсудимому, брр, потерпевшему, — поправилась судья.

— Новожилов, я правильно понимаю, что вы отказываетесь от показаний? — спросила прокурор.

— Нет. То есть, да. Я не...

— Вы что, ввали следователю?

— Нет. Я...

— Расскажите тогда, где конкретно вы соврали на следствии и почему? Вам известно про ответственность за ложный донос?

— Ваша честь, я протестую против давления на потерпевшего со стороны гособвинения, — вскочил адвокат.

— Отклоняется. Никто ни на кого не давит.

— Но, ваша честь, потерпевший не подлежит уголовной ответственности в том числе и по триста шестой статье.

— Я услышала вас, защитник, присаживайтесь, пожалуйста. Новожилов, отвечайте на вопрос, — Джастин надулся, покраснел, снова задёргал головой и, кажется, готов был расплакаться. — Может, вы хотите, чтобы мы вам напомнили, что вы говорили?

— Нет.

— Тогда что? Вы думаете вы тут в ясли что ли *пришли*? Отвечайте чётко на вопросы государственного обвинителя и не вихляйте.

— Я не знаю. Я не врал, это всё они, ничего не было, никакого насилия, но я не врал, я вообще ничего не говорил, это всё они, — выпалил Джастин и повернулся к отцу. — Ненавижу вас всех, — прокричал и разревелся, как ударившийся о косяк ребёнок, разозлился на себя за эту слабость и от того разошёлся ещё больше.

Психолог подскочила к Джастину, заокотала, погладила его по голове, он дёрнулся, скинул её руку.

— Мы заседание можем продолжать? — истерично выкрикнула судья.

— Ваша честь, я думаю, что психологическое состояние Максима этого не позволяет — ответила рыжая.

Брата моего закрыли — заколебал он своими демонстрациями. Завели уголовное дело о мошенничестве, как и обещал следователь. Алихан взялся помогать и ему, говорит, большие шансы, что отпустят, как только отправят на зону меня.

Сегодня вместо пигалицы из модного магазина секретарём был Бекхан — чернявый спортивный красавец. Он тоже всё заседание рисовал — мне кажется, их тут не с Юрфака набирают, а из Строгановки. А меня охранял качок дружинник — красная повязка на огромном бицепсе, раскоченные сиськи под трикотажным свитером и бездонно-тупые глаза, в которые хотелось смотреть вечно.

Алихан ползаседания заявлял ходатайства, утка методично отклоняла их при помощи прокурорши. Непонятно, зачем России институт суда, если судьи выполняют работу никчемных клерков, перечитывая обвинительные заключения и проводя заседания лишь для вида. Говорят, что в течение первого «испытательного» года у судьи не должно быть ни одного оправдательного приговора, иначе не утвердят. Они могут, конечно, отправлять дела на доследование, но и это не приветствуется — балом правят прокуроры. А ведь это такая невероятная трата времени и государственных денег... Если бы людей сажали безо всяких процессов, результат остался бы тем же, только не было бы так мучительно долго. Мне кажется, даже сталинские тройки были в каком то смысле честней: никакой бюрократии, штампанули приговор — и в подвал.

Давно не писал — не было ни сил, ни желания. Процесс выматывает. За последние две недели трижды вывозили на суд, каждый раз я куковал по полдня на сборке, а заседания переносились из-за неявки обвиняемого — то бишь Джастина. Я был уверен, что он снова сбежал из дому и вот подтверждение — не просто сбежал, а принял участие в демонстрации в мою защиту (вместо брата мне теперь пишут правозащитники). Где это видано, чтобы жертва преступления на баррикадах доказывала лживость обвинений, потому что суд не хочет её слушать? Это даже не Кафка, это Льюис Кэрол.

Наконец, они привели его под конвоем папаши (силой что ли доставили?). Психологиня семенила в длиннющей узкой юбке с разрезом до колена, девочки у нас такие носили в 11 классе. Кажется, она кадрит подполковника. Вот будет хохма — мачеха для блудного ангела.

Прокурор предложила зачитать показания, данные Джестином на следствии, Алихан возражал, я тоже, даже Джастин был против, но судья согласилась с прокурором и пробубнила шнягу, что написал следак, с эротическими подробностями и описанием каждого удара и каждого полового акта. Джастин сидел напряжённый, красный — кажется, ему этот текст был знаком и было стыдно выслушивать его. По регламенту он должен был согласиться с ним, тогда всё, что он говорил в прошлый раз, признали бы несущественным, несмотря на то, что по закону предпочтение отдаётся показаниям на суде. Тут случился настоящий Вавилон. Солнце померкло, земля потряслась, камни расселись, зажатый тремя эриниями Джастин зака-

тил истерику, рыжая пыталась его уговорить, судья верещала, чтобы оставили его в покое, адвокат протестовал, охуевший конвойный и приставы пялились на сцену в замешательстве, мне же стало жутковато, будто происходит важное, нужно что-то делать, а меня пригвоздили к лавке и я двинуться не могу. И тут посреди этого светопреставления поднялся тихо сидевший до того папаша, заревел медведем-шатуном, да и шмякнулся с грохотом на пол. Все одновременно замолкли в гоголевской немой сцене, вызвали скорую, закрыли заседание, быстро увели меня на сборку.

Не знаю, правда ли был приступ или прикинулся, но только его быстро вылечили и даже в больницу забирать не стали, а судье показалось, что потерпевший согласился с показаниями, данными на следствии.

Иуда устал. Он один нёс бремя чудес. Это он договорился с виночерпием в Кане, чтобы разбавил полупустые кувшины водой, все были пьяны и не заметили подлога, но раструбили о превращении по всей Галилее. Это он подкупил Лазаря, чтобы сказался мёртвым. Это он подбросил на берег в Кафарнауме рыбу с серебряным статиром во рту, а ленивый Кифа вместо того, чтобы забросить уду, как указал ему Назарянин, обрадовался и побежал, заголосил о новом чуде. Эх, дурачок Кифа! Вот была бы потеха, если бы утонул тогда в Галилейском море, вернул бы рыбам тот статир. Кесарю кесарево, рыбам рыбье.

Люди хотели верить, и Иуда помогал им в этом. Иногда выходило топорно, как с той вдовой в Наине: сын её еле сдерживал смех в гробу, забавлялся, что несут его, живого, а мать убивается на всю округу. Но никто ведь не заметил, не хотели замечать, искали воскресения и обрели его. Сделай нам бога, который бы шёл перед нами — а вот он вам, возьмите постели свои и идите! А с какой серьёзностью всегда исполнял свою роль Назарянин! «Юноша! Тебе говорю, встань!» — Иуду воротило от этой напускной величавости, сам-то он должен был понимать, не был глупцом, как орава его учеников. Иуда ловил его взгляд, пытаясь прочесть, что он думает об этом театре, доволен ли актёрами и масками, угадывает ли умелую руку, ловко направляющую публику так, чтобы плясала под звуки свирели и плакала под плачевные песни, славословила же всюду нового проро-

ка. Но душа Назарянина была заперта, ни разу за всё время скитаний он не заговорил с Иудой, не посмотрел на него. С Фомой он шептался, отходя в сторону, после чего тот ходил гусем, а когда приставали к нему с расспросами, напускал важности и нёс какую-то околесицу; Кифу хоть и унижал за нескладность, но иногда на весь день отлучался с ним да с братьями Зеведеевыми бродить по холмам, пока остальные ждали в унынии, особенно же Андрей Ионин. Пустой красавчик Иоанн вовсе был уверен, что будет сидеть от него ошую в царствии небесном. Даже презренному Левию мытарю перепадала ласка его, и он ходил счастливый, будто первая из жён одарила его взглядом. Что уж говорить про рыжую Марию, что не отлучается от него ни на минуту, стелит постель ему, готовит пищу ему, омывает ноги его и тем живёт. Только Иуде нет места в этом сонме, лишь Иуду не замечает Назарянин, будто и нет никакого Иуды, будто одиннадцать учеников у него.

А он ли не любит его больше остальных? Не для него ли Назарянин стал воздухом его, хлебом его, солью его? Как и требовал того Учитель, Иуда возненавидел отца своего и мать, и жену и детей, и братьев и сестёр, и саму жизнь свою, чтобы следовать за ним. Другие любят свою любовь к нему, дивятся чудесам, млеют от заумных притч, бредят раем. Они словно пришли на базар: вот тебе наша жизнь, спаси души наши, ибо боимся скрежета зубовного и огня неугасимого. Они ждут, когда отворятся для них врата в сказочное царство, где растут виноградные деревья по 10 тысяч лоз, и на каждой лозе по 10 тысяч веток, и на каждой ветке по 10 тысяч ягод, а как захотят они

сорвать лозу, другая приклонится и станет умолять сорвать её, потому что она лучшая; и у пшеницы там по 10 тысяч зёрен в колосе, и все животные послушны людям, и нет смерти, ни болезней, ни старости. Но вот не будь Назарянина, что тогда? Подались бы к ессеям или прилепились к банде Иоанна, или нашли себе другого пророка — им не важно, кто обещает спасение. И лишь Иуда знает правду. Нет никакого царствия с умоляющими виноградными лозами, нет никакого сына божьего, только у язычников боги рожали детей, но и римляне не верят в них более. Лишь Иуда знает Назарянина, как свою ладонь, и потому любит его беззаветно, бессмысленно, бескорыстно. Готов, как пёс, лизать ступни его в ожидании нежного взгляда, готов душу отдать за лобызание его девичьих уст.

А что как сбежать? Оставить их в Иерусалиме на праздник опресноков и пусть попробует исцелять прокажённых да изгонять бесов без Иуды. Не исцелится ни один калека и не воскреснет ни один умерший, но побьют их камнями как шарлатанов и знахарей, на том и будет конец его проповеди. Ученики разбегутся от него, как он сам и предрекал, блудница одна останется, куда она без своего господина, но слушать его не будет никто. Иоанну Антипа голову отрубил, и потому до сих пор жива слава о нём, а сколько ходило по Иудее пророков, чьё имя забыто. Но что же тогда делать Иуде? Кто примет его в галилейской пустыне, на что жить ему, если Его не будет рядом?

Затая с Иерусалимом никогда не нравилась Иуде. Он надеялся, что эти слова вырвались в сердцах после скандала в Назарете, но Главный говорил об этом постоянно, будто забыл об опасности, при каждой встре-

че лаял на фарисеев, обзывал лицемерами и лжецами. Те обычно в спор не вступали, поспешно удаляясь. Они бы давно схватили его, но хватало им одного обезглавленного пророка, волновавшего Иудею, к тому же за тринадцатью ходили толпы народа, с ними было не совладать. Но Иерусалим! Логово Каиафы, дружного с Иродом и с римскими властями. Иудея, где Назарянина не знают и не станут защищать. Праздник опресноков, куда сходились паломники со всех земель, так что в суматохе можно было казнить или просто зарезать кого угодно! Иуда представлял, как бросят его в сырой каменный мешок, как будет сидеть в ожидании смерти. Палачи там ведь, наверное, немелые, с одного маха, пожалуй, и не отрубят.

Явление великому граду надо было подготовить. Иуда знал, что народ любит знамения, но ещё пуще любит сбывающиеся предсказания пророков, ибо если одно писанное правда, значит вся книга истинна. Назарянин тоже знал древние тексты, ему следовало вступить в столицу Давида не обычным проповедником, но сыном его, спасителем, мессией. Все прошлые чудеса и исцеления были предтечей главного представления. Если он хочет триумфа, он получит его — как царь он въедет в город, как покоритель земли, как ловец душ человеческих.

Иерусалим всегда приводил Иуду в трепет. Священный город, отстроенный великим Иродом, отцом сегодняшнего Ирода и брата его Филиппа, никчемных пьяниц и распутников, языческих подстилок. Непрístupные каменные стены его нагоняли страх, улицы пестрели торговцами, проходимцами, пророками, разбойниками, блудницами, блаженными,

римскими солдатами в коротких туниках с мощными натренированными ногами, пузатыми фарисеями в богатых одеждах с амулетами, надменными смуглыми египтянами в сопровождении рабов-нубийцев. Стада коз шли за крестьянами, дым валил из кузниц и пекарен, широкие улицы, забранные в тиски высоких каменных домов, кричали, ругались, хохотали, блеяли, мычали, горланили по-арамейски, по-римски, по-персидски, по-гречески. Ноги утопали в грязи и навозе, пахло лепёшками, курами, потом, жизнью. И надо всем этим возвышался он — Храм Господень, недосягаемая снежная вершина посреди серой мирской суеты, халколиваном сверкающая на белёсом полуденном небе, затмевающая своим светом само солнце, огромная, как мир, непостижимая, как бог. Его было видно из каждого закоулка, с каждой площади, из палатки каждого торговца. Широкие белые ступени вели к высоким золотым вратам и уже у порога лестницы всякий чувствовал себя незаметным муравьём, решившим вскарабкаться на слоновью ногу. Иуда немного завидовал местным жителям, что спокойно восходили по этим ступеням для ежедневной молитвы, не испытывая священного трепета. И Назарянин должен был вступить в это святая святых победителем, воссесть здесь царём и первосвященником. И он, Иуда, должен был помочь ему.

Иуда вспомнил старинное предсказание Захарии, договорился с бедной семьёй у городских ворот, чтобы оставили ослицу и ослёнка, сына подъярёмной. Остальное было просто. Многие Иудины калеки съехались на праздник в Иерусалим: ждали щедрых подарений от Ирода и жестокого римского префекта. Сле-

довавшие за Назарянином тоже разбрелись по городу, Иуда узнавал их, кивал головой, заговаривал. «Грядёт писанное пророками, — шептал он в уши загадочно. — Сын Давидов въедет в Иерусалим. Не отвращайте души своей, и спасётесь. Не умаляйте величия его, и придет царствие небесное». И растекались лавой перегляды, недомолвки, намёки, и волновались груди, и удивлялись глаза, и вздымались руки, и шла молва по улицам иерусалимским: пришло время мессии, Илия спустился с небес, Иоанн Учитель возродился в сыне божием из Назарета, он у порога уже, недолго осталось ждать. Иуда купил хлеба, и вина, и дорогого мира, Иуда купил парчи, и вышитых золотом кистей, и амулетов. Более пятисот денариев потратил Иуда, но он не жалел денег: мессия должен войти красиво, будоражить мечту, не каждый день сбываются древние пророчества. Великий трагик Иуда был готов к главному своему действию. Назарянин хотел покорить народ Израиля? Он будет у его ног.

Иву привели в адвокатский кабинет, где его ждал стриженный под машинку серый мужчина в дешёвом полосатом костюме. Внешний вид его рассорился с повадками: выглядел он, как рецидивист в чужих шмотках, а говорил грамотно, обходительно. Иву не покидало ощущение диссонанса, какого-то подвоха. Серый не представился и сразу перешёл к делу.

— Иван Захарович, есть к вам предложение.

— А можно узнать...

— Ничего не надо узнавать, можно я скажу, а вы ответите. Это не допрос и не официальная встреча, просто разговор.

— Окей.

— Дело ваше, как вы видите, разворачивается не очень благоприятно для вас, но не все у нас в стране кровожадны, есть и те, кто заботится о нашем добром имени. Мы всё же не в Пхеньяне, а наш президент не живоглот, хотя и вынужден следовать воле народа. Информация о вас дошла до самого верха. Отпустить мы вас не можем, признать невиновным тоже — представляете, сколько голов полетит, если придётся объявить, что весь процесс — ошибка? Но мы готовы предложить вам сделку. Вы сознаётесь в сексуальной связи с Новожиловым — без насилия и прочего ада, суд признаёт вас виновным по 134-й, одновременно разворачивается настоящая кампания в вашу защиту, а не детские потуги вашего брата. И вот — под давлением общественности и даже религиозных организаций вас милует президент. Специальным указом.

Это нам теперь очень важно и в свете международной обстановки — надо мириться с западными партнёрами, а повода нет. Как-то так.

— Хм. А почему я должен вам верить?

— Абсолютно не должны. Но мы вам докажем искренность наших намерений. Если вы даёте предварительное согласие, через неделю патриарх выступит с осуждением смертной казни. Ваше имя упомянуто не будет, конечно, но тем не менее. Ну что, по рукам?

Ива очумело посмотрел на Серого. Помочь им с показательным процессом? Сознаться в несовершенном преступлении, предав брата, всех, кто поддерживал его, дать последний решающий козырь его ненавистникам, позволить силам тьмы и в этот раз одержать победу? Жить в оправданиях, с несходящим с лица румянцем стыда и, самое главное, свести на нет ту волну, которая поднялась вокруг него, пойти против природы, утихомирив шторм, позволив противникам его говорить, отмахиваясь: «Эх, все эти гомики одинаковы. Ссыкуны».

— Хм. Не знаю, как зовут вас...

— Это неважно.

— Спасибо вам. Но... Я не могу сознаваться. Я же невиновен. Это всем известно, хотя дело и принимает неблагоприятный оборот, как вы говорите. Но если не засудят меня, засудят кого-то вместо меня, а я не хочу. Понимаете... Пчёлы жужжат, Молох требует жертв, факелы приближаются, вечера окончена, за любое удовольствие приходится платить болью, — мужчина в костюме опасно посмотрел на Иву, но прерывать не стал. — У меня было много удовольствий, поверьте, моя жизнь была — сплошной

кайф, даже познакомиться с моими сокамерниками — приятно. Знаете, когда я был маленьким, я боялся сугробов. Белые, могильные, они нагоняли ужас, я плакал, упирался, не хотел идти. А моя покойная бабушка приучала меня к снегу — тащила в самую целину, несмотря на вопли и слёзы. Главное идти, твердила она — не останавливаться, не оборачиваться, шагать — сквозь пургу, сквозь метель, прикрыв глаза, надвинув шапку на лоб, натянув варежки под рукава, но двигаться, не сдаваться. Настырность побеждает страх. И я шёл, видите ли, шёл и боялся всё меньше, пока прогулки по снегу не стали... забавными. Но, увы, я не превратился в смельчака, я боюсь стольких вещей, если перечислять их, не хватит и папок моего уголовного дела, я всё оставлял эти сугробы страха на потом, думал: вот с текучкой разберусь и пойду, но наваливалось новое, а страхи не отставали, жили со мной, стесняли меня, не позволяли расти — так чахнет в закрытом шкафу лишённый солнечного света цветок. И я понял: так живут все. Понимаете, все. Вы, зэки, мой брат, судья — все. Все боятся, и нет у них бабушки, которая показала бы пример. Кто-то вызывается храбрый, делает лихой шаг, но другие удерживают его за полы, шепчут: погоди, там опасно, глубоко, мы не знаем, что ждёт тебя — спасение или гибель вечная. И он смущённо отступает, не двигается с места, начинает бояться, как остальные. А у меня появился шанс. Один раз в две тысячи лет выпадает возможность доказать всем, что сугробы не страшны, надо дерзать и упорствовать и так обрести свободу. Не могу я солгать. Бабушка бы моя не одобрила, а она великой женщиной была — дворянка,

интеллигентка, вышла замуж за неуча крестьянина и разругалась из-за мезальянса со своими надменными родственниками. Те обвиняли её во всех грехах — мол она чуть не наволочки у них из шкафов воровала. А она просто была смелой. Смелой и невинной. Не могу я бежать. Да и не верю, что приговорят меня к вышке, а в тюрьме уж посижу.

Ива выдохся, в горле запершило, полосатый костюм глядел обескураженно:

— Иван Захарович, вы, кажется, не совсем в себе. Я понимаю. Это бывает. Я приду ещё через неделю на случай, если передумаете.

— Нет-нет, спасибо. Не стоит. Я не передумаю.

— Это крайне глупо с вашей стороны. Очень, очень глупо.

Ива развёл руками и дурашливо улыбнулся. Больше ему было сказать нечего.

Судебная рутина. Людям страшно жить, и каждый шаг они погружают в тёплое тесто обрядов — тогда и малые, и великие дела становятся несущественными, смысл утрачивается. Вот надо человека похоронить или отправить за решётку, не важно, на семь лет или на тридцать. Тюрьма, как смерть — для обывателя она располагается по ту сторону Стикса, из неё гипотетически можно вернуться, но он не знаком ни с одним Орфеем, который побывал там. Каждый судья — это хмурый Харон, он отталкивается посохом от крутого берега, превращая подсудимых в осуждённых. Тюрьма, как смерть — это горе, близкие могут никогда больше не свидеться, муж оставляет семью, мать разлучают с детьми, молодёжь поступает в лагерные университеты, уцелевшим нужно перекраивать жизнь. Тюрьма, как смерть — она внезапна: ты собираешься в отпуск и выбираешь между Хорватией и Грецией, ты обещаешь себе непременно перекрыть крышу на даче, хотя нет, лучше через пару лет, ведь в этом году у старшего выпускной класс и понадобятся деньги на репетиторов, а ещё ты планируешь сесть на диету, начать утренние пробежки, перечитать «Войну и мир», завести кота, сходить в церковь и съездить в Бергхайн. И тут всё скоростно обрывается, ты переходишь в другое состояние — виной тому обширный инфаркт, автокатастрофа или арест по сфабрикованному уголовному делу. Но величие акта теряется за бюрократией. Определиться с бальзамированием, организовать поминки, позвонить

в крематорий, заплатить за отпевание, не заснуть под пономарское гундение прокурора, втуне не признавать вину, пропускать мимо ушей бессмысленные высокопарные слова, увязнуть в трясине допросов, ремарок, выступлений экспертов, хамства судей, «да, ваша честь, нет, ваша честь, поддерживаю ходатайство защитника, присоединяюсь к протесту». Драма ржавеет от скуки.

По правилам закрытого процесса свидетели не могут входить в зал до того, как их пригласят, так они по очереди представляли пред мои очи — вереница душ на суде Осириса, в ужасе падающих ниц перед киноцефалом святым Анубисом-Христофором, с содроганием следящих за колебаниями весов с пером суровой Аммаат. Допросы длятся долго, люди в коридоре отлучаются покурить или в туалет, если секретарь выходит за ними и возвращается одна, судья визжит: «Так, ну мы что, *бегать* за ними должны? Если явились в суд, извольте *дождаться!*» Секретарь злорадно улыбается, вчера она была в красном коктейльном платье.

Оказалось, что в моём подъезде живёт сумасшедшая старуха Инга Леопольдовна Вахрейтлиген (кочья фиолетовых непричёсанных волос, каракулевая шуба, седые валенки без калош). Она рассказала «уважаемому суду», что стоило мне въехать, ей показалось подозрительным моё поведение и неиссякаемый поток молодых людей, что приходили ко мне, оставаясь на ночь. Она сразу стала подозревать, что я «из этих, ну вы понимаете... мужеложцев». Уверенная, что содомия рано или поздно вернётся в уголовный кодекс, она решила вести учёт моих посетителей,

почему-то не показала его на следствии, а в суд принесла: разбитый в мелкую крошку калиграфический оползень остановила красная заграда учительских полей. Внешние приметы гостей, дата визита и кто сколько времени провёл в моём вертепе. Наблюдала за мной Инга Леопольдовна круглые сутки, у неё больные ноги, нарушение сна и она почти не выходит из дому. Суд эти тетради приобщить к делу отказался, но Инга Леопольдовна подробно описала ужасающие вопли, доносившиеся из моей квартиры, когда у меня проживал Джастин. Она даже несколько раз порывалась позвонить в полицию, но не решалась — боялась, что сама станет моей жертвой. «Это, конечно, не моё дело, ваша честь, но мне кажется, этого изверга надо непременно изолировать от общества. Он крайне опасен», — заключила она, на что судья удовлетворённо закивала клювом: «Мы вас услышали».

Родители Джастина рассказали, в каком жутком состоянии они забрали от меня ребёнка. «Его трясло, он плакал, не спал ночами и первое время боялся говорить о том, что с ним произошло». Мама рыдала, подполковник раболепствовал перед судьёй и набросился на Алихана: только он заикнулся про конфликт отцов и детей, как прозвучало металлическое «вопрос снимается», а папаша повернулся к нему укоризненно: «Судья — сразу видно, что профессионал и не зря занимает своё место. А вам должно быть стыдно: защищаете извращенца и ещё лезете с вопросами!» Алихан, впрочем, привык к тумакам — такая работа.

А вот и Заяц. Надел лучшую свою и единственную фланелевую рубашку в клетку, отутюжил джинсы, волновался, с первой до последней секунды щёки его

пылали, как отстёганные ремнём ягодицы, он боялся посмотреть на меня, а зря — я бы подбодрил его, он всё делал правильно. Судья получала садистское удовольствие от копания в чужой постели, выуживала, вынюхивала, где тут упали неразрешённые моралью капельки спермы. Всякий человек классифицирует информацию о себе по разным уровням секретности — от того, чем можно похвастаться попутчику в электричке, до стыдных желаний, запрятанных на тёмных антресолях под стопками прелого белья. Ты рождаешься геем, но сначала пытаешься быть гетеросексуалом. Ухлёстываешь для виду за девочками, выдумываешь небылицы для одноклассников, а сам дрочишь по утрам на маминого любовника, надеясь, что это ненадолго и пройдёт. Но оно не проходит, не уходит, тебе приходится принять себя, смириться с тем, что жизнь придётся прожить с такими вот исходными данными. Ты по-прежнему стесняешься этого, молчишь, сделав исключение лишь для дуры-подруги, тебе кажется, что твоя ориентация — это святая святых, запретный город, алтарь, куда не может войти простой смертный, не осквернив его. Ты ошибаешься. Ты свыкаешься понемногу со своей сексуальностью, спишь с парнями, ходишь в клуб, видишь много разных геев, тебе отрадно осознавать, что ты не один, что даже если большинство и считает вас извращенцами, всё же община достаточно велика, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но есть ещё и другое, глубокое, тайное. Ты знал о нём с самого начала, но не решался не то чтобы назвать вещи своими именами, имена-то известны, а произнести их даже и про себя. Вначале было вовсе не слово, но

образ, мечта, мастурбационные духи, что окутывали тебя, туманили глаза, отключали речь, открывали на секунду клапан, который извергался потоком бессвязных повторяющихся диафильмов. Ты молчишь, но она живёт в тебе — страсть к боли, к порке, желание подчиниться насилию, распластаться под весом чужих мышц, отдаться со связанными руками, унизиться до струи солёной мочи, бьющей в глаза. Ты вспоминаешь, как лет в восемь поехал на велике в парк, где пили пиво 14-летние пацаны, ты знал, что это опасно, ты провоцировал их выглаженной футболкой, аккуратным пробором, испуганными глазами. Они докапываются до тебя, толкают в грудь, обзывают, дышат в лицо табачным перегаром, а у тебя сердце замирает от удовольствия и страха, тебя злит, что они бьют недостаточно сильно, жалеют тебя. Они отбирают у тебя велик, бросают тебя на землю, пинают ногами, волокут в заросли ивняка над грязным ручьём и привязывают к сучковатому стволу, измазав в иле. И ты стоишь святым Себастьяном в деревянном полумраке, смотришь на распластанную мёртвую лягушку в кокошнике жемчужной икры, не зная, как поступить со своим маленьким эрегированным членом. Ты отвязываешься, крадёшься по кустам, слышишь своих мучителей, они говорят о тебе, они хотят найти тебя и отпиздить, им мало издевательств, им скучно. Ты возбуждён, ты дышишь прерывисто, сердце колотится, дрожат руки: страх и боль, ожидание боли. И вот ты взрослеешь, нет больше гопников, которые могли бы поколотить тебя, ты стараешься забыть об этом, не думать, хочешь быть «нормальным», как все. Ты влюбляешься в мужчи-

ну и осторожно, исподволь начинаешь открываться ему, сгибая карандаш, пытаешься понять, где та грань, за которой он осудит тебя. Ты боишься говорить об этом, тебя смущают комплименты и вообще любые разговоры о сексе, ты робко ступаешь по этой terra incognita, познавая своё тело, приучаясь любить то, на что общество смотрит с ханжеской брезгливостью. И тут тебя вытаскивают на свет, ставят на трибуну, раздевают догола и заставляют детально описывать ваши увеселения, будто на кушетке психотерапевта.

Судье мало было фактов, она вволю поиздевалась над Зайцем, с лица её не сходила презрительная мина, будто его откровения вызывают у неё физическое отвращение, но она вынуждена мужественно исполнять свой долг, обнажая его трусливую душу.

— Почему вы решили вступить в сексуальную связь с Безымянным?

— У вас раньше были гомосексуальные связи?

— Сколько сексуальных партнёров у вас было до Безымянного?

— Как часто вы знакомитесь с мужчинами в приложении Хорнет и вступаете с ними в сексуальную связь?

— Когда вы поняли, что вам хочется попробовать гомосексуальную связь?

— Вы раньше участвовали в садо-мазохистских оргиях?

— Вы понимаете, что это аморально?

— Вашим родителям известен ваш образ жизни?

— Если вы понимаете, что ваши деяния аморальны и скрываете их от коллег и родителей, почему не предпринимали попыток бросить?

— Безмянный сам предложил хлестать вас стеком или ремнём?

— Безмянный применял насилие по отношению к вам? Он избивал вас?

— Почему вы не обратились в полицию?

— Вы сопротивлялись, когда Безмянный приковывал вас наручниками к стойке кровати?

— Вам было больно во время сексуальных актов с Безмянным?

— Вы кричали, сопротивлялись, выражали вербально или жестами протест против вступления в сексуальную связь с Безмянным?

— Безмянный говорил вам о том, что его привлекают партнёры младше его? А несовершеннолетние?

— Безмянный рассказывал о своей сексуальной связи с несовершеннолетним Новожиловым? Предлагал принять участие?

— У вас была сексуальная связь с Новожиловым?

— Вам известен был возраст Новожилова?

— Почему вы не заявили в полицию, зная о сексуальной связи Безмянного с Новожиловым?

— Вы понимаете, что можете рассматриваться как соучастник преступления Безмянного?

Судью невозможно прервать, её немислимые вопросы не снимаются, она запугивает, угнетает, ломает. Заяц попал в надёжные руки. Заяц во всём сознался. Казалось, спроси она его про размер члена, он и тут бы не соврал, ну может, чуть преуменьшил, чтобы понравиться. Да-да, он осознаёт греховность и непристойность, он будет работать над собой, он больше так не будет. Он не хотел вступать со мной в сексуальную связь, но я подавил его волю, я заста-

вил его, я бил его, но он не писал заявлений в полицию, потому что боялся меня, он и не подозревал, какие опасности таит в себе Хорнет — с кем только там не познакомишься, даже с таким чудовищем, как я. До меня у него было совсем не много сексуальных партнёров, он никогда не был мазохистом, это я развратил его. Она виртуозно крутила им, как гимнастка алой лентой, она закабалила его, он покорился ей. После этого покаяния оказалось так легко получить от него главное: да, он уверен, что всё, что я практиковал с ним, я делал и с потерпевшим. Он не был свидетелем этих сцен: когда подросток жил у меня, я держал его на отдалении — видимо, чтобы он не донёс на меня. Он точно помнит, что у Джастина не было телефона и я не оставлял ему ключей, когда уходил на работу, запирая его дома. Да-да, он согласен с тем, что я — циничный беспринципный развратник, способный на всё ради удовольствия.

Никак не прозвучала тема ВИЧ, они, наверное, дорого бы дали, чтобы Заяц инфицировался от меня, но такого подарка уважаемому суду не перепало.

А как же любовь? Он забыл рассказать, что признался мне в любви... Впрочем, и хорошо — любовь бы тоже стала доказательством вины, история знает такие примеры.

Ласковый весенний луч солнца прокрался сквозь амбразуру оконца, разбудил Иуду. Он отвернулся, протёр глаза костяшками указательных пальцев, осмотрелся. В дверном проёме дышали росой синие холмы, оборванный клочок паутины весело болтался на ветру, озорной петух задорно прогорланил рассвет, невыспанные куры возмущённо заквохтали. Иуда улыбнулся сам себе — никогда раньше он не проникался таким счастьем. Переполюющим, радостным, детским. Вчера Главный впервые открыто защитил его, когда накинулись на него ученики за то, что потратил деньги на миро и отдал его хозяйке, дабы омыла им волосы Назарянина. Особенно возмущался Кифа: предстоит вступление в Иерусалим, нищих там пруд пруди, и каждому дай, а тут такие расходы. Не ведал, он, глупец, что Иуда позаботился и об этом, а вот Назарянин наверняка догадался, где Иуда пропадал целый день. Опять он сказал, что омовением готовят его к погребению, ученики спали с лица, а Иуда посмеивался про себя: не разгадали опять иносказания, олухи. Ясно же, как день, что имеет в виду: после того, как будет проповедовать в Храме и пойдёт за ним народ Израиля, сбудется речённое пророками и не станет больше Йешуа из Назарета, но будет сын Давидов, что воскреснет на третий день — к концу праздника опресноков. И не станет больше Иуды из Кариота, но тоже воскреснет вместе со своим Учителем и Братом. И не станет больше других одиннадцати, ибо предадут его, как и сказал Назарянин,

и они не смогут воскреснуть, ибо не будут погребены, останется лишь Он во главе нового Царства, да Иуда у подножия трона Его.

Вышли пораньше, во втором часу. Иуда не плёлся сзади всех, но держался поближе к Назарянину, забегал, заглядывая ему в лицо, радовался, наблюдая блаженную улыбку, когда скучная ослица вышагивала под ним, кивая головой, а забывшийся народ кричал осанну, бросая цветы ей под копыта, устилая путь её заготовленным Иудой виссоном. Когда проходили между прудами, люди сбегались со всех сторон, любопытство порождало любопытство, восхищение заражало, в дальних рядах и не видели Назарянина, не знали, кто это въезжает в Овечьи ворота, но ликовали. Иуда был доволен, что не оказалось римской стражи на ступенях Храма и удалось подняться до самой паперти, где Назарянин спешил, важно оправил одежды и вступил в святыню, как в дом свой. Сердце Иудино веселилось, когда оказались тринадцать, а с ними рыжая Мария, да Саломея, да несколько ещё от толпы во дворе Язычников, по галереям которого выстроились шеренгами удивлённые торговцы. И всё замерло, затихло, даже голуби в клетках перестали ворковать, и каменной стеной застыла тяжёлая завеса со звёздным небом, гордость великого царя. В одном из окон галереи на втором этаже показалась тёмная фигура, из глубины наблюдавшая за людьми внизу. Иуда решил, что то и был Каиафа, пусть смотрит на них, слушает. Мог ли Иуда в начале пути предположить, что будет стоять вместе со своим Йешуа в Храме? Эта минута искупала все страдания его, прошлые и грядущие.

Назарянин застыл, оглядев исподлобья двор, птиц, овец, людей, вышедших от жертвенника после утреннего всежжения. Улыбка медленно сменилась презрительной гримасой, его застрясло, как в моменты исцелений, он вдруг крыльями вскинул руки, сбросил платок с головы, с воплем кинулся к ближайшему столу менялы, опрокинул его, полетели россыпью римские сестерции, иудейские сикли, греческие драхмы. Торговцы не успели опомниться, как пнул он ногой стоявшие друг на друге клетки с голубями и горлицами, те посыпались, вылетели испуганные птицы, заметались между стенами. Иуда в страхе метнулся назад из ворот, там ждали своей очереди увечные и дети. Забыв порядок, он схватил двоих за шкирки, втолкнул их внутрь, потом ещё двоих и ещё. Они сразу поняли, заголосили, моля о благословении, увеличив переполох. Назарянина тем временем скрутили, двое дюжих торговцев схватили его сзади за руки, чуть наклонив вперёд, другие же сдерживали братьев Иониных, что рвались освободить его, пока остальные ученики стояли поодаль, не решаясь, как поступить. Назарянин раскраснелся, волосы растрепались, борода торчала в разные стороны, он плевался хриплыми проклятиями, но галилейский говор, что усилился от волнения, мешал понимать его неразборчивую речь:

— Лицемеры! Лисицы! Разбойники! Вы не иудеи, вы сборище сатанинское! Написано: «Дом мой домом молитвы наречётся, а вы во что превратили его? Отдали на поругание торгашам и язычникам! Посмотрите же вокруг. Истинно говорю вам: не останется тут камня на камне, всё будет разрушено, ибо осквернили вы дом божий! Ибо то, что из круглых

каменной построено, то не выстоит. И будет война, и смерть, и разорение. И восстанет народ на народ, и царство на царство. И будут моры, и глады, и землетрясения, и потопы, и болезни. И небо сделается, как железо, и земля, как медь. И вода будет кровью, и земля утонет в той крови. И блаженно будет чрево, которое не зачало, и сосцы, которые не кормили. И тогда вы увидите мерзость запустения на святом месте, как было речено пророком. И будет великая скорбь, которой не было до сих пор и не будет до века. Лицемеры! Вы несчастны, и слепы, и нищи, и наги, и торгуете в доме отца моего! Купите у меня золото, огнём очищенное, чтобы обогатиться вам, и белую одежду, чтобы не была видна срамота наготы вашей, и глазною мазью помажьте глаза ваши, чтобы видеть. И будете прокляты от века и вовеки, и будете искать смерти, но не найдёте её, и пожелаете умереть, но смерть убежит от вас. Вы, фарисеи, лицемеры, лислицы! Вы, саддукеи, зверю поклоняетесь и имени его, вы изопьёте вино гнева божьего, и будете мучимы в огне и сере там, где тьма и скрежет зубовой. Все вы падёте от меча огненного отца моего небесного! Я же воссоздам Церковь мою на руинах вашего Храма».

Назарянин выбился из сил и повис на руках торговцев, как моток мокрой шерсти. Пришли римские солдаты с деканом, но тот не знал, что делать, ибо не понимал по-арамейски и некому было приказать ему. Иуда суетился за спинами учеников, проталкивал прокажённых, чтобы исцелились, но те стояли, поражённые, боялись идти. «Господи, господи, за что ты оставил нас, что же это творится, — бормотал Иуда себе под нос. — Что же ты делаешь, зачем?»

Всё, всё испортил Назарянин. Ни к чему оказались старания Иуды, не триумфа он хотел, но скандала. Богохульство не простят ему саддукеи, погубят его, предадут в руки Ироду, который отрубит ему голову, или Пилату, который повесит его на дереве, как разбойника, и так заставил крестами всю Иудею. Господи, господи, спаси и сохрани, надо быстрее бежать отсюда, скрыться в толпе, подальше от пронырливых римских клинков. Иуда подскочил к Назарянину, как волчица к раненому щенку, принял его из рук торговцев: «Ну-ну-ну, радуйся, равви, всё хорошо, всё хорошо, господи, всё, всё, сейчас всё будет, и плач, и скрежет, пойдём, пойдём отсюда». Учитель положил голову на плечо Иуды, навалился всем телом, Иуда чуть не упал, но выстоял, не сразу, но осознал, что держит, наконец, в своих руках самое ценное, что было у него, что может приобнять Назарянина за спину, вдохнуть аромат его шеи.

Он очнулся, отстранил Иуду, развернулся и вступил во второй двор, куда не было доступа инородцам. Ученики последовали за ним. Дорогу им преградил жрец из фарисеев, старый Леви, знавший ещё отца Иоанна Учителя. Он выставил перед Назарянином трясущуюся ладонь: «Галилеяне! Нечистыми вошли вы во двор Храма, — прошамкал он полным возмущения беззубым ртом. — Как посмели? Или забыли, что никто, кто не омылся сперва и не поменял одежды, не смеет ступить в чистое место? Или вспомнили отцов ваших язычников?» — добавил с презрительной издёвкой. Назарянина снова затрясло, Иуда подумал, что он кинется сейчас на Леви и прибьёт фарисея, но Назарянин лишь начал кричать оскорбительно:

«Ты, Леви, омылся в стоячей воде, в которой собаки и свиньи лежат день и ночь. Ты натёр свою кожу, как блудницы и флейтистки натирают, чтобы возбудить похоть, а внутри они полны скорпионов. Я же и следующие за мной омылись в воде Бога живого, которая снисходит с небес. Леви! И вы, книжники, саддукеи и фарисеи! Порождения ехидны! Лицемеры! Посмотрите на них! Они не люди! Они звери в человеческом обличье! Каиново колено! Прародитель их Адам вкусил от плода, который порождает животных, и плод древа животных породил людей животных». Речь его становилась всё более бессвязной и всё более опасной, братья Ионины подбежали, схватили его под руки, поволокли вон из Храма.

На лестнице ждал их народ, не ведавший о погроме во дворе. И дальше пошло хорошо, как было задумано Иудой: Назарянин исцелял, проповедовал, пророчил, уже без богохульств. Толпа обступила его, славилась его, и был он вне опасности в этом людском море, недоступный ни иудейским книжникам, ни римскому префекту, но ныло сердце у Иуды, думалось ему, что первый раз в жизни ошибся он, неверно разгадал притчу Назарянина. Чувал Иуда большую неотвратимую беду, что-то надвигалось.

В сутолоке подошёл к Иуде отрок, потянул его за край хитона: «Ты ли Иуда из Кариота, ученик равви назаретского?» — спросил. «Я», — ответил, помешкав, Иуда, убедившись, что поблизости не было солдат. «Пойдём со мной. Каиафа желает говорить с тобой». Иуда испугался поначалу, но решил, что опасности нет: хотели бы взять его, выбрали бы другое место, к тому же что решал Каиафа, бледный зять

могущественного Анны. Иуда последовал за мальчиком, тот ланью вскочил к воротам, перепрыгивая через три ступени. Зайдя в храмовый двор, Иуда отшатнулся в ужасе: краем глаза заметил черно-белое копошение, будто черви вылезали из разверстых внутренностей. Успокоился, присмотревшись: то жертвенные голуби клевали, толкаясь, рассыпанное пшено. Тут же свернули они вправо на галерею и юркнули в небольшую кованую дверь, прятанную за развешанными коврами. Внутри пахло сыростью, темницей, отрубленными под радостные пляски головами. Вслед за отроком Иуда поднялся по лестнице и вошёл в полутёмное, задрапированное коврами, торжественно-мрачное помещение. Каиафа был знаком Иуде, он видел его, когда приезжал на праздники в Иерусалим. Окладистое, квадратное бородатое лицо, напускная важность, церемонный живот, вздымавшийся под несколькими слоями одежд. Каиафа был прямой противоположностью своему тестю — юркому, хитрому, худощавому Анне, что гадюкой мог пробраться на любое домашнее застолье и ужалить, когда никто не ожидает.

— Ты ли Иуда из Кариота, ученик колдуна из Назарета? — повторил Каиафа вопрос юноши.

— Я, — кивнул в ответ Иуда.

— Ты ли отвечаешь за сборы и милостыню среди учеников его?

— Ничто не скроется от первосвященника иудейского, истинно я отвечаю за сборы и милостыню.

— Много ли удаётся собирать?

— Бог помогает, великий Каиафа, но больше отдаём, чем собираем.

— Имею что сказать тебе, Иуда. Ты, я слышал, человек дельный, слово своё держишь. Учитель твой смущает народ, потому хотим схватить его и подержать в темнице до конца праздника, а после отпустить в области Иродовы, но с тем, чтобы не показывался больше в Иудее. Взять же его на улице во время проповеди не можем, ибо страшимся людей. Но ночью можем, да много вас вместе с ним, а мы не знаем его. Ищем же кого-то, кто может нам указать на него, чтобы нам не ошибиться.

— Что же дадите мне, если укажу вам на равви?

— Тридцать серебряных сиклей будет плата твоя.

— И сказал господь: высока цена, в которую оценили меня. Да сбудется речённое пророком, — проворботал Иуда.

— Что же говоришь, Иуда, не слышу?

— Да будет так. Но ещё условие имею. Ходит с ним блудница рыжая, Мария, колдунья и ворожея. Её надо предать суду.

— Возьмём и блудницу.

1:19

Вчера допрашивали подсудимого. Скучно. Мешали пчёлы. Сказал судье, что она дура и хабалка, она охуела и так пизданула молотком по столу, что чуть дыру не пробила. Слишком громко, Чёрный пугается. А я заржал, как после оргазма, и не мог остановиться.

Протокол допроса Зайца попал в прессу. Роскомнадзор заблокировал сайт, опубликовавший скандальный документ, но он разошёлся по интернету и стал причиной очередной волны протестов, колонок и статей. «Судья преступила все грани этики!» — писали одни; «Остановим сексуального циклопа!» — требовали другие. Зайцу пришлось уволиться и уехать в родной город под опеку шокированных родителей, за ним в погоню отправился десант столичных журналистов, но он заперся дома и не выходил даже в магазин, а мама мужественно сражалась с репортёрами, отгоняя их чуть не палкой. Письма Иве писали теперь правозащитные друзья Алихана Семёновича, они же собирали передачи ему и брату. Отправленный активистами текст протокола не пропустила администрация, но он пришёл по тюремной почте, Женёк зачитал его со своей полки, катаясь от смеха: «Дерево, да ты маньяк! Ах-ха-ха-ха. Я тя боюсь!» На лицах Палыча и заселившегося на место Казака быдловатого завхоза подмосковного супермаркета любопытство боролось с отвращением. Ива тоже заразился Женькиной весёлостью, хотя распотрошённого Зайца было жаль.

Процесс между тем подходил к концу. Суд допросил свидетелей, рассмотрел вещественные доказательства, заслушал экспертов, анализировавших Ивину переписку, дневники, психологическое состояние Джастина и самого Ивы. Иве эти формальности казались ненужной отсрочкой, хотелось, чтобы всё закончилось побыстрее — так больной раком

фаталист с досадой смотрит на очередные анализы, отдаляющие окончательный приговор врачей. Апатия, время от времени настигавшая Иву после ареста, полностью накрыла его, он почти не ел, мало спал, не читал писем, исхудал и если не выезжал на суд, сидел с отрешённым видом на шконке, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Его пытались подбодрить, Малой готовил ему бутерброды и заваривал чай, Женёк просил иногда почитать распечатки из интернета — Ива не отказывался, но делал всё механически, не выходя из состояния отчуждённости.

Весть о несгибаемом петухе, который отказался от помилования, не испугался пресс-хаты и нахамил судье, расползлась по тюрьме. Неизвестные Иве эки чуть не ежедневно присылали малявы, которые зачитывал Женёк. «Сорок шестая желает мира и здоровья петуху из сто пятой. Мужик, держись». «Если бы все обиженные были такие, нас бы уважали», «Известно, что закрыли вашего брата, если испытываете в чём-то нужду, обращайтесь». Иногда и просто присылали подарки: «Курёха для машинки из сто пятой и остальных. Так держать». Иву эти подарки радовали: «Всё идёт по плану», — думал он и блаженно улыбался, улыбался и не спускавший с него глаз Малой.

Прошёл суд у Палыча, получившего 8 лет колонии. Апелляцию он подавать не собирался, спешил уехать на зону и ожидал этапа, распорядившись чтобы новый смотрящий Иву не обижал.

— А что Дерево, не жалеешь, бл, что замутил кашу? — спросил неожиданно Иву, не глядя на него, дую на кружку с горячим чифирём.

— Да нет, — ответил, помедлив, Ива. — Чего мне жалеть?

— Ну жил бы сам собой, никто бы не знал, а то всё расшебуршил.

— Пусть знают, Палыч, это хорошо, когда знают — жить проще. Вон, Малой, — тот влюблённо посмотрел на Иву. — Вот ты как думаешь, хорошо, что все знают о тебе? — Малой пожал плечами. — Но ведь если бы не знали, ты дрожал бы, очковал: что будет, если откроется. Сколько на это надо душевных сил! А так-то проще: ешь из миски с дыркой, да драишь парашу. Неприятно, но ведь и это временно. В масштабе вечности. Ты молодец, Малой, тебе повезло. А у других много запретов. Ничего им нельзя. Окажется рядом хороший человек, а подружиться с ним невозможно, потому что петух. Ну а если от голода будут умирать, тоже из наших рук ничего не примут? Или тут как у верующих — если пост, но очень надо, то можно и нарушить, бог простит? На воле-то люди делают исключения: мол, вообще-то геи извращенцы, но вот мой знакомый Паша-Петя-Саша — ничего, потому что парень нормальный. А некоторые и про себя говорят: стопроцентный натурал. И пока ему член в зад не засунешь, будет отпираться, ха-ха. А тут на тюрьме и такое не получится. Но вы когда-нибудь поймёте, Палыч, что все без единого исключения геи ничем не отличаются от гетеро. Есть хорошие люди и подлецы, сексоголики и те, кому секс неинтересен, есть педофилы, есть святые, разные есть...

Палыч молчал, пыхтел сигаретой,пил чёрную жижу, будто не с ним разговаривал Ива.

— А что же будет тогда? — подал вдруг голос Малой.

— Когда? — удивился Ива.

— Ну... Когда все будут окей.

— Ну что будет, что будет... — запнулся Ива. — Будет то, что всем будет всё равно. Гей — натурал... Ну вот как раньше переучивали, если ребёнок родился левшой, а потом перестали. Или вот рыжих не любили, а теперь кому какое дело — рыжий и рыжий. Так же и с нами будет.

— А... когда?

— Скоро, милый Малой, скоро. Вон, на Палыча погляди. Мне кажется, он уже всё понял, согласился со мной, но боится теперь же пожать мне руку. Но я не обижаюсь, Палыч. Всему своё время. Жаль только, что вы теперь уедете на этап и мы не свидимся больше. Мне бы хотелось предоставить вам эту возможность, но достанется ваша рука кому-то другому, — рассмеялся Ива, посмотрел на Палыча грустно.

— Слыш, пидор, давай-ка болтай, да не забалтывайся... — грубо швырнул Палыч, замолк на полуслове, затянулся, выдохнул. — Контачиться я с гомосеками не буду, но вот что. Брат ведь у меня. Того. Из ваших. Я его застукал на чердаке с дружкой. Миловались они, сука. Давно это было, бл, ещё после первой сидки. Отмудохал обоих, гондона этого, дружка, с окна выкинул, думал, прибил, но он выжил, падла, руки только сломал: как кот, на четыре лапы приземлился. С тех пор я и не видел брата мово. Не знаю, что с ним, — умное волчье лицо Палыча стало вдруг похоже на морду понурого пса, он пыхнул ещё раз, вздохнул задумчиво.

— Как же вы так, Палыч, разыщете брата-то.

— А это не твоя забота, петушок, — ответил. Но Ива знал, что ругается Палыч для проформы.

Прокурор к прениям не готовилась — в очередной раз зачитала обвинительное заключение, проигнорировав представленные на процессе доказательства и свидетелей защиты. Изю всех участников всерьёз к состязательности относился только Алихан Семёнович, и то потому, что не был назначенным адвокатом. Иве становилось грустно за него: благородный, умный, грамотный осетин проделывал массу напрасной работы: рылся в законах, писал жалобы, протестовал, хорошо поставленным актёрским голосом произносил убедительные, заранее подготовленные речи, аргументировал каждое слово, уверенный в невинности подзащитного, заявлял отводы судье и прокурору, готовил ходатайства — ради того, чтобы судья за секунду отклонила их, повторив казённые возражения прокурора: «считаю доказательства исчерпывающими и заслуживающими доверия», «не вижу достаточных причин», «считаю, что материалы собраны в полном объёме», «считаю доводы защиты необоснованными», «считаю ходатайство нецелесообразным и направленным на неоправданное затягивание процесса», и самое любимое: «оснований не усматривается». Приобщить к делу адвокатский опрос одноклассников потерпевшего? Оснований не усматривается. Запросить у РЖД копию билетов, по которым Ива якобы ездил второй раз в Питер? Оснований не усматривается. Допросить свидетелей, которые показали бы, что Ива вовсе никуда не уезжал? Всё то же. Саму необоснованность, достаточность,

доказанность прокурор не мотивировала — вступить в спор было ниже её голубопогонного достоинства, прения превратились в стилистический рудимент, прокурор и судья — в статистов. Им также была очевидна невиновность Ивы, непрофессионализм следствия и ущербность собранных им доказательств, но такая уж им была отведена роль: оправдательных приговоров их амплуа не знало. Активность Алихана Семёновича никак не влияла на судьбу Ивы, не меняла ход процесса, по убеждению защитника, приговор вообще давно был написан — прокурор уже наверняка передал судье текст обвинительного заключения, чтобы избавить её от двойной работы. К чему тогда его лицедейство? Утешала лишь мерклая надежда, что этот сизифов труд пригодится будущим поколениям, которые решат разгрести архивы нового Гулага.

Прокурор закончила и села, в зале повисла пасмурная весенняя тишина. Судья проснулась, молча зыркнула на Алихана Семёновича. Перед Ивой выросла его широкая отутюженная спина, затылок с лёгким пушком и уютной складкой на бычьей шее. Адвокат откашлялся, взял в руки бумаги, поправил очки. Никто не собирался его слушать, это походило на скучное заседание кафедры в университете или защиту диплома: все давно знакомы с материалами, но вынуждены сидеть в душном помещении ради регламента. Судья вернулась в профессиональное состояния дрёмы с открытыми глазами, прокурор уткнулась в планшет, секретарь не отрывалась от компьютера. Только гневно-красный подполковник ловил каждое слово адвоката, да Ива старался внимательно слушать его, но глаза его слипались, как на скучном концерте в филармонии.

«Уважаемый суд, — начал Алихан Семёнович, отступив от стола на пару шагов, Ива в очередной раз залюбовался на его новые, будто только что с магазинной полки туфли. Он тщательно артикулировал каждое слово, как профессор на лекции по сценической речи, воодушевлённо жестикулировал, заглядывая в бумаги и стоящий на столе ноутбук. Казалось, он честно хотел заинтересовать аудиторию, но усилия его были тщетны. — Мой подзащитный обвиняется в совершении тяжких преступлений, за которые предусмотрено суровое наказание и большие тюремные сроки, а государственный обвинитель и вовсе предложила приговорить Ивана Безымянного к высшей мере наказания — смертной казни, хотя соответствующие изменения в уголовный кодекс были внесены после совершения предполагаемых преступлений. Я не буду напоминать суду, суду это прекрасно известно, что это прямо противоречит десятой статье уголовного кодекса, согласно которой закон, ухудшающий положение лица, не имеет обратной силы. Государственный обвинитель даже сослалась на прецедент в советской судебной практике, когда в 1961 году трое осуждённых за нарушение правил валютных операций Файбишенко, Яковлев и Рокотов были расстреляны, несмотря на то, что уголовный кодекс был изменён не только после совершения деяния, но и после приговора суда первой инстанции. Высокий суд наверняка помнит, что это дело стало знаковым для нескольких поколений российских юристов — символом беззакония советской власти. В связи с этим я не могу не отметить некоторый цинизм государственного обвинителя, цинизм,

который прокуратура несправедливо приписывает моему подзащитному.

Смертная казнь или нет, но при вынесении приговора суд должен обладать неопровержимыми, однозначными доказательствами вины подсудимого, о чём говорится в части четвёртой статьи триста второй УПК Российской Федерации. На что же опирается сторона обвинения? Во-первых, на противоречивые показания тринадцатилетнего подростка, который здесь, в зале суда, делал попытки отказаться от них — на него давят родители и, возможно, следователи, я несколько раз подавал ходатайства на возврат дела в прокуратуру, но все они были отклонены уважаемым судом. В чём же суть этих показаний? И так, и защита, и обвинение сходятся в том, что Безымянный и Новожилов познакомились в ночь на 13 октября в Санкт-Петербурге в подъезде дома, где остановился Безымянный, приехавший на похороны матери. Подсудимый из чувства сострадания предложил подростку переночевать у него, тот согласился. Никаких актов насилия или намёков на сексуальную связь в ту ночь не было. Почему мальчик оказался на улице? Он сам не говорит об этом, его родители молчат, но, как показали здесь одноклассники и классный руководитель Новожилова, у подростка постоянно происходили ссоры с родителями, он убегал из дому и мог по нескольку дней не появляться в школе. Это вполне нормально для его возраста, у меня у самого взрослый сын, будущий наш коллега, но когда ему было тринадцать, с ним тоже...» — «Защитник, покороче можно? Про семью друзьям в бане будете рассказывать», — крикливо перебила Алихана судья,

тот посмотрел на неё поверх очков, прочистил горло, глотнул воды из пластиковой бутылки и продолжил: «Новожилов по каким-то причинам принимает решение ехать в Москву, и появляется там в конце октября, встречая Безымянного у выхода с работы — это засвидетельствовали коллеги подсудимого. При этом непонятно, на какие средства и каким образом Новожилов добрался до столицы — следствие считает, что Безымянный оплатил ему билет на автобус, но нет ни билета, ни свидетелей его путешествия. Не значит ли это, что мальчик доехал сам, зайцем на электричках, как он и сказал при допросе в суде — то есть не только приехал по своей воле, но преодолел определённые препятствия, ведь если свериться с расписанием, такая одиссея занимает не менее суток из-за неудобных стыковок, и это если контролёры не ссаживают тебя за безбилетный проезд. Если предположить, что Новожилов выехал с Московского вокзала на первой семичасовой электричке, он по крайней мере часов пять должен был просидеть на станции Малая Вишера. Каково же должно быть стремление достичь земли обетованной, если пришлось идти на такие неудобства!» — «Защитник, — снова очнулась судья. — Вы красиво поёте, но очень длинно, вы не в театре, ближе к делу можно?!»

«Мне кажется, я только по делу, ваша честь, — парировал Алихан Семёнович. — Итак, Новожилов доехал до Москвы. Мой подзащитный снова не смог отказать ему и пригласил к себе домой. А кто бы из нас оставил на улице ребёнка, когда на дворе ненастная русская осень? Разве это преступление? Я так не думаю, ваша честь. Здесь начинается самое интересное.

Где однозначные свидетельства сексуального насилия, представленные следствием? Показания самого Новожилова? Но он несколько раз заявил во время допроса на суде, что у него не было сексуальной связи с подсудимым — ни насильственной, ни по обоюдному согласию. Показания его родителей? Но они не были непосредственными свидетелями преступления! Следы эпидермиса на наручниках? Но на них были обнаружены и следы эпидермиса свидетеля Лотосова, почему же нельзя согласиться с тем, что подросток надел эти наручники ради шутки? Предположим всё же, что ужасные издевательства, насилие имели место. И вот перепуганная мать мчится в Москву через неделю после пропажи сына, чтобы увести его домой. Почему она ждала так долго? Потому что лишённый мобильного телефона Новожилов не имел возможности сообщить о своём местонахождении? Защита просила суд исследовать информацию о телефонных соединениях потерпевшего во время его пребывания в Москве, но суд отказался приобщить эти материалы к делу. А зря. Ведь если у Новожилова был телефонный контакт с матерью, то почему он сразу не попросил о помощи? Почему не позвонил в полицию? А если связи не было, каким образом мать узнала адрес — домашний телефон в квартире Безымянного отсутствует. Упоминается визитка моего подзащитного, каким-то образом оказавшаяся в вещах потерпевшего, но опять же, почему родители сразу не кинулись спасать своё дитя? Следующий вопрос: почему приехав в Москву и найдя сына истерзанным сексуальным маньяком, Новожилова неделю проводит с ним в квартире подсудимого, не

звонит в полицию, не вызывает скорую, чтобы зафиксировать физические повреждения на теле сына? Что они вообще делали в Москве так долго, почему сразу не уехали домой? У семьи нет финансовых проблем, сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой отличное, что же помешало им? Может, просто не было никакого насилия и издевательств со стороны Безымянного, а потерпевший отказывался возвращаться в страхе перед семейными скандалами? Не вызвал ни полицию, ни скорую и Новожилов-старший, хотя уж он-то, подполковник МВД в отставке, должен прекрасно понимать, как работает закон!» — услышав свою фамилию, подполковник набылчился, налился кровью, забормотал что-то, судья демонстративно зевнула, подперла голову кулаком и наигранно закатила глаза.

«Дальше больше. Согласно версии следствия, подсудимый вернулся за потерпевшим в Санкт-Петербург и похитил его по пути из школы. Но как можно похитить человека среди бела дня в одиночку, не имея автомобиля, без сообщников? На чём он отвёз подростка в Москву, когда тот, очевидно, должен был сопротивляться? Следствие не предоставило ни билетов на поезд: выписанных на подсудимого и потерпевшего, ни других доказательств перемещения между городами. Нет у Безымянного и личного автотранспорта, на котором он мог бы отвезти Новожилова, нет свидетельств, что он арендовал, одолжил или каким-либо другим способом заполучил автомобиль. Наконец, нет свидетелей похищения, что довольно странно для центра такого оживлённого города как Санкт-Петербург. Зато снова есть

показания одноклассников, рассказавших уважаемому суду об издевательствах и преследованиях со стороны сверстников, которым подвергался Новожилов, когда о его ориентации стало известно в школе.

Всё это заставляет предположить, что подросток и правда явился незванным гостем к моему подзащитному, но дальнейшие обвинения строятся лишь на фантазии его родителей, каким-то образом склонившим сына к ложным показаниям. Об этом может косвенно свидетельствовать и психиатрическая экспертиза, пройденная Новожиловым — заключение описывает его как неуравновешенного, склонного к конфликтам, находящегося в состоянии стресса и гипервозбудимости. Сторона обвинения опирается на эти выводы, заявляя, что именно знакомство с Безымянным вывело подростка из состояния душевного равновесия, однако, уважаемый суд, сторона защиты обратилась за консультацией к специалистам факультета психологии МГУ имени Ломоносова, пояснившим, что подобные симптомы характерны для пубертатной психопатологии и могут говорить о том, что Новожилов был способен поругаться с отцом, уйти из дому и по своей воле приехать к незнакомому человеку.

Результаты медицинской экспертизы потерпевшего не дали однозначных выводов, что подросток был изнасилован. Да, на теле его имеются ссадины и синяки, но ни на внутренней стороне бедра, ни в анальном отверстии или на поверхности прямой кишки повреждений не обнаружено. Это может быть связано с тем, что экспертиза потерпевшего проводилась не сразу, но почему мы не можем предполо-

жить, что Новожилов получил свои синяки не от моего подзащитного, а, скажем, от родителей или от сверстников?

Чтобы оградить подростка от негативной информации, в частности, не нарушать статью 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, мой подзащитный изначально не посвящает Новожилова в особенности своей личной жизни, о чём тот сам заявил в суде. Но находясь в своём собственном доме, Безмянный не может скрывать это — ведь у него как раз развиваются отношения со свидетелем Лотосовым. Лотосов (именуемый в приобщённых к делу дневниках подзащитного Зайцем) также своими глазами не видел никаких противозаконных действий со стороны моего подзащитного к Новожилову, все его показания строятся на домыслах. Но зато он подтвердил, что когда Новожилова приехала за сыном в Москву, Безмянный неделю проживал у него дома.

Что ещё полезного для дела удалось выяснить у Лотосова? Разве постельные секреты двух половозрелых мужчин могут быть интересны почтенному суду? Если один мужчина занимается сексом с другим мужчиной с применением разных приспособлений, значит ли это, что он способен на сексуальное преступление против несовершеннолетнего? А если бы речь шла о гетеросексуальной паре? Я бы хотел обратить внимание уважаемого суда на то, что закон не возбраняет ни гомосексуальные отношения, ни использование посторонних предметов во время сексуальных утех, кроме того, как следует из дневников Безмянного и его переписки со свидетелем Лотосовым, эти

практики были в новинку и для моего подзащитного, к тому же применялись по обоюдному согласию.

Нет убедительных доказательств и того, что Безымянный склонял Новожилова к употреблению наркотиков, сам Новожилов пытался отказаться от показаний в этой части во время допроса на суде, так что голословные заявления следственных органов подтверждаются только вышеупомянутым заключением психиатрической экспертизы о склонности Новожилова к наркотическим средствам. Но ведь эксперты не смогли достоверно установить, пробовал ли Новожилов какие-либо наркотики, и если пробовал, случилось ли это на квартире у моего подзащитного.

Вещественные доказательства, представленные следствием, как то: дневники Безымянного, его переписка в приложении Вотсап, приложении Хорнет и в социальной сети Фейсбук не выявили ни одного случая нарушения закона, следователи не нашли ни одного факта сексуальных отношений с несовершеннолетними, не говоря о насильственных действиях сексуального характера. Таким образом, подсудимый вёл обычный для его возраста и холостяцкого положения образ жизни. Этот образ жизни может быть не близок нам с вами, ваша честь, но в нём нет ничего криминального.

Наконец, результаты исследования моего подзащитного на полиграфе, хоть и не могут служить доказательной базой, но всё же дают дополнительное представление о том, что Безымянный невиновен в инкриминируемых преступлениях.

И наконец, последний пункт обвинения — статья двести двадцать восемь-один, — хранение наркоти-

ческих средств и приготовление к сбыту. Этот пункт подтверждается результатами обыска на квартире у Безымянного, во время которого были обнаружены десять грамм марихуаны. Мой подзащитный признаёт, что эти наркотики принадлежали ему и хранились для личного потребления, а следствие не представило доказательств намерений их перепродажи. Не была проведена контрольная закупка, нет свидетелей предполагаемой сделки или её клиентов.

В соответствии со всем вышесказанным, я прошу оправдать моего подзащитного по обвинениям, предусмотренным пунктом Б части четвёртой статьи 132, пунктом Д части второй статьи 127, части первой статьи 151 в связи с отсутствием события преступления. Что же касается статьи 228.1, переквалифицировать её на статью 228 и назначить по ней наказание в виде штрафа, поскольку мой подзащитный ранее не судим, не проявлял признаков асоциального поведения, имеет хорошие характеристики с места жительства и места работы, для общества не опасен.

Уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Хочу сказать ещё пару слов. Мы живём в век беззакония и коррупции, телефонного права, когда чтобы угодить бывшему коллеге, можно арестовать и посадить человека по надуманным обвинениям. Даже если отвлечься от абсурдной просьбы о смертной казни, срок, который может назначить суд, сам по себе будет смертной казнью — мой подзащитный рискует никогда не выйти из тюрьмы. Понимаете, вы берёте человека с улицы и убиваете его просто потому, что бывший полицейский не может наладить отношения с сыном! Какими же палачами надо быть, чтобы

так хладнокровно, так безжалостно оборвать чужую жизнь? Вы считаете себя богом, уважаемый прокурор? Считаете себя вправе распоряжаться судьбами? Не забывайте, что вы, уважаемый судья, и вы, уважаемый прокурор, также являетесь не только частью этой порочной системы, но и гражданами этой страны. В этом зале вас защищает мантия и погоны, но когда вы снимете их, выйдете на улицу, вы станете обычными людьми, такими же, как мой подзащитный. И никто не может вам гарантировать, что вы не окажетесь на его месте по такому же сфабрикованному делу. Я давно работаю адвокатом и вёл процессы таких прокуроров, которые сажали невинных, а потом сами оказывались на скамье подсудимых. А если снова поменяют уголовный кодекс, вы будете готовы к расстрелу? Вспомните сталинских палачей — многие ли из них избежали казни? А если вас минует чаша сия, как вы будете смотреть в глаза своим детям, когда узнают, что их родители отправили на смерть невинного? Вы знаете ли, что потомки нацистских преступников меняли фамилии, чтобы не иметь ничего общего со своими отцами? Вы бы хотели, чтобы ваши дети стыдились вас? Вглядитесь в себя, подумайте, не лучше ли сохранить совесть чистой. Посмотрите вот сюда, на стену, в зале помимо герба висит ещё и крест, значит это помещение было освящено неспроста — может быть, если это важно для вас, вы подумаете и о высшем суде.

У меня всё, спасибо».

За городскими стенами они были в безопасности. Многие последовали за ними из Иерусалима, окружили дом, где ночевали тринадцать. Люди Анны и Каиафы бродили рядом, ждали условного сигнала, но Иуда знал, что сами они прийти не решатся. Надо было бежать в Галилею. Сегодня же, сейчас. Дождаться, пока уснут окрестные холмы, и тронуться в путь. Денег, еды было довольно, всё было устроено у Иуды, оставалось принять решение и исчезнуть. Или позвать воинов, сдать им Симона-зелота с блудницей, а остальным скрыться, пока подлог не раскроют.

Весь день он нашёптывал братьям Иониным и Зеведеевым, что в Иерусалим возвращаться опасно — следят за ними приспешники первосвященника, ждут своего часа, сжимают тиски, недолго осталось до всеобщей гибели. Что толку в жертве, если не останется с ними Учителя? Кто будет проповедовать народу? Разбредутся ученики Назарянина по Галилее и Иудее, как рассеялась паства обезглавленного Иоанна. Не останется даже имени его, ибо скажут: если ты сын божий, почему не отвратил от себя руку палача, почему отец твой небесный не спас тебя и не испепелил мучителей твоих, отчего истекаешь кровью и мочой, как обычный смертный, сын Иосифа-плотника и Марии-пряжи, сын Пантеры-язычника и Марии-грешницы? Так будут говорить и отвернутся от Назарянина, ибо мертво слово без пророка.

Раньше это работало. Дважды уже спасал Иуда Назарянина, один раз от фарисеев, когда исцелил

каменщика в субботу, другой — от людей Ирода, хотевших взять его, приняв за воскресшего Иоанна. Одиннадцать и сами были напуганы выходкой в Храме, долго уговаривать их не пришлось. Заговорили между собой, зашушукались. Иуда внушал умело, никто не смог бы сказать, отчего всех обуял страх, откуда родилась мысль о побеге, спроси — ни один не указал бы на Иуду, но на соседа своего, а тот на соседа, а тот на духа святого. Радовался Иуда, полдела было сделано.

После заката похолодало. У Иуды разнылась шея, он всё наклонял голову, тянул мышцу, но она отдавала болью в пояснице, он начал прихрамывать даже. Мария приготовила ужин, забилась в уголок с другими женщинами. Тканая бисером тёмная завеса накрыла холмы, затеплившиеся звёздами костров, белые бусинки падали в огонь, порывистый ветер дышал дымом и сухой весенней травой, тихо говорил Назарянин, но каждый слышал его слова. Нет, не помышлял он о побеге и спасении, но погибнуть хотел и спастись. Иуда, до этого размышлявший над тайным смыслом речей его о том, что предадут его на распятие, но воскреснет на третий день, вдруг понял, что тайного смысла никакого не было: Назарянин желал смерти. Потому и устроил бедлам в Храме, потому и поносил фарисеев, саддукеев и даже язычников, хоть те и не понимали ни слова. «Он безумен, — подумал грустно Иуда. — Урок Иоанна ничему не научил его. Зачем страдать от рук неверных, когда так много в Иудее пропастей и обрывов — одного шага довольно».

Назарянин пророчил предательство и казнь, ученики клялись ему в вечной верности, глупый Кифа

обливался слезами, рыжая подошла, села, упёрлась лбом в острое плечо. Так вот какую трагедию должен был разыграть Иуда, вот чего ждал от него Назарянин, а не осанну и виссон под копытами ослицы. Как же сразу он не понял, уподобился неразумным Кифе и Иоанну, что не знали Закона и потому не могли понять ни одной притчи Назарянина. Но он-то, мудрый Иуда, как мог упустить!

Он ждал, чтобы Назарянин остался один — спросить, верно ли понял он слова его. Никогда Иуда не ошибался, а тут стушевался, не верил себе. Но тот всё говорил и говорил без остановки. После ужина встал, вышел из дому и повёл двенадцать, а с ними и женщин, в сторону Иерусалима, мимо костров на страже, дальше от народа, ближе к городу. Возшли на холм с разбитым садом, что принадлежал одному богатому человеку, любившему проповеди Назарянина. Разожгли огонь на прогалине, сгрудились вокруг. Настала удобная минута для Иуды, Назарянин отошёл ото всех то ли помолиться, то ли помочиться, зашёл за старую оливу, прислонился к разлапистому сучковатому стволу, глядел задумчиво на возвышающийся над миром Храм Ирода.

— Равви. Учитель. Йешуа, — не знал, как обратиться к нему Иуда. — Имею что сказать тебе.

— Говори, Иху, — неожиданно ласково ответил Назарянин, назвав Иуду далёким детским именем, пахнущим горячим хлебом и парным молоком. Иуда перегнал слюну от одной щеки к другой, передохнул глубоко.

— Опасно нам оставаться здесь. Люди Каиафы должны прийти и взять тебя. Саддукеи хотят смерти

твоей, то же и фарисеи, то же и Ирод. Пилат-римлянин в городе и утвердит любой приговор из любезности к другу своему, иудейскому царю. Выведу же вас отсюда, но потом отойду от вас, ибо устал от скитаний. Короб отдам Левию мытарю, он сумеет. Отпусти же меня, не держи.

— Иху, Иху, что же говоришь ты, брат мой, — молвил Назарянин, глядя ему в лицо. Над головой его нимбом сияла красная луна, в её свете мерцал купол грозного Храма. Ты ли не слушал меня и не внимал мне больше других? Ты ли не был любимым учеником моим, не твоё ли сердце угадывало каждое желание моё? Не ты ли должен войти со мной в чертог брачный прежде всех, ибо ты есть тот избранный, остальные же званые. Слушай же. Жил один праведный человек и состарился. И нужно было ему забрать в дальней стране долг, но не мог сам пойти по летам своим. И призвал сына своего и сказал ему: «Сыне». И тот ответил: «Вот он я». И сказал ему: «Нужно мне забрать в дальней стране долг, но не могу сам пойти по летам моим. Сходи же за меня». И отправился сын в дорогу, и вот прибыл в чужую страну, и забрал долг для отца своего. И было ему знамение, что дочь того человека, у которого забрал долг, уготована в жёны ему. По закону же тех людей не мог жениться, ибо был чужестранец. Что же делать ему? Презреть уготованное провидением или забрать деву с собой, нарушив заповедь, ибо сказано «не укради»?

— Что же, равви? Ведь знамение было от бога и заповедь от бога, — помедлив ответил Иуда. Опять он не понял.

— Слушай же. Истинно тебе говорю, от предписанного отцом нашим нельзя уклоняться, ибо воля его выше закона его, — Назарянин шагнул к Иуде и положил ему руки на плечи. — Ты следовал за мной с рождения, и я следовал за тобою, ибо уготовано, что вместе разделим царствие небесное, и станет оно нам брачным чертогом, ибо что связано на земле, то разрешено на небе. Что же ты, Иху, в час заветный испугался и хочешь бежать со свадебного пира, как невеста, что плачет, просит мать свою не оставлять её? Не бойся, Иху, ибо так задумано нам стать одним.

Иуде показалось, что Йешуа плачет. Он осторожно поднял руку и коснулся пальцами щеки Назарянина, та была мокрая. Иуда поднёс пальцы к губам и лизнул солёную кожу. Назарянин взял Иуду за плечи, приблизил лицо своё и посмотрел Иуде в глаза, в первый раз с того дня во дворе у Марии.

— Что делаешь, делай скорее, чтобы писанному сбыться, — сказал и поцеловал Иуду в губы, долго, не отрываясь, будто Иуда не учеником его был, но женой. — Воистину будешь блажен, ибо ты понял.

Иуда обмяк в его руках, готовый упасть, как скошенный колос. Всё свершилось, чего искали, о чём пророчили. Выбора не было. Назарянин отстранился. Иуда посмотрел на него, на всезнающую луну за его плечом, обошёл его и начал медленно спускаться в долину.

У меня было много времени, чтобы подготовиться к последнему слову, подумать, как защитить вас и вашу совесть, как спасти ваши души от преступления не против закона, но против человечности. Я этого делать не буду. Я не стану взывать к вашей совести, ибо у вас нет совести. Я не загляну вам в душу, ибо ваша душа черна и я ничего не найду в ней. Я хотел спасти вас, но вы сами идёте к гибели, вам предписано стать перегибом, на котором будут воздвигнуты чертоги справедливости и, видно, ничего с этим не поделаешь. Я не хотел судить вас, но вы не оставили мне выбора.

Я объявляю вам войну. Я, Ива Безымянный, верховный главнокомандующий армии отверженных, объявляю вам войну. Вам, ханжам, что прилюдно морщатся, проходя мимо гей бара, а дома дробят на бесплатное порно. Вам, ценящим любовь, чьи сердца исполнены ненависти. Вам, христианам, горланящим «распни». Вам, книжникам, держащим наготове огниво, чтобы запалить костёр с несогласным. Вам, отцам семейств, отказывающим в праве на семью ближнему своему. Вам, матерям, отрекающимся от чад своих. Вам, тюремщикам, не выходящим из своей тюрьмы. Вам, судьям, судящим самих себя. Вам всем объявляю войну.

Бойтесь. Трепещите. Ждите страшного. Вы надеетесь, что ваши законы защитят вас? Вы уповаете на вашу полицию, армию, на ваших шпионов, сыщиков, агентов? Вы полагаете, что доспехами вам станут ваши мантии, ваши кители, ваши погоны, галстуки, вы думаете закрыться, как щитом, вашими депутатскими значками,

вашими разноцветными ксивами? Вы рассчитываете укрыться в ваших комфортных квартирах, на ваших дачах в яблоневоом цвету, на заграничных лазурных пляжах, в бархатных ложах ваших театров? Слепцы! Как можно так заблуждаться? Неужели не видите, что моё воинство уже здесь, не у ваших стен даже, а в ваших семьях? Вы предпочитаете не замечать, не догадываться, делать вид, что ничего не происходит, что ворота наглухо заперты и вы в безопасности. Я хохочу! Мне смешно представить выражение ваших обрюзгших лиц, когда вы узнаете, что сын ваш записан моим добровольцем. И ваша дочь, и ваш брат — ждут условного сигнала, чтобы выступить на моей стороне и свидетельствовать против вас. Они скрытные и бесправные, они притворяются, что живут по вашим правилам, они боятся вашего гнева, ибо знают, что пощады не дождётся, но они готовы, по моей команде они восстанут и уничтожат ваш мир, они сотрут в пыль и вас вместе с ним, они, возможно, и сами погибнут в раже схватки, но предотвратить своё падение вы будете не в силах. Ничто их не остановит, ибо я объявляю вам войну, и они объявляют вам войну тоже.

Вы можете убить меня. Но война объявлена, взять свои слова обратно я не смогу. Более того, я молю вас: казните меня. Мёртвые вожди полезнее невидимому воинству, чем живые, ибо не терпят поражений, погибшие генералы повышаются в чине до богов. Моим именем будут крушить ваши консервативные казематы, моим именем вас осудят тем судом, каким судите меня, моим именем вас приговорят к высшей мере, моим именем ваши дети воздвигнут новое царство, которое мне не суждено увидеть, но которого не было бы без меня, ибо я объявляю вам войну.

## ЭПИЛОГ

«Ведомости», 12 апреля 2026 года. Коротко

*Федеральная судья Анастасия Неверова найдена мёртвой в мансарде своего загородного дома в подмосковной Жуковке. По словам источника из окружения судьи, горничная нашла обнажённое тело на чердаке во время утренней уборки и вызвала полицию. По непроверенным данным судья погибла в результате множественных укусов ос. Два источника «Ведомостей» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда было доставлено тело, подтвердили, что судья, по-видимому, погибла вследствие неосторожности, введя снятое с потолка осиное гнездо в вагину.*

*Напомним, что судья Неверова председательствовала на многих скандальных процессах, в том числе по делу Ивана Безьямного, приговорённого к смертной казни за сексуальное насилие над несовершеннолетним.*

«Ведомости», 10 июля 2034 года. Коротко

*8 июля Москву, Ленинград, Свердловск и другие крупные города охватили беспорядки, связанные с проведением в Европе и США ежегодных гей парадов. Власти обвиняют в столкновениях с полицией боевиков секты «Радужные воины», запрещённой на территории РФ. В больницы было доставлено порядка пяти-сот полицейских по всей стране, в Москве и Казани было применено огнестрельное оружие, однако о жертвах со стороны погромщиков не сообщается. Силы правопорядка задержали более двух тысяч человек. Сразу два источника «Ведомостей»*

*в администрации президента сообщили о возможной отставке министра внутренних дел Абрамяна. Таким образом за последние пять лет, совпавших с активизацией «Радужных воинов», Абрамян станет 28-м главой ведомства, уволенным в связи с безуспешной борьбой с ЛГБТ радикалами.*

\* \* \*

Ива распостёрся на смятом белом белье, приятно пахнущем презервативами и спермой, следил за диском луны, что скользил по черепице домов за окном и бронзовому капюшону философа, слушал ночной зной, вскрики пьяных, рычащие всполохи фар. Он был свободен. Он мог пойти, полететь, направиться куда угодно, быть кем угодно, мог нарядиться в платье и преобразиться в женщину, мог облачиться в мантию и судить, надеть корону и царствовать. Годы не оставляли на нём следов, он был молод, красив, он был отличным любовником, плохим сыном и верным другом, живая, неутомимая кровь струилась по его венам, он чувствовал, как она приливает к груди, бицепсам, члену. Он мог сделать что-то важное, что-то невероятно необходимое для него самого и для всех людей, ну может, не для всех, для некоторых, но он мог принести пользу. Ему было немного жутко: он осознавал свою силу, но понимал, что ничего сделать невозможно, ибо не у кого получить инструкции. Он был безынициативен, хоть и всегда ошибался, когда писал это слово в диктантах. Он боялся самого себя, своей власти, своих возможностей, своего одиночества. Всё было под силу ему, кроме одного: он не мог стать богом, чтобы знать — как поступить.

*Алхас Абгаджав, Анастасия Гарина,  
Татьяна Глушкова, Сергей Горохов,  
Алексей Козлов, Анна Линд, Ольга Романова,  
Олег Томаровский, спасибо за помощь  
и бесценные консультации.*



## **Издательство Kolonna Publications и Митин журнал представляют**

Александр Маркин

### **ДНЕВНИК 2002–2006**

Меня интересуют морские змеи (хотя они почти не кусаются), мужская истерия, готические романы, травмы, землетрясения, сны и порнозвёзды. Я думаю, что по конstellациям порнозвёзд тоже можно раскрывать тайны.

Тони Дювер

### **ВЫСЛАННЫЙ**

Роман Тони Дювера был написан во Франции, охваченной модёжной революцией. И сама эта книга революционна. Дювер взорвал синтаксис и дал слово «высланным» — изгоям, которые прежде не имели права голоса. Персонажи романа — люди ночи, ищущие любви под парижскими мостами и на бульварах, мужчины, которым «слишком трудно хранить верность, если возле дома есть общественный туалет». Их голоса переплетаются, и все они рассказывают одну историю о похоти, которую невозможно утолить.

Эркюлин Барбен

### **ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, — загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Герард Реве

### **ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ**

С 1963 по 1980 гг. Герард Реве переписывался с врачом Яном Гротхёйзе, который помогал ему преодолеть депрессию, вести борьбу с Королём Алкоголем, лечил Реве и его милых мальчиков от различных недугов, а позднее стал психоаналитиком. Спиртное, религия и смерть — темы, которые доминируют в письмах Реве. Гротхёйзе опасался, что писатель наложит на себя руки, однако покончил с собой не пациент, а врач.

Франсуа Сантен

### **УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ**

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–2010) рассказывает запутанную историю казнённого в 1939 г. убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

Барон Корво

### **ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО**

Впервые на русском языке публикуются сочинения славившегося своей эксцентричностью Фредерика Роуфа (1860–1913), в том числе знаменитые «Венецианские письма», посвящённые красоте каналов, гондол и юных гондольеров.

Джослин Брук

### **ЗНАК ОБНАЖЁННОГО МЕЧА**

Конец 1940-х годов. Европа ждёт новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнажённого меча на предплечье. Но началась ли война или это тёмные иррациональные силы испытывают рассудок героя?

Сергей Хазов-Кассиа  
Евангелие от

*Дизайн и вёрстка* Иван Степаненко

*Фото на обложке* Andrés Andreani  
[www.andresandreani.com](http://www.andresandreani.com)

Kolonna publications

Подписано в печать 23.01.2017. Формат 84×108 1/32  
Гарнитура Вильям. Печ. л. 12,9  
Тираж 1000 экз. Заказ № D-211

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»  
Ленинский проспект, д. 4, стр. 1 А, Москва, 119049  
Тел.: (495) 926-63-96, [info@bukivedi.com](mailto:info@bukivedi.com)  
[www.bukivedi.com](http://www.bukivedi.com)